
•

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОКСУСЕ И ПАДЕНИЕ ХИВЫ.
СОЧИНЕНИЕ МАК-ГАХАНА. ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО.

(Compaigning on the Oxus and the Fall of Khiwa. By J. A. Mac Gahan. London, 1874.

Цель этого сочинения весьма скромная, это скорее заметки путешественника о личных приключениях, чем регулярная история военной кампании. По большей части я просто описываю что сам видел и слышал. Я однако надеюсь что вместе с тем мне удалось изобразить довольно верную картину жизни и ведения войны в Центральной Азии. Я старался также придать как можно более полноты самому разказу, описывая не одни только военные действия против Хивы, а также и физическая черты этой страны, социальный строй в жизни и ея политическое положение.

Мне могут поставить в укор то что я слишком долго останавливался — особенно в первых главах—на своих личных приключениях. Хотя я и не могу не сознаться в справедливости этого замечания, я приведу два довода смягчающие мою вину. Вопервых, надо принять во внимание что путешествовал я по совершенно чуждой стране при весьма странных обстоятельствах. А вовторых, заметки о моих личных приключениях могут дать читателю некоторую идею о нравах, обычаях и понятиях тех почти-что неизвестных народов в среде которых я вращался.

Книга эта разделена на три части. В первой заключается повесть о моей жизни в пустыне Кизил-Кумы в период моих поисков армии генерала фон-Кауфмана. Во второй части я описываю поход к Хиве и взятие этого города, посвятив некоторыя ея главы на общее описание ханства. В третьей части заключается разказ о войне с Туркменами, последовавшей за падением Хивы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
ЖИЗНЬ В КИЗИЛ-КУМЕ

[4] I. От Волги до Сыр -Дарьи.

Ясный солнечный день. Широко раскинулась во все стороны гладкая равнина, вся испещренная группами лесных зарослей.

Местами она перерезана каналами, когда-то служившими для орошения, но теперь давно запущенными; к югу до самого горизонта простирается тинистое, заросшее тростниками болото, с которого по временам поднимаются такие многочисленные, стаи болотной дичи что как тучи затмевают собою солнце; на западе медленно, точно громадная улитка, движется караван со своим длинным рядом верблюдов, на востоке же виднеются глиняные городские стены, за которыми, как копья направленные в небо, стоят высокие и стройные мачты кораблей.

Равнина эта уже принадлежит к области Центральной Азии и лежит верстах в семидесяти на восток от северных окраин Аральского моря, по близости реки Сыр-Дарьи. Как ни пустынна эта местность, но в настоящее время, а именно 7го (19го) апреля 1873 года, она представляет вид довольно оживленный. Посреди ее стоит длинная повозка известная в России под названием тарантаса, с колесами погруженными в быстрый поток воды; от шести до восьми лошадей впряженных в тарантас вязнут и брызгаются самым отчаянным образом в грязи, систематически отказываясь тянуть его вперед; человек пять ямщиков-Киргизов, кто на лошадях, кто по пояс в воде, толкают колеса, кряхтят, воют и кричат не хуже самой нечистой силы, которую они безпрестанно поминают; а колеса, своим чередом, тонут только все глубже да глубже при каждом движении взбешенных лошадей. В самом тарантасе сидят двое злополучных путешественников укутанные одеялами и овчинами, с какою-то хладнокровною покорностью наблюдая за погружением колес, и [5]

исчисляя, через сколько, примерно, времени зальется вода в самый тарантас и промочит им ноги, одеяла, оружие и провизию.

Эти двое смелых путешественников—г. Скайлер, „charge d'affairea” при посольстве Соединенных Штатов в Петербурге, предпринявший путешествие по Центральной Азии и автор этой книги, на пути в Хиву.

Было время когда не знали они ни уныния, ни покорности, ни грусти, когда ехали они полные надежд и радужных мечтаний, с легким сердцем, стгорая лишь желанием новизны и приключений, — время когда они щедро расточали свои советы ямщикам-Киргизам,

сердились, видя что им не следуют, когда они выходили из себя, бесились и ругались, били как лошадей, так и возниц, полагая такой избыток энергии на это стремление к скорейшему передвижению что погружали в полнейшее недоумение мирных туземцов, но результатов не достигали почти никаких.

С тех пор, впрочем, много воды утекло. В их онемелой памяти все это представлялось делами давно минувших лет. Теперь эти самые герои-бойцы, покорно восседали в своем тарантасе, положившись во всем на волю Божию, наблюдая за бьющимися лошадьми, гиканьем ямщиков и погружением в грязь колес, уже не думая предлагать ни помощи, ни советов. Четырехнедельное путешествие по почтовому тракту днем и ночью, по ровным морозным степям России и широким снежным равнинам Азии, при двадцати и более градусах мороза, война с отчаянным упрямством русских ямщиков и невыносимой тупостью джититов и собственников лошадей, бессилие изнуренных и оголодалых кляч которые едва были в состоянии передвигать, свои собственные ноги, не говоря уже об нашем тяжелом тарантасе и багаже, упорство строптивых верблюдов, томящих нас по целым часам своими получеловеческими криками — все это в совокупности довело вас наконец до состояния идиотской покорности.

Путешествие по этой местности и в то время года когда мы его предприняли представляет нескончаемую, непрерывную борьбу с препятствиями самого неприятного, а, подчас и неожиданного свойства. Разстояние от Самары или Саратава [6] до Ташкента, главного города Туркестанской области, около двух с половиною тысяч верст. Хотя в Европе и Америке подобный переезд кажется совершенными пустяками, в Азии это дело совсем не легкое, требующее целых недель, а при неблагоприятных обстоятельствах целых месяцев на приведение его в исполнение. Русские устроили почтовое сообщение по всему пространству этой линии и в тех случаях когда лошади не оголодали еще после летних пастбищ и дороги хороши, или же в начале зимы по первому пути, весь переезд может-быть совершен в 3 недели, если ехать днем и ночью. Весною же, в ту пору о которой идет речь, когда лошади изморены зимним голодом, дороги изрыты и затоплены, можно почитать себя счастливыми если удастся совершить этот переезд и в три месяца. Первой заботой каждого путешественника в этих местах должно

быть приобретение тарантаса, так как почтовые телеги и сани меняются с каждой переменной лошадей, что поставляет пассажиров в необходимость перегружать так же часто и весь свой багаж, который не может быть незначительного веса и объема при такого рода переезде. Тарантас — исключительно русская повозка, кроме редкой прочности имеющая то удобство что снятая с колес, может быть поставлена на полозья и с таким же успехом исполняет должность зимняго экипажа, что и пришлось нам, например, применить на деле при самом нашем выезде.

Мне кажется что переезд от Саратова до Казалинска, где нас застаёт начало этой главы, может показаться не безынтересным читателю, и потому я постараюсь, в возможно кратких словах, дать беглый очерк этого мучительного для нас времени.

Первый день путь наш лежал по левому берегу Волги, через 4 поселения немецких колонистов, основавшихся здесь в царствование Екатерины II, в 1769 году. Довольно приятен еще был наш переезд по этим маленьким старомодным селениям с их приветливыми, уютными домиками, полузанесенными снегом, их приземистыми кирками с высокими колокольнями, как бы для того поставленными чтоб указывать место где стоит деревня, на тот случай если она окончательно будет занесена степными метелями. Почтовые станции везде чисты и опрятны, [7] всегда можно добыть хороший кофе, хлеб и масло, народ проворен и услужлив, лошади в хорошем соотоянии, и мчимся мы полным галопом по блестящей снежной пелене. Резкий зимний воздух весь сверкает от летающих в нем морозных частиц, которыя, точно иглы, колют вам лицо; сильные порывы ветра заставляют его гореть под морозом, но все это казалось нам тогда только пикантною приправой к нашей длинной санной прогулке. Из деревни в деревню, от станции к станции, переносимся мы со скоростью почти железнодорожного поезда. Подъехав к станции, поспешно выскакиваем мы из своей повозки, выворачиваемся из овчин и входим в теплую комнату станционного дома; тем временем как мы согреваемся и наскоро выпиваем по стакану чаю или кофе, лошади уже готовы, и вот мы опять в дороге, весело мчась по снегу под звуки колокольчика. Днем и ночью едем мы таким образом, устраиваясь спать как можем в экипаже и только изредка останавливаясь перекусить на скорую руку, пока не доежем до Николаевска. Здесь приходится нам

распрощаться с немецкими колонистами, а вместе с ними и со всем нашим дорожным комфортом и спокойствием из Николаевска мы прямо проезжаем на Уральск, минуя почтовую дорогу, и тут уже начинаем испытывать перемену.

Мы находимся на вольной почтовой дороге, то-есть на почтовой линии основанной не правительством, а частною предприимчивостью. Тут нет почтовых лошадей и останавливаемся мы уже не на почтовой станции, а у крестьянских изб, ища мужика, которому приходилось поставлять для нас лошадей. Лошади эти по большей части костлявые, лохматые, полуизмороженные голодом животные, совсем не похожие на тех лоснящихся, сытых лошадок что мчали нас по стране немецких колонистов; оне едва в состоянии плестись шагом, да и самые переезды гораздо длиннее, и в избах уже не можем мы допроситься ни молока, ни масла.

Вот подъезжаем мы, бывало, к одной из этих изб, исполняющих должность станционных домов. Выскакиваем из тарантаса, расправляем онемелые, полузамершие члены и вступаем в сени, холодные и темные, исполняющие роль кладовой и чулана, а также прикрывающая вход [8] в настоящую избу от пронзительного зимнего ветра; пробравшись тут ощупью, подходим к тяжелой обитой войлоком двери, которая откидывается к стене, а за ней наталкиваемся на другую, подобную ей, дверь, но уже отворяющуюся в сторону избы—и вот мы в самой избе, натопленной до такой степени что в первый момент представляется что какою-то сверхестественною силой нас втокнуло в то самое место что обыкновенно считается самым раскаленным во всей вселенной. Внутренняя атмосфера налегает на нас как горячая подушка, и в продолжение нескольких минут мы почти задыхаемся, тогда как глаза наши, привыкшие к яркости зимнего солнца, ничего не могут различить в этом полумраке. По прошествии некотораго времени, впрочем, к нам возвращается понемногу способность дышать и видеть. Мы находимся в тесной избе, футов в 12 шириною при 14ти длины; около четверти этого пространства занимает собою раскаленная печь, из которой и выходит этот ошеломляющий жар; одно или два маленьких окошка с двойными рамами и стеклами, покрытыми снаружи толстым слоем льда, лавки вокруг всей стены, стол, сколоченный из неотесанных досок, две-три скамьи из того же материала; в одном из углов у потолка образ Николая Чудотворца а

иногда и образ Богородицы; немного в стороне, на веревке прибитой к потолку, висит глиняный сосуд, наломавший формой чайник, и наполненный водою: стоит только его нагнуть, и вы можете тут же умыться над стоящей под ним деревянной лоханью: вот и все незатейливое убранство избы. Нет никаких полок, да оне бы и были здесь излишнею затеей, когда из всей посуды имеется разве пара ножей, несколько деревянных чашек и с полдюжины таких же ложек; нет постели, так как вся семья спит на этой самой чудовищной печи, прикрываясь старым тряпьем и тулупами; нет здесь шкапов, потому что платья свои они сберегают в более подходящем месте, а именно на собственных спинах, почти никогда не снимая, даже во время сна. В избах этих в редких случаях найдете вы даже самовар, необходимую принадлежность каждого стационарного дома, здешний мужик слишком беден чтобы позволить себе эту роскошь,—два, много три самовара приходится на всю деревню и правят всю службу.

[9] Сговорившись относительно лошадей, мы садимся за стол, и нам вносят нашу чайную посуду и занятый у соседа калеку-самовар. Скоро вода закипает, чай заварен, и мы погружаемся в процесс чаепития, стараясь запастись теплом для предстоящей борьбы с ветрами и морозом. Затем мы опять в дороге, опять начинается возня с изморенными животными, которые едва-едва тянут нас по нескончаемой снежной равнине.

Впрочем, всей вины нельзя и сваливать на лошадей; возницы также не мало нам перепортили крови. Помнится, как-то ночью, чуть ли не одной из самых морозных которым нам приходилось подвергаться, застигнуты мы были в поле страшной метелью, и едва-едва на развете добрались до деревни. Каково же было наше удивление, когда мы тут увидели что наш чудовищный возница, косою сажени в плечах, до носа укутанный полушубками и овчинами, спрыгивает с козел и мало-по-малу обращается в грудку овчин и быстроглазую девочку двенадцати лет! К удовольствию своему, мы, впрочем, узнали что не одной ей были вверены, а что отец ее ехал впереди с нашим багажем.

От русских деревень переехали мы в поселения Башкир, где чуть не принуждены были зимовать, вследствие упрямства этих разбойников, которые отказывались ставить лошадей иначе как за

баснословныя цены, да и то не всегда их можно было добиться. После неимоверных усилий и такого количества, дипломатических уловок которое удивило бы самих Бисмарка и Тьера, нам, впрочем, удастся вырваться от них; мы перерезываем южную отрасль Уральских гор и въезжаем в землю Уральских казаков.

От Уральска, по берегу Урала, де самага Оренбурга наше путешествие много напоминает собою переезд по земле немецких колонистов. Лошади исправные станционные дома чисты и опрятны, и если бы не изрытые канавами и ложбинами дороги, этот переезд был бы приятен, несмотря на трескучий мороз.

В Оренбурге останавливаемся мы всего на несколько часов, переправляемся чрез Урал по льду, оставляем Европу за собою и скоро обретаемся далеко в широких, необозримых равнинах Азии.

Здесь почтовые лошади поставляются Киргизами, у которых их целыя тысячи бегают на воле по степи. Но [10] раннею весною, изнуренныя долгим зимним гододом, оне едва передвигают ноги. Иногда приходилось впрягать в наши две повозки от пятнадцати до двадцати лошадей, по три, по четыре в ряд; спотыкаясь плелись оне пред нами как стадо овец, но никогда не были в состоянии подняться в рысь. Верблюды, которых нам иногда поставляли вместо лошадей, оказались ничем не лучше этих последних, с тою разве разницей что который-нибудь из этих „кораблей пустыни" поднимал вой, точно протестуя против всей этой процедуры, и уже незамолкал ни на минуту в продолжение всего переезда, верст на 30—35.

Много часов приходилось нам проводить на морозе в возне с нашими клячами, а затем вместо станции подъезжали мы к землянкам, крытым хворостом и землею, куда пробираться приходилось подземным ходом. Не будь тут почтовых столбов врытых в землю, легко можно бы проехать подобную станцию не подозревая даже ея существования, — так сравниваются крыши этих комфортабельных жилищ с уровнем снежной равнины. Лошади вечно оказывались угнанными в отдаленный аул, надо было посылать их искать и приводить, на что употреблялось по несколько часов, так что нередко мы делали по одному только переезду в день. В одном даже месте нам наотрез отказались ставить лошадей, объявляя без обиняков что их нет и не будет. На вопрос наш у

Киргиза, которому приходилось поставлять лошадей, не думает ли уж он что мы затем и ехали чтобы простоять здесь на месте всю зиму, он преспокойно отвечал что не знает, да и дело это не его. Терпенью нашему, впрочем, настал конец, а Ак-Маматов, наш слуга-Татарин, человек к делу привычный, немедленно пустил в ход для убеждения невозмутимаго Киргиза крайние доводы, приправляя их вескими ударами старой, ржавой шпаги, которая при нем случилась. Эта дипломатическая уловка оказалась действительнее всех переговоров, потому что немедленным ея следствием было то что нам вывели множество кляч, почти с ног валившихся от голода, и чрез несколько минут мы выехали, несмотря на всеобщее убеждение что несчастныя животныя эти полягут на половине переезда.

[11] С подобными развлечениями тянутся для нас дни за днями; некоторые проходят в свирепых снеговых вихрях, которые воют, кружась вокруг нас, точно все степные демоны на нас ополчились; другие — в ослепительном солнечном сиянии и трескучих морозах, которые заставляют нарывать наши лица. От времени до времени подъезжаем мы к темным землянкам, душным и дымным, подсаживаемся к кипящему самовару и поглощаем целые океаны горячаго чая; затем опять пускаемся в дорогу, в ту же утомительную борьбу со степью. Даже ночью когда случалось просыпаться, нас неотступно преследовало сознание что мы все в тех же таинственных странах Средней Азии, окружены все тем же безмолвием при мертвенном свете той же луны, где на целые десятки верст кругом не найдешь людскаго жилища, разве только попадется где землянка, более похожая на кротовую нору, чем на жилище человека,—так сглаживается ея поверхность и подводится к уровню всей окружающей степи, как бы подавляемая ея обширностью. Жутко бывало подумать о странном образе жизни выпавшем на долю беднаго стационарнаго зрителя, прозябающаго в этой подземной берлоге занесенной снегом и отрезанной от обитаемаго мира.

Есть что-то непонятно гнетущее и ужасное в неизменном однообразии этих безконечных снеговых равнин, где по целым дням и неделям вы не видите ничего кроме необозримых снегов и неба, где вы изображаете собой как бы двигающейся центр этого белаго покрова обрамленнаго со всех сторон прямою линией горизонта; да

и самый горизонт как будто передвигается вместе с вами, налегает на вас и подавляет вас как чудовищный жернов. Здесь найдете вы весь простор и уединение Океана, но без движения; холодную, ледяную тишину арктических стран, без сияния арктических ночей и без величия арктических гор. Везде кругом безмолвие и пустота необитаемого мира.

Единственная жизнь проявляющаяся на этих снеговых равнинах заключается в свирепом бушевании ветра, который вырывается из холодных окраин северной Сибири и на пространстве целых тысяч верст не встречает ни малейшей преграды; он режет вам лицо как лезвием ножа, если вы не позаботитесь укрыться от его свирепости; [12] поднимает снег клубами и носит их по всей степи. Короткие солнечные дни, когда сверкание снегов ослепляло нас, длинные холодные ночи проведенные в полусонном, в полузамерзлом состоянии, ходячие лошадиные скелеты, едва передвигающее ноги под градом ударов, — и теперь не могу я вспомнить обо всем этом без содрагания.

День за днем, ночь за ночью, неделя за неделей застают нас в дороге, в медленном движении вперед по однообразной снеговой степи, где мы меняем лошадей на станциях до того похожих одна на другую что нам все кажется что мы возвращаемся к одному и тому же месту, что мы вовсе не подвигаемся вперед, а вечно окружены все той же полосой горизонта, отступающей от нас по мере того как мы к ней подвигаемся. Наконец, вся эта степь начинает представляться нашему онемелому воображению чем-то в роде чудовищного колеса, в котором мы, как белки, сколько из сил ни выбиваемся, все толчемся на том же месте.

Но вот, по мере приближения к Сыр-Дарье, погода делается теплее, снег понемногу исчезает, и нам приходится переправляться через большие наводненные пространства и ежеминутно вязнуть в грязи и промоинах. Мало-помалу снеговой покров равнины уступает место зеленому, воздух делается мягок, все кругом дышет весною и начинает наполняться благоуханием цветов. Мы повсюду встречаем Киргизов с их кибитками и верблюдами, они трогаются уже с зимних своих стоянок и предпринимают свой ежегодный летний переход по направлению к северу, и вся равнина испещрена стадами их скота. Таким образом, зима для нас миновала, хотя в

широкой степи, которую мы оставили за собою, снег еще должен быть по колени. Затем въезжаем мы в пески Кара-Кумы, по которым движемся с трудом, и наконец, ясным солнечным вечером, взбираемся на маленький песчаный холм, миновав у подошвы его последнюю станцию, и с восторгом приветствуем синия воды Аральского моря, разстилающиеся посреди желтых песков и сверкающие как бирюза, обделанная в золото.

В мрачном спокойствии и тишине лежит оно посреди песчаной пустыни его окружающей. С нашей стороны его берега образуют пологие холмы покрытые кустарником, [13] но далеко впереди можно различить высокий, обрывистый западный берег, покрытый скалистыми горами, с сияющими на вечернем солнце вершинами. Это картина странной, дикой, пустынной красоты, хорошо гармонирующей с мрачным за опустением, царящим везде кругом.

Еще один, день, и мы в виду города Казалинска или Форта № 1 на Сыр-Дарье, где начало этой главы и застает нас.

Здесь приходится нам стоять в смиренном ожидании в виду самого города, который был целью всех наших стремлений, предметом всех наших надежд за такое долгое время. Мы хорошо знаем по опыту что малейшее замечание с нашей стороны относительно посылки в город за подставочными лошадьми должно вызвать результат прямо противоположный нашему желанию, и вот, проводим мы время в наблюдении за тщетными усилиями ямщиков вытянуть нас из грязи, чувствуя что наше вмешательство делу не поможет.

Наконец, после долгих и напрасных усилий вытянуть тарантас из грязи, всякого рода уловок и хитростей со стороны ямщиков, переговоров, приправляемых криками, бранью, а подчас и пинками, они решаются послать в город за лошадьми, которые и появляются часа два спустя, вытаскивают нас из нашей засады и, не более как через полчаса, доставляют нас в самый город Казалинск, к берегам древняго Яксарта.

Тарантас. Верещагин.

II. Казалинск.

Казалинск или Форт № 1 есть пункт с которого начало распространяться русское владычество в Центральной Азии.

Форт этот был в 1847 году основан Перовским при самом устье Сыр-Дарьи, в шестидесяти верстах ниже его настоящего положения, и назвав фортом Аральским; но потом это место признано было до такой степени неудобным вследствие окружающих болот что форт был перенесен вверх по реке, к его настоящему месту. Это был первый стратегически пункт занятый на восток от Орска; но вскоре последовало и сооружение форта № 2.

[14] Занятием в 1853 году Ак-Мечети, известной теперь под названием форта Перовскаго, верстах в 350 вверх по течению Сыр-Дарьи, Русские окончательно закрепили свое положение на этой реке.

Казалинский форт — небольшое земляное сооружение, на протяжении около сорока квадратных саженей, окруженное рвом и защищенное маленькими крепостными орудиями, имеет около тысячи человек гарнизона, и представляет собою верный образец всех русских крепостей в этой стране света. Одна батарея новейшей полевой артиллерии покончила бы с нею в полчаса времени, но в Центральной Азии Русские посредством таких-то крепостей содержат все свои владения в покорности. За фортом к реке расположена корабельная верфь, а на стороне суши возник процветающий теперь городок Казалинск, насчитывающий около 5.000 жителей.

За исключением военных, в Казалинске весьма мало Русских, большая же часть населения состоит из Сартов или Таджиков, Бухарцев, Киргизов и Кара-Калпаков, племен родственных Татарам, в которых впрочем монгольский тип более или менее смягчился смешением с кровью арийской.

Одного взгляда на Казалу достаточно чтобы напомнить вам что, несмотря на широкие улицы, вы уже находитесь в Средней Азии. Низкие дома, с плоскими крышами, без окон и почти без дверей, базар с его рядом лепящихся друг к другу маленьких стойл, изображающих лавки, где длиннобородые торговцы, в ярких халатах, величественно восседают посреди своих товаров, пробавляясь чаепитием; ряды навьюченных верблюдов,

выступающих среди толпы людей с дикими лицами, груды странного вида товаров,—все напоминает вам что вы уже вступили в сказочные страны Востока.

Удовольствие, которое мы испытывали подъезжая к казалинской гостинице может вполне понять и оценить только тот кому самому случилось проехать тысячи две верст по почтовой дороге. Устройство и меблировка этой гостиницы, однако, далеко не оказались роскошными. По моим понятиям, по крайней мере, большая комната со столом, несколькими стульями, деревянным диваном и кроватью, на которой недостает простынь, одеяла, подушек [15] и матраца, еще не представляет всего чего мог бы пожелать для своего комфорта человек требовательный. Но мы не принадлежали к числу этих людей. У нас были свои кожаные подушки, матрацы, овчины, и после русской бани, которую нам приготовили в соседней избе, мы расположились для первого настоящего отдыха после многих дней утомительного переезда почтовым трактом. Проснувшись, приступили мы к великолепному обеду, главное украшение которого составляли сочные дикие утки, зажаренные в самую пору нашим слугою-Татаринном Ак-Маматовым, а затем вышли полюбоваться видом на Сыр, знаменитый Яксарт древней истории. Выйдя за город и крепость, мы скоро стояли на его берегах.

Здесь он около двухсот сажен шириною, воды его темная и мутная, с коварным ропотом мчатся между низкими, резко обрисованными берегами; местами эти берега до самой воды покрыты роскошною муравой, местами же они поросли густыми чащами кустарников, перемешанными с высоким тростником, верное убежище для сыр-дарьинских тигров; а вдалеке, на юге по направлению к Оксусу, тянутся желтые пески Кизил - Кума, сливающиеся с туманным небом на горизонте.

На реке внимание наше было привлечено Аральскою флотилией. Здесь стояли три больших колесных парохода—Самарканд, Перовский и Ташкент; два винтовые — Арал и Сыр-Дарья, паровой катер Обручев и многочисленная баржи, из которых три были оснащены как шкуны. Тут же, кроме того, застали мы две новые баржи, одну только-что спущенную, а другую еще на верфи. Два или три из этих железных пароходов были построены в

Швеции, остальные же все в Ливерпуле или в Лондоне, привезены по частям и собраны уже здесь, на месте. Перевозка производилась тою самою степью что я уже описывал, на верблюдах, не поднимающих каждый более 600 фунтов: можно вообразить с какими невероятными трудами было сопряжено это предприятие. Самарканд, который кажется был построен в 1870 году, очень красив, удобен и много лучше остальных судов флотилии. В сущности однако, ни один из них не годится для плавания по мелководной Сыр-Дарье иначе как в половодье и в начале лета, когда стаивает и стекает в нее снег с горных хребтов. У Казалинска [16] Сырь-Дарья еще довольно глубока и широка; но около форта № 2й много мелей, которыя постоянно изменяются. Не далее как прошлюю весною, спускаясь по Джаман-Дарье от форта Перовскаго, Самарканд бросил на ночь якорь в глубоких водах, а на другое утро очутился на суше и только после семидневной работы пятисот человек, удалось прорыть канал и освободить его. Образцами русских пароходов для Сырь-Дарьи следовало бы взять не темзенские, а американские речные пароходы, которые сидят в воде всего на шесть дюймов.

Хотя это было Светлое Воскресенье, самый большой праздник русскаго календаря, берег реки представлял вид самый оживленный. Баржи и пароходы со всевозможною поспешностию нагружались провизией и аммуницией, так как капитан Ситников готовился отплыть к устьям Аму-Дарьи через три или четыре дня, намереваясь подняться по этой реке и встретить экспедицию генерала Кауфмана как можно ближе к Хиве.

Нам чрезвычайно было любопытно узнать что-нибудь о Хивинской экспедиции, так как об ней мы не слыхали ничего с самага отъезда из Оренбурга, а легко могло статься что Хива уже этим временем была занята. Я выехал из Петербурга в надежде застать еще в Казале отряд под начальством Великаго Князя Николая Константиновича, который, я знал, должен был выступить с этого пункта. Эту надежду, впрочем, я уже оставил, зная что отряду полагалось уже давно быть на пути в Хиву. Весь вопрос теперь для меня заключался в том далеко ли он отошел, и есть ли еще какая-нибудь возможность его нагнать. С целью собрать все надлежащия по этому предмету сведения, мы в течение перваго же дня явились к коменданту крепости, полковнику Козыреву, которым

были приняты очень радушно. Это был человек уже пожилой, чрезвычайно добродушный и гостеприимный, и его приглашение к обеду принято было нами с истинным удовольствием.

У него мы узнали что Хивинская экспедиция далеко продвинулась вперед. Казалинский отряд, под начальством полковника Голова и с Великим Князем Николаем Константиновичем во главе авангарда, выступил с места 9го (21го) марта, прибыл 25го марта (9го апреля) на Яны-Дарью, [17] где была им основана Благовещенская крепость, а по последним, известиям, полученным дней десять назад, отряд этот уже находился у колодцев, в горах Букан-Тау, не более как в 120 верстах от Аму-Дарьи, где ему и положено было дожидаться прибытия главнокомандующаго, лично введущаго отряд Туркестанский. В Казалинск не приходило никаких известий о генерале Кауфмане со времени выступления его колонны из Ташкента, и ничего не было известно вернаго насчет его настоящего местопребывания; предполагали, однако, что этим временем уже должно было совершиться соединение его отряда с Казалинским, и даже могло статься что соединенныя войска достигли самага Оксуса.

Во всех этих вестях не было ничего утешительнаго для меня. Я надеялся нагнать армию здесь, а теперь оказывалось что меня от нея отделяет еще целые Кизил-Кумы, и большая часть предстоящаго мне пути лежит в неприятельской территории.

Только-что прибывший курьер с депешами от Оренбургскаго отряда к генералу Кауфману объявил что войска под начальством генерала Веревкина уже переправились через Эмбу и подвигались к югу. 1го (13го) мая отряд должен был достигнуть южных берегов Аральскаго моря, где к нему имел присоединиться отряд полковника Ломакина идущий от Киндерлинской бухты, у северо-восточных берегов Каспийскаго моря. Об этом последнем отряде экспедиции мы тут слышали еще в первый раз.

Самой же интересной в то время новостью было то что в Казалинск прибыл три недели тому назад посол хана Хивинскаго Бей-Муртаза-Ходжа-Абасходжин, с письмом от хана к генералу Кауфману и с русскими пленными. При после состояла свита из 25 человек, в числе которых был один диван-бег и один ишан.

Говорили что хан предписал этому посольству соглашаться на все условия какие бы Кауфман ни предложил, надеясь отворотить грозящий погром, так как во время выступления посольства из ханства, т.е. за месяц до прибытия его в Казалинск, в Хиве еще ничего не было известно о движении русских сил. Недостатка в воде дорогой это посольство не терпело находя везде еще снег в изобилии; идя же у самых берегов Аральского моря, оно не [18] встретило ни одного из экспедиционных отрядов. От генерала фон-Кауфмана пришло приказание доставить к нему посла, а также и тех из русских пленных которые способны были вынести переход. Освобожденных Русских было 21 человек, из которых 11 казаков. Захвачены они были Киргизами в 1869—1870 годах и проданы Хививцам. Кроме этих не было у Хивинцев больше русских рабов, за исключением еще одного, захваченного во время несчастной экспедиции Перовского, старика, который перешел в мусульманство, женился в Хиве, а теперь предпочел там и остаться.

На следующий день мы сделали визит лейтенанту Ситникову, который также принял нас очень любезно, радушно угощал нас и доставил возможность ближе осмотреть флотилию.

Взвесив все обстоятельства, я решился попытаться одному пробраться чрез Кизил-Кумы по следам Казалинского отряда. С быстрыми лошадьми и хорошим проводником, думал я, можно добраться до Оксуса в семь или восемь дней, прежде нежели генерал Кауфман совершит чрез него переправу. Этот переезд был очень рискован и здесь считался не только опасным, но почти невозможным, в виду того что Киргизы кочующие в Кизил-Кумах и враждебные Русским, издавна славились как разбойники и грабители первой руки, и уж конечно такую маленькую партию как моя почтут по праву им принадлежащею добычей в военное время. А между тем переезд этою, пустыней казался мне единственным возможным выходом из моего положения. Оставаться в Казалинске или ехать в Ташкент было бы равносильно пребыванию в Петербурге, а я уже столько потратил денег New-York Herald что чувствовал себя нравственно обязанным что-нибудь да предпринять, и сознавал что одно мое достижение города Хивы может еще иметь какую-нибудь цену в этом отношении.

Положение корреспондента иногда бывает очень затруднительно. Ему подчас приходится вступать в какое-нибудь предприятие и на половину не оценивая и не предвидя всех препятствий к достижению цели; а потом он уже считает себя обязанным довести дело до конца, рискуя иногда самую жизнь, и в то же время сознавая что будь на то [19] одна, его воля—ему никогда в голову не пришла бы и мысль о подобном предприятии. Таким-то путем выпадает на долю корреспондента репутация безумной отваги, храбрости, настойчивости и даже меднаго лба, репутация которой он иногда, право, не заслуживает.

Вскоре и я нашел что от решения еще далеко до исполнения. Я уже помышлял о лошадях и проводнике, с которыми бы предпринять переход, когда капитан Верещагин, заступавший место начальника города, полковника Голова, явился к нам и объявил мне что без разрешения генерал-губернатора он не может взять на свою ответственность позволить мне предпринять опасный переезд Кизил-Кумами. Ничто не могло поколебать его в этом решении; все наши аргументы не повели ни к чему, а так как генерал Кауфман был в пустыне, никто даже не знал наверное где, и на письменное с ним сообщение потребовались бы целыя недели, то это решение капитана Верещагина оказалось непреодолимым препятствием моему плану. Минутнаго размышления достаточно было для меня чтоб убедиться что на половину возникший в моей голове план ночнаго бегства чрез Сыр-Дарью был так же неисполним. Уже не говоря о трудности переправы, мне еще предстояла покупка лошадей, отыскание проводника и другия необходимыя приготовления которыя я никогда не мог бы довести до конца в маленьком городке, под бдительным оком капитана Верещагина, без того чтоб это до него не дошло. Волей-неволей приходилось оставить эту попытку на настоящее время и отложить ее исполнение до прибытия нашего в форт № 2 или форт Перовский, так как капитан Верещагин не противился нашему проезду в Ташкент, а я не терял надежды напасть наконец на начальника который не имел бы такого преувеличеннаго страха за мою личную безопасность. Несмотря на все это, впрочем, капитан Верещагин был очень вежлив и с поспешностью вызвался переправить с нарочным письма которыя мы пожелаем написать Кауфману, что мы и сделали, испрашивая позволения главнокомандующаго ехать в Хиву и прибавляя что ответа ожидать будем в Ташкенте.

Здесь я могу позволить себе забежать несколько вперед и сказать что генерал фон-Кауфман, стоявший тогда на Катты-Кургане, как только получил наши письма, [20] немедленно с курьером выслал нам приглашение ехать в Хиву, прилагая для нас также карту и подробныя наставления касательно пути. Еслиб я, впрочем, вздумал ждать этого позволения, то был бы в Хиве не ранее как чрез несколько дней после ея падения.

III. Форт Перовский.

Так как г. Скайлеру, едущему в Ташкент, не было никакого дела в Казалинске, а сам я только о том и мечтал как бы поскорее добраться до форта Перовскаго чтобы попытать там счастья, то мы поторопились отъездом, и после трехдневной остановки опять уложили свой багаж в телегу, заняли свои старыя места в тарантасе и скоро были опять на скучной почтовой дороге.

Путь наш лежал теперь по берегу прихотливой Сыр-Дарьи, что и доставило всем возможность ближе познакомиться с ея причудами и вполне их изучить.

Сыр-Дарья одна из самых эксцентрических и предательских рек; она также изменчива как луна, не обладая впрочем регулярностью этой планеты. Случись хотя малейшая преграда в ея течении — она тотчас же изменяет свое русло, как будто не терпя никакого вмешательства в свои дела. Вообще, это река-бродяга, которой ничего не стоит переменить свое течение, проложить новое русло и прогуляться на 10—15 верст в сторону, не хуже любого кочевника-Киргиза живущаго на ея берегах. Русским никогда не удавалось сладить с нею; мне даже и не верится чтобы когда-нибудь могли из нея сделать настоящую судоходную реку. Конечно, если бы страна по которой она протекает была густо населена, то нашлись бы к тому средства. Но до тех пор пока это может осуществиться, большая часть ея вод пойдет на орошение знойных песков Кизил-Кума, и это еще будет самым полезным для них употреблением.

Четыре дня мы ехали до форта Петровскаго, и эти дни прошли для меня в невыносимом беспокойстве. Если генерал Кауфман действительно зашел уже так далеко, то придется употребить величайшую поспешность чтобы нагнать его до вступления войск в

Хиву, а я тут тащился [21] черепащим шагом по почтовой дороге и даже не знал наверно допустят ли меня ехать дальше Перовскаго. Наконец ночью въехали мы в форт Перовский, и подъехав к единственной в городе гостинице застали ее целиком занятую семейством одного русского офицера. Нам, впрочем, отвели комнату в пять футов ширины при восьми длины, безо всякой мебели, пыльную и грязную, в которой нам волей-неволей пришлось расположить свои матрацы и провести ночь.

Рано следующим утром я послал Ак-Маматова на поиски за проводником и лошадьми, так как уже решился проехать Кизил-Кумами до Аму-Дарьи во всяком случае, станет ли меня задерживать начальник города или нет; сам провел я весь день в набивании ружейных патронов и в довершении остальных необходимых приготовлений. Вечером возвратился Ак-Маматов, говоря что проводника он не нашел, а лошадей нельзя и достать в Перовском.

Заявление это сильно меня сразило. В первую минуту я бы, кажется, готов был пуститься в дорогу без проводника, но без лошадей это конечно было немыслимо. На вопрос мой можно ли достать верблюдов, Ак-Маматов отвечал что этих последних легко будет купить. Так как смерклось, то нечего уже было делать этим днем, но рано следующим утром он вышел на поиски за верблюдами и проводником, обещая скоро вернуться.

Мы этот день провели с г. Скайлером в осмотре города. Видом он очень походил на Казалинск: те же глиняные домики, те же маленькия, лепящиеся друг к другу лавки и базар, те же яркие костюмы при темных, загорелых лицах, те же грубые товары, такая же миниатюрная крепость с выглядывающими из-за стен орудиями и та же протекающая широкая река.

На этом пункте встретили Русские первое серьезное сопротивление в Центральной Азии. Место это было под начальством состоявшаго тогда на службе у Бухарскаго эмира Якуббека, с которым редко кто мог сравняться отвагой, искусством в войне и храбростью. После несколько-дневной осады, впрочем, крепость была взята Русскими штурмом, при большой потере людей

с обеих сторон. Якуб-бек бежал, и в последствии сделался эмиром Кашгара, самой цветущей и богатой страны в Центральной Азии.

[22] В те времена пункт этот еще назывался Ак-Мечетью, но в последствии был переименован в форт Перовский.

Ак-Маматов мой опять вернулся только к ночи, и все с тою же старою песней: нет ни проводника, ни лошадей, ни верблюдов. Это начало мне казаться весьма странным. Что нельзя было найти верблюдов и лошадей на месте где три четверти всей собственности жителей составляют именно эти животные, было более чем нелепо. Ак-Маматов повидимому лгал, имея на то свои личные побуждения, и минутного размышления с моей стороны достаточно было чтобы заподозрить действительную тому причину. Когда, пред самым выездом в Казалинск, мы объявили ему о моем намерении ехать в Хиву и спрашивали поедет ли он со мною, он не только с восторгом приветствовал мой план, но даже изъявлял нетерпение поскорее привести это в исполнение. С той поры, впрочем, восторженность эта значительно охладела; он стал говорить уже о предстоящем переезде не иначе как с унынием, должно-быть услышав в Казалинске что-нибудь относительно трудности этого предприятия. Теперь же он, повидимому, принял остроумную тактику не находить мне ни лошадей, ни верблюдов, с целью внушить мне как невыполнимы были самая приготовления к такому предприятию. Быть-может он также думал что умножая таким образом препятствия к моему отъезду, ему удастся вынудить от меня за свои хлопоты хорошенький куш денег если придется все-таки в конце концов сделать по-моему.

Дойдя до этих выводов, и вспомнив что он задержал уже меня целых два дня, я почувствовал сильнейшее желание немедленно переправить его в объятия ожидающей его небесной гурии. Прибегнув, впрочем, к некоторым весьма веским и всегда действительным убеждениям, я заставил его наконец понять что дальнейшие обманы касательно лошадей поведут только к весьма печальному результату для него самого; и на другой день он вновь пустился на поиски уже с клятвенными заверениями что сделает все что от него зависит.

Ак-Маматов этот был Татарин из Оренбурга, рекомендованный нам Бектуриным, одним из цивилизованных Татар, состоящих в государственной службе. [23] Ак-Маматов был лет пятидесяти пяти, говорил по-русски и на всех средне-азиатских наречиях, и вдобавок оказался самым ленивым и упрямым старым негодяем и вором, какого только можно себе представить. Хотя и магометанин, он напивался пьян при первой возможности и вечно находил предлог противиться моим желаниям и не исполнять моих приказаний, как и в настоящем случае.

Возвратился он тем же утром с каким-то бродягой-жидом, предлагая его в проводники; сам жид уверял что не раз бывал в горах Букан-Тау, где я думал застать генерала Кауфмана, и знал туда дорогу как свои пять пальцев.

Подрядившись в проводники и переговорив с нами о количестве необходиммх для переезда лошадей, жид этот внезапно куда-то исчез и никогда после не попадался нам на глаза, что вышло несколько неожиданным и весьма пошлым результатом всех наших долгих и, как казалось, удачных переговоров.

Таким образом, потерян был еще день, что и дано было почувствовать Ак-Маматову в такой степени что он поднялся с зарей на следующее утро и отправился на поиски, уже окончательно убежденный в прямой выгоде послушания. На этот раз он привел с собой Каракалпака Мустрова, который только-что вернулся из Иркибая, куда ездил в качестве джигита-проводника при маленьком отряде, высланном из Перовскаго на соединение с Казалинской колонной. Этот, повидимому, пришел за делом, да и говорил как человек знакомый с местностью: я уговорился взять его проводником по цене которую он сам запросил, оказавшейся потом ценою баснословною, за что опять-таки можно было мне поблагодарить Ак-Маматова. Оставалось только добыть от полковника Родионова, городского начальника, разрешение нашему проводнику сопровождать нас, без чего он никак не соглашался ехать, хотя сам я гораздо бы охотнее уклонился от этой формальности. Скрепя сердце отправился я к полковнику Родионову. Оказалось, однако, что он не только не противился моему выезду, как Верещагин, но немедленно выдал проводнику

паспорт, самому мне дал разрешение на выезд, и вообще оказал мне всякую помощь и услугу которая была в его власти.

[24] Как только разошелся по городу слух что мне требуются лошади, их привели мне более сотни. Скоро самая улица у наших дверей была ими запружена, — живейший укор Ак-Маматову в его лганье; но он посмотрел на это чрезвычайно спокойно, вовсе, повидимому, не обезкураженный этою явною уликой в мошенничестве. Я купил шесть лошадей, заплатив от 45 до 75 руб. за каждую; четыре верховых для себя, Ак-Маматова, проводника Мустрова и для молодого Киргиза которого я нанял по внушению Мустрова для ухода за лошадьми и багажем, и две лошади для перевозки багажа, фуража и воды которую нам предстояло перевозить с собою во многих местах.

Верблюды, конечно, были бы много полезнее в переноске тяжестей: с ними я бы мог взять палатку, ковры, походные стул, стол, запас платья и провизии, при которых переезд пустыней не имел бы относительно ничего особенно неприятного. Я знал сам что без верблюдов я не могу себе доставить даже того комфорта которым пользуются номады, но на лошадях разчитывал я проезжать вдвое более того пространства что проходят верблюды, а сбережение времени было для меня вопросом громадной важности. Знай я тогда как долго суждено мне скитаться по пустыне, я бы никогда не решился пуститься в путь с одними лошадьми.

IV. Среди разбойников.

В три часа пополудни 30го (18го) апреля распрощался я с г. Скайлером и вошел на паром, который должен был перевезти меня через Сыр-Дарью. Три из моих маленьких киргизских лошадок уже были на нем, вместе с проводником Мустровым, тогда как Ак-Маматов готовился вступить на другой паром с остальными лошадьми и багажем. Пятеро Киргизов схватили длинный канат и повлекли нас вверх по течению, чтоб отчалить с такого места откуда бы мы не были пронесены быстрым течением ниже места выгрузки; привычные к делу, они беззаботно вошли по пояс в воду, перешли к песчаной мели неподалеку от берега, и наконец, отошед на полверсты от того места где мы вошли на паром, вскочили на него [25] сами и оттолкнулись от песка. Скоро мыплыли уже далеко от берега, быстро скользя вниз по течению, тогда как двое Киргизов гребли не переставая. Сыр-Дарья здесь была около полуторы версты

шириною; берег с крепостью и выглядывающими из-за ее стен пушками, маленький городок и обыватели, собравшиеся на берегу смотреть на мое отплытие, все это быстро отступало, подергиваясь туманом. Вскоре я принужден уже был взять зрительную трубу чтобы различить в толпе г. Скайлера: он отдавал последние приказания Ак-Маматову пред окончательным отправлением его с лошадьми и багажем.

На другой стороне мы причалили к маленькой киргизской деревеньке, состоящей из пяти или шести кибиток. Обыватели все высыпали на берег и очень добродушно помогли нам выгрузить наши пожитки. Скоро и Ак-Маматов приплыл на другом пароме с вьючными лошадьми, на одну из которых нагроузили ячмень для лошадей, а на другую около двух с половиною пудов багажа: тут были сухари, чай, чайники, турсуки или кожаные мешки для перевозки воды, кожаные ведра с привязанными к ним длинными веревками для вытаскивания воды из колодцев, и наконец мой собственный скудный гардероб, тогда как по сотне патронов для каждого из моих четырех ружей и револьверов было поровну нагружено вместе со многими другими безделицами на остальных четырех верховых лошадей.

Присмотрев за увязкой багажа и всеми необходимыми приготовлениями, я перекинул через плечо свою винчестерскую винтовку, влез на маленькую киргизскую лошадь, помахал на прощанье платком г. Скайлеру, которого еще мог рассмотреть вдали, на другом берегу, также следящего в зрительную трубу за нашими действиями, повернул лошадь к югу и въехал в пустыню.

Вся моя маленькая партия людей состояла из Ак-Маматова, в качестве слуги и переводчика, Мустрова, нанятого в проводники, и наконец мальчика Киргиза, из Перовского, для ухода за шестью лошадьми и для присмотра за багажем.

Принадлежа к числу людей миролюбивых, я был только слегка вооружен. Тяжелая английская двуствольная винтовка, двуствольное охотничье ружье, винчестерская винтовка о восемнадцати зарядах, три тяжелых револьвера, одно [26] обыкновенное ружье заряжающееся с дула да еще несколько охотничьих ножей и сабель — вот и вся моя аммуниция. Я вовсе не желал вступать с кем-нибудь

в бой, а вез с собою все это оружие лишь для того чтоб иметь возможность с достоинством вести переговоры о праве пути и праве собственности могущее возникнуть с кочевниками пустыни, понятия которых об этих предметах подчас бывают несколько своеобразны.

Моим единственным стремлением теперь было как можно скорее выбраться из окрестностей Перовскаго: мне все еще мерещилось что полковник Родионов передумает и пошлет за мной погоню. Только в открытой степи мог я почитать себя в безопасности на этот счет; потому и отъезд наш сильно походил на поспешное бегство. Я предполагал следовать берегом Яны-Дарьи—маленькой речки вытекающей из Сыр-Дарьи и извивающейся по пескам в юго-западном направлении—до ключей Иркибая, у которых, как и было уже мною замечено, Великим Князем была заложена крепость. Оттуда я уже намеревался идти по следам отряда пока не настигну его.

Вперед выехал проводник Мустров, а за ним я сам и Ак-Маматов с молодым Киргизом; оба последние вели по лошади. Путь наш лежал на юго-запад, и мы почти немедленно потеряли Сыр-Дарью из виду. Долина здесь была очень песчана, а местами покрыта жесткою, высокою травой. Было также много тростника перемешанного с массаами кустообразного терновника, который иногда достигал до двадцати футов в высоту, образуя частый, непроницаемый лес — верный притон для сыр-дарьинских тигров. Временами попадались местечки поросшие хорошою зеленою травой и маленькие чащи захиревших колючих деревцов, похожих на американское сливное дерево. Кустарники и деревья еще не одевались, но щебетанье птиц и запах ранних цветов свидетельствовали уже о наступлении весны.

Иногда встречались нам конные Киргизы с их старыми фитильными ружьями перекинутыми через плечо: проездом, они с любопытством осматривали меня и неизменно приветствовали нас своим „саламом". Конечно, люди мои не упускали ни одного из этих случаев чтоб остановиться поболтать и дать каждому проезжему полный [27] обо мне отчет: откуда я приехал, кто я сам, куда направляюсь и за каким делом; словом, повторялось все то что обо

мне знал Ак-Маматов, с должным разумеется прибавлением того о чем он не имел ни малейшего понятия.

Таким порядком продолжали мы свое шествие почти до захода солнечного, когда въехали в густую чащу терновника. Проложенная здесь тропинка вывела нас на чудесную лужайку, покрытую густым ковром зеленой травы. Она была с трех сторон окружена зеленою чащей, которую мы проехали, а на четвертой стороне спускалась к берегу широкой реки, оказавшейся, к величайшему моему удивлению, той же Сыр-Дарьей. В последствии я узнал, впрочем, что эта река делает в своем течении широкий загиб на юг, и наша тропинка в этом пункте опять шла по его берегам. По середине лужайки стоял киргизский аул, состоящий из четырех или пяти кибиток или палаток. Надо заметить что аулом называют Киргизы деревню, но не оседлую, а кочующую с места на место, так как в среде их оседлости не существует.

Мустров подъехал к одной из кибиток, из которой выбежало несколько женщин и детей, и спросил что-то по-киргизски. Ему указали на большую кибитку, стоявшую поодаль, а Ак-Маматов стал поговаривать об остановке здесь на ночлег. Так как теперь мы отъехали довольно далеко, да и время клонилось к вечеру, то я согласился что Ак-Маматов говорит дело, и мы подъехали к большой кибитке, хозяин которой уже вышел к нам на встречу. С Мустровым они дружески поздоровались, поглаживая свои бороды, и обменялись приветствиями, будучи, как оказалось потом, уже старыми друзьями. Поразспросив немного Мустрова, насколько я мог заметить, обо мне, Киргиз сделал мне знак сойти с лошади, что я немедленно и привел в исполнение. Он потряс меня за руку, все поглаживая свою бороду, проговорил свой „салам“, ввел меня в кибитку и с самою степенною вежливостью пригласил меня садиться на кипы разных ярких одеял и ковров, которые были разостланы у одной стороны кибитки.

Тут я впервые очутился один посреди кизил-кумских Киргизов, вне охраны и покровительства Русских.

[28] Народ этот имел репутацию разбойников и грабителей, а при мне было достаточно денег и вещей чтобы составить богатую добычу даже для самых богатых из них. Въезжая в пустыню, я знал

что с этим народом возможны только две системы чтобы пройти их страной: или с боя пробивать себе путь, или же вполне положиться на их великодушие и гостеприимство. Я выбрал последнее.

Итак теперь, войдя в палатку, я снял свою винтовку и вручил ее хозяину вместе с поясом и револьвером, а сам разлегся на полу, вполне оценивая после тревожных последних дней настоящей покой со всею прелестью и комфортом мягких ковров, при ярком свете костра, пылающего по середине кибитки, тогда как дым синими клубами выходил в отверстие вверху. Хозяин повесил мое оружие в кибитке, и вышел посмотреть как управились мои люди с лошадьми, оставя меня на попечении двух оборванных, широкоскулых женщин, которыя, расхаживая по хозяйству, бросали на меня по временам любопытные, хотя и скромные, взгляды.

Сцена меня окружающая была очень привлекательна. Через открытую сторону кибитки виднелись уже разседланные и спутанные лошади, которыя спокойно пощипывали зеленую траву, дети играли тут же на зелени, дым извивался над кибитками, придавая им чрезвычайно уютный вид, а издали доносилось мягкое журчание протекающей реки. Дети этих разбойников не только не были застенчивы, как дети всех диких вообще, но оказались очень общительными и, как видно, ни мало меня не боялись: один едва прикрытый мальчуган даже прибежал спрятаться у меня, нисколько не труся, с полнейшею датскою доверчивостью.

Вошедший Ак-Маматов внушил мне мысль отправиться на ближайший пруд, куда спустилась стая диких уток. Поспешно схватив ружье, я выбежал за ним на пруд и действительно застал такое множество дичи что одну за другою положил их пять штук.

Отправив Ак-Маматова с утками обратно, сам я прошел немного дальше. Уже почти совсем смеркалось, и темные воды Сыр-Дарьи катились с ровным, но каким-то зловещим рокотом, лишь изредка нарушаемым внезапным всплеском, когда обваливались ея берега. Противоположная сторона погружена была в темноту, в которой еще [29] неясно обрисовывались вершины деревьев на более светлом небосклоне. Судя по времени употребленному нами на проезд от Перовскаго, мы должны были уже отъехать верст на двадцать.

Я возвратился в аул и увидел что мои утки произвели большое впечатление. У Киргизов такое плохое оружие что редко когда и одну удается им убить, пристрелить же пять в один раз казалось им почти богатырским подвигом. Войдя в кибитку, я застал уток уже зажаренными и пригласил самого хозяина со всеми присутствующими принять участие в моем пиру. Мы все уселись по середине кибитки и плотно поужинали дикими утками, оренбургскими сухарями и холодным мясом, захваченным мною из Перовскаго. Более всего понравились хозяину сухари; это, быть-может, даже было первым случаем когда ему приходилось отведать белаго хлеба, так как даже черный хлеб считается лакомством между Киргизами, которые питаются одним молоком и бараниной. Здесь заметил я в первый раз что при поспешном моем отъезде из Перовскаго я забыл захватить с собою нож, вилку, жестяную тарелку и ложку, которые я нарочно для дороги приготовил; а теперь принужден был есть большим складным ножом, как Киргизы, а чай мешать сучком, наскоро срезанным в терновнике. Киргизы, также как и нанятые мною люди, приготовляли себе чай самым простым и первобытным способом, кипятя его, как суп, в большом чугунном котле, распивали же они его потом из фаянсовых чашек русскаго изделия, погрызывая все время куски сахара. Класть сахар в чай кажется им безумным мотовством.

Над догоревшим этим временем костром задернули отверстие куском войлока. Все кругом приняло домовитый и уютный вид, все мало-по-малу погрузились в крепкий сон; наконец и сам я, увернувшись одеялами, разлегся на ковре и последовал общему примеру, очень довольный результатом первого дня в Кизил-Кумах.

Киргизская кибитка. Верещагин

[30] V. На пути.

Следующим утром восход солнца застала нас уже на лошадях. Радужно распрощались мы с хозяином и выехали тем же порядком как и накануне. Путь наш лежал все по тому же юго-западному направлению, в местности где не было ни дороги, ни тропинки: приходилось идти прямо вперед то высокими тростниками, в которых мы совершенно терялись, то пологими песчаными

холмами, поросшими терновником; а затем опять голою степью, где изредка лишь попадалась жесткая, колючая трава.

Вскоре мое внимание было привлечено беспрестанно повторявшимся криком каких-то птиц; их, повидимому, было множество в этом тростнике и кустарнике, так как мы ежеминутно слышали те же крики справа, слева, впереди и позади себя. Это был резкий, неприятный звук похожий на крик павлина, и всегда немедленно сопровождался шорохом, как бы от взмахивания крыльев вспорхнувшей птицы. Услышав, к величайшему моему удивлению, что это и есть столь прославленный золотой туркестанский фазан, я возгорел желанием пристрелить хотя бы одного. Но это оказалось делом далеко не легким в высоких тростниках; да к тому же птицы эти наделены совершенно особым талантом прятаться, несмотря на их яркие перья: часто приходилось мне слышать их крики всего в нескольких саженях от себя, но все-таки, сколько я ни обыскавал кустарники, ни разу мне не удалось ни высмотреть, ни вспугнуть ни одного из них. Это было тем более досадно что лишь только отходил я от какого куста, крик раздавался повидимому на самом том месте где я пред тем стоял.

Тем временем выехали мы на тропинку, проходящую по долине, что много облегчило наш переезд этими колючими кустарниками и терновником. Часто проезжали мы мимо стад лошадей и скота, которые спокойно паслись на поросших травой лужайках. Стерег их всегда конный Киргиз, который обыкновенно подъезжал к нам результатом, конечно, являлась короткая остановка моих людей и взаимное перебрасывание вопросами с пастухом. [31] Вооружены были эти кочевники кривою саблей, а иногда и фитильным ружьем, и всегда почти сопровождали нас на некоторое расстояние. Сыр-Дарьинская долина густо населена этими номадами, и многия тысячи овец и лошадей ежегодно разводятся на этих берегах.

Около десяти часов подъехали мы к аулу, состоящему из четырех кибиток, где и остановились для легкого завтрака, так как с утра еще ничего не ели. Аул стоял в маленькой терновой чаще, огораживающей его со всех сторон, и мы легко бы его миновали, если бы Мустров не был настороже, зная что именно здесь он должен нам попасться. Путь к нему лежал извиристою тропинкой,

прорубленную в терновнике. Я рад был укрыться под тенью кибитки от солнца, которое начинало уже сильно припекать. Аул этот оказался очень бедным. Войлок, покрывавший кибитку был старый и весь изодранный, не видать было ни ярких ковров, ни мягких одеял, как там где мы провели ночь. Остальные кибитки, как я после увидал, были не богаче той в которую мы попали.

Пока шли приготовления к завтраку, я схватил ружье и вышел на поиски за фазаном, крик которого я заметил при въезде в аул. Долина здесь была покрыта коротким диким терном и редким, низким кустарником; лишь местами попадались маленькие чащи терновника как та что окружила аул, и я заключил что будет больше шансов для охоты в этой местности нежели между высокими тростниками. Я не ошибся. Вскоре показался из чащи красавец фазан с золотыми крыльями, зеленою шеей и длинным хвостом почти не уступавшим в яркости радужным цветам павлина. Он гордо выступал из одной чащи терновника и неспешно направлялся к другой, по временам останавливаясь клюнуть червяка или букашку, и не обращая на меня, повидимому, ни малейшего внимания. Медленно приподняв свою винтовку, чтобы не спугнуть его, я прицелился настолько аккуратно насколько это допускало светящее мне прямо в глаза солнце, и перешиб ему крылья. Он бросился в чащу, но я тут же его догнал и торжественно внес в аул, где он немедленно был ощипан и зажарен к завтраку.

Заметив тут что я потерял пуговицу от картуза, я спросил Ак-Маматова, не сумеет ли он мне пришить [32] другую. Он сильно оскорбился даже самым предложением что он способен взяться за женское дело, вышел, не говоря ни слова, и вернулся с хорошенькою молодою Киргизкой, заявляя, с явною еще досадой, что она вот может сделать что мне нужно, если я найду пуговицу и иголку с ниткой. Необходимые материалы была доставлены; Киргизка уселась на полу и принялась за дело при хихиканье трех или четырех своих товарок, собравшихся у двери посмотреть на иностранца. Киргизка эта была премиленькая девушка лет шестнадцати, но очень бедно одетая; недостаток костюма, впрочем, скрашивался несколькими тяжелыми, черными как смоль косами, лежащими на ее плечах, и блестящими черными глазами. Вся эта процедура казалась чрезвычайно смешною ее приятельницам: оне продолжали пересмеиваться и делать мне знаки чтоб я ее

поцеловал; и, конечно, не замедлил привести это в исполнение, а Киргизка покорила этому с той же простою, спокойною грацией. Подарив ей кое-какия безделки и наделив иголками и нитками, я отпустил ее, и узнал только после что она приходилась сестрою моему молодому Киргизу, принадлежавшему к этому аулу.

После часового отдыха и чая, заваренного мутною, почти грязною водой, мы опять сели на коней. Было около часа пополудни, и солнце пекло ужасным образом. Впрочем, мы были на очень хорошей тропинке, и лошади бежали своим ровным и быстрым ходом. Лошади мои были киргизския, мелкой, но очень выносливой породы. Все оне от природы или от выездки ходят иноходью, что, как всем известно, чрезвычайно легко и покойно как для коня, так и для всадника; иноходью этой способны оне бежать с утра до поздней ночи, проезжая в день почти невероятное количество верст. Выносливость их так велика что оне могут делать по 70 верст день за день в продолжение месяца, безо всякаго другаго корма кроме того что им самим удастся подобрать в пустыне, да еще какой-нибудь горсти ячменя от времени до времени.

Как было уже сказано, со мною было шесть лошадей. Только четыре из них, впрочем, были чистокровныя киргизская, другия две были помесью с казацкою и мингрельскою породами. Одна из этих последних должна была прежде принадлежать Мустрову, судя по тому как неотступно [33] уговаривал он меня дать за нее хорошую цену, уверяя что это превосходная лошадь и, что было для меня важнее всего, отлично выдержит переход. Хотя эта лошадь и самого меня прельщала своею красотой, тяжелою червою гривой и хвостом, купил я ее совершенно вопреки собственному убеждению, которое сильно противилось тому чтобы брать такую худощавую лошадь для длиннаго переезда. Для трех-четырёх-дневнаго переезда худощавая лошадь очень хороша, но для месячнаго тяжелаго перехода необходимо более жирное животное; скоро пришлось мне раскаяться в том что у меня не хватило твердости отстоять свое мнение: лошадь эта досталась шакалам еще задолго до прибытия на Оксус.

Киргизы, в противоположность Туркменам, вовсе не заботятся о своих лошадях. Они никогда не чистят их и не укрывают, исключая поры самых сильнейших морозов, и почти никогда не

засылают им корма. Зимой еще дают они им немного сена, если оно есть, а если нет, то просто расчищают снег и предоставляют животным подбирать то что попадется из прошлогодней травы. Летом же их оставляют совсем на произвол судьбы, и оне, как верблюды, только тем и питаются что находят сами; в Сыр-Дарьинской долине им еще довольно сытно сравнительно с выжженными солнцем Кизил-Кумскими степями.

Результатом всего этого является то что порода этих лошадей стала самую выносливою в целом свете; жить оне могут везде где может существовать верблюд, и также далеко пройдут без питья, но не могут только выносить жажды так много дней как верблюд. Впрочем ростом и быстротой бега оне не могут и сравниться с туркменскими лошадьми.

Чрез полчаса по выезде из этого аула, мы подъехали к Яны-Дарье и переправились чрез нее, так как путь наш лежал по противоположному берегу. Река была узка, извилиста и почти суха. Мы не стали следовать за ее капризными изворотами, а все продолжали ехать наперерез к юго-западу, переправляясь чрез нее много раз пред нашим прибытием в Иркибай. Мы находились теперь в местности перерезанной, в видах орошения, каналами, которые были теперь по большей части сухи, так как Сыр-Дарья не выходила из берегов в этом году. Почва [34] казалась довольно хорошею, но была выжжена до такой степени что по всем направлениям была покрыта развилинами, что может дать некоторое понятие о жаре здесь царящей, так как это было всего 19го апреля (1го мая). Растительности при этой засухе конечно не могло существовать никакой; ненасытная почва поглощала снег чуть ли не с большею скоростью чем он таял; только местами, ради разнообразия, попадались сухие стволы прошлогодних растений.

Проехав несколько верст, мы оставили за собой все эти признаки искусственного орошения и выехали на неровную песчаную местность, где попадалось много маленьких озер, окруженных песчаными холмами и почти скрытых из виду высоким тростником. Некоторые из озер были покрыты дикими утками, и я скоро настрелял их достаточно для обеда на всех нас. Солнце сильно пекло после полудня; я никогда бы не поверил, если бы не испытал сам, что разница нескольких дней разстояния могла быть

так велика. Мы даже начали томиться жаждой, так как воды годной для питья не попадалось с самого утра.

Теперь мы уже вступили в пустыню или, вернее говоря, проходили песчаную местность, испещренную маленькими, незадолго до того возделанными полосами земли, которые представляли разительную противоположность с окружающими их песками. Все преимущество было на стороне последних. Места орошенные лишь в прошлом году, все потрескались от засухи, на них не попадалось ни малейшего намека на растительность, тогда как сама пустыня была почти зелена от распускающегося хворостника и реденькой травки, которая всегда пробивается немедленно по стаянии снега и даже цветет до тех пор пока ее солнцем не выжжет. Более всего тут было диких тюльпанов в цвету, но также попадалось множество других цветов, которые я собирал на пути; тюльпаны же были особенно красивы: чашечки их были величиною в маленькую рюмку, лепестки бледно-желтого цвета, а основания ярко-пурпуровые. Они имеют, насколько мне удалось заметить, смертельного врага в маленьком буром животном, величиною с крысу, и известном у Русских под именем суслика; суслик этот подкапывается к луковицам и окончательно их выедает, оставляя одну тонкую кожу.

[35] К вечеру подъехали мы к киргизскому кладбищу, состоящему из нескольких глиняных гробниц и высокой пустой башни с лестницею внутри. Подле башни был колодец, вода которого была до такой степени тепла и так отзывалась гнилою соломой что ее почти не было возможности пить. Впрочем делать было нечего, мы утолили здесь жажду насколько могли, напоили лошадей и осмотрев кладбище отправились дальше.

Плоскость по которой мы до тех пор ехали незаметно возвышалась, и теперь вид пред нами открывался на несколько верст по всем направлениям, но никакого признака жизни не попадалось нам на глаза: мы оставили населенные берега, Сыр-Дарьи за собою. Еще через час мы подъехали к другому колодцу, вода которого была чрезвычайно холодна и вкусна, и прежде чем пускаться в дальнейший путь, мы наполнили этою водой наши кожанья бутылки, уже не доверяя больше долине после опыта настоящего дня.

Под вечер Мустров начал высматривать аул, который, по его соображениям, должен был находиться где-нибудь по соседству. Однако нам до ночи ничего не попадалось, и мы уже стали выбирать место где бы расположиться на ночлег под открытым небом, когда вдруг широкая полоса света постепенно поднялась к небу верстах в трех вправо от нашей тропинки. Мустров и я пустили своих лошадей в галоп, и через несколько минут подскакали к аулу, состоящему из дюжины кибиток, установленных на густой зеленой мураве, представлявшей богатое пастбище для наших лошадей. Мы подъехали к полоске земли составляющей нечто в роде оазиса, где была трава и вода в изобилии, что я приписал опять-таки тому что мы снова приблизились к Яны-Дарье.

Это было первым моим безостановочным дневным переездом; я был на лошади в продолжение одиннадцати часов и так устал что как только подъехали мы с Мустровым к кибитке Киргиза который нас пригласил к себе, я сошел с коня и подложив под голову седельную покрывку, растянулся на земле. Хозяин было пытался зазвать меня в кибитку, но видя что я предпочитаю лежать на открытом воздухе, немедленно вынес ковер, разстелил его на земле и пригласил меня расположиться на [36] нем, тогда как сам уселся с явным намерением завязать со мною разговор, но так как мое знакомство с татарским языком ограничивалось всего немногими словами, а Мустров по-русски не говорил, то хозяину пришлось отложить все разговоры со мной до приезда Ак-Маматова, но он тем не менее важно и вежливо меня приветствовал, поглаживая свою бороду и низко кланяясь.

Он был высокий, хорошо сложенный человек, с длинною бородой—обстоятельство очень странное в Киргизе. Да потом, с приездом Ак-Маматова, и оказалось что он совсем не Киргиз, а брат Мустрова, родом Каракалпак, что и объясняло длину его бороды. Хотя такие же кочевники, в силу своих обычаев, как и Киргизы, живя бок-о-бок и часто вступая в браки с этими последними, Каракалпаки, повидимому, принадлежат к совершенно другой расе. Они обыкновенно хорошо сложены, много выше Киргизов, и вместо маленьких, узких глаз, широких скул, приплюснутых носов, толстых губ и круглых, безбородых киргизских лиц, имеют обыкновенно большие открытые глаза, продолговатые лица,

выдающиеся носы и густые черные бороды; даже кожа их, когда не обожжена солнцем, может почти сравняться с белизной Европейца. Кто они такие, как сюда попали, откуда пришли—все это предстоит объяснить историкам и этнологам, да и они едва ли скоро решать эти вопросы. Что Каракалпаки не принадлежат к расе монгольской, это очевидно, но кто они действительно, еще трудно сказать.

Скоро ужин и чай были готовы, мои утки зажарены, все мы подсели к яркому костру разложенному в кибитке, и принялись за еду. После ужина я опять вышел подышать свежим вечерним воздухом и полюбоваться на окружающую меня обстановку.

Молодой месяц уже готов был зайти за горизонт; огни мелькали в степи по всем направлениям, доказывая что наш аул не один стоит в этой местности; по тихому вечернему воздуху доносилось до меня мычанье скота и бляение овец, перемешанное с резвым лаем собак и смеющимися детскими голосами, и все это сливалось в какой-то мягкий, даже несколько музыкальный гул. Местами зажжена была сухая прошлогодняя трава и терновник для очищения почвы под новую растительность, и широкия [37] полосы пламени, замеченные нами издалека, медленно ползли по долине, тогда как густые клубы дыма, застилая яркие костры, поднимались к самому небу в странных, фантастических формах, точно огненные облака.

VI. Киргизский старшина.

На следующий день стало мне попадаться растение издававшее сильный ароматичный запах под лошадиными копытами, и оказавшееся, по ближайшем рассмотрении, особаго рода полынью. Долина была местами сплошь ею покрыта, и лошади ее ели с удовольствием. Здесь же стал иногда попадаться нам род низкаго, шероховатаго исковерканнаго хворостинка, от одного до шести футов вышиной; кустарник этот очень жесток и хрупок, так что гораздо легче ломается нежели рубится, и до того не прихотлив что отлично разрастается на самых сухих и песчаных местах. У Киргизов он известен под именем саксаула; название это они, впрочем, применяют ко всякому лесу идущему на топливо.

Этим же утром видели мы пять или шесть «сайгаков», этих антилоп Кизил-Кума, составляющих собственно нечто среднее

между этими животными и козлами. Я собирался уже дать по ним выстрел, но люди мои, не имевшие никакой охотничьей выдержки, до того гикали и кричали что спугнули сайгаков: они бросились в сторону с быстротою вихря. Я скакал в погоню за ними до места окаймленного высоким хворостником, переходившим даже в маленькия деревца футов десяти-пятнадцати вышиной; но все напрасно. Никто не в состоянии нагнать этих животных кроме быстроногих туркестанских борзых собак.

Возвращаясь к тропинке по которой мы до тех пор следовали, я заметил что саксаулы здесь, хотя и довольно высокие, благодаря большой сырости почвы, не изменили нисколько своих резких особенностей; они были все такие же сухие, шероховатые и изогнутые в оленьи рога. Более половины их казались вымершими, да и весь этот не одевшийся еще лес представлял мрачное, печальное, зрелище, будто он был исковеркан и вымер под влиянием какого-то сверхестественного проклятия.

[38] Переезд этого утра был восхитителен; с наслаждением вдыхали мы свежий, прохладный воздух, весь пропитанный ароматом дикой полыни, раздавленной под копытами наших лошадей.

К полудню однако солнце начало сильно припекать и, приметив в версте или двух на север от нас верховаго, Мустров галопом направился в его сторону, разчитывая найти подле него колодец. Перебросившись несколькими словами с этим человеком, он дал нам знак подъезжать, что мы немедленно же привели в исполнение, и застали на том месте, не одного уже, а целых четверых всадников. Приняли они нас весьма радушно, взяв на себя уборку наших лошадей и предложив нам самим только-что заваренный ими для себя чай. Это место, как я тут узнал, было выбрано ими для полуденного привала их аула, шедшаго за ними следом.

Все работы при уходе с кочевья, как-то: разборка кибиток, нагрузка их со всею домашней утварью на верблюдов, гонка скота и тому подобное, всегда возлагаются на одних женщин и детей, тогда как мужчины садятся на коней и скачут вперед, на поиски за местом для новаго привала. Настоящее место было ими выбрано ради лежащаго невдалеке маленькаго озера, или, вернее говоря, большой

лужи, наполненной мутной водой, а отчасти и из-за травы, весьма хорошей для пустыни.

Скоро показался и весь аул: длинную нитью потянулись верблюды с женщинами и детьми, а за ними подошли стада овец, и скота, которые немедленно же разсыпались по долине в поисках за кормом. Верблюдов заставили стать на колена, потянув веревки, обвязанные вокруг их морд, или пропущенные в ноздри в виде узды; женщины сошли на землю и немедленно принялись за установку кибиток и разборку домашней утвари; зажгли костры, все оживилось, пришло в движение и наполнилось шумом.

Я стал наблюдать за установкой кибитки женщинами; меня особенно удивила поспешность с которой оне с этим делом справлялись.

Самый остов кибитки, или палатки употребляемой в Центральной Азии, состоит из множества тонких деревянных полосок, скрепленных крест-на-крест в виде решетки но не накрепко, а таким образом что могут [39] раздвигаться в квадрат и сдвигаться в одну полосу, по произволу. Остов состоит обыкновенно из нескольких таких решеток выгнутых внутри, так что каждая часть имеет форму сегмента круга, а четыре части, вместе связанные веревками, составляют кругообразный сруб. Вверху его ставится от двадцати пяти до тридцати изогнутых же стропил верхняя оконечность которых прикрепляются к обручу трех-четырех футов в диаметре, и образуют крышу кибитки.

Как только верблюд нагруженный кибиткой стал на колени, две женщины сняли сруб и раздвинули его в круг; одна из них держала отдельные части, в то время как другая крепко их связывала вместе; вставили дверные косяки и все вместе обвязали крепко-накрепко веревкой из верблюжьего волоса. Затем одна из женщин взяла обруч, служащий центром и основанием потолка, подняла его изнутри кибитки посредством палки, вставленной в одно из множества отверстий, которые в нем просверлены, тогда как другая немедленно приступила ко вставлению верхних концов всех стропил в эти отверстия для них приготовленные; основание же стропил прикреплялось к стоящему под ними срубам посредством петель. Наконец обвертывали этот скелет кибитки тяжелым

войлоком, и кибитка была готова. Обыкновенно она имеет около пятнадцати футов в диаметре при восьми футах в высоту, а формой походит на старомодный улей. На всю установку кибитки требуется не более десяти минут, а между тем она очень устойчива и разве только при сильнейшем урагане способна сдвинуться с места.

Возвратившись к аулу после неудачных поисков за дичью, я был удивлен и порадован видя что и мой комфорт не был забыт во всеобщем движении и суматохе. Старшина аула приказал поставить маленькую кибитку исключительно для меня одного, и к ней теперь подвел он меня со своей степенною вежливостью. Я нашел кибитку устланную коврами и снабженную несколькими мягкими, яркими покрывалами и подушками, которые, при усталости моей, были неоценимы.

Радужного хозяина пригласил я придти попробовать фазана, что я застрелил утром, и напиток потом чаю, на что он охотно согласился. Я очень удивился когда, спустя [40] несколько времени, явился он с настоящим русским самоваром, который кипел и пытел самым аппетитным образом; мне оставалось только заварить чай. Заметив что у меня не было ложки, а мешаю я свой чай сучком, он послал к себе за чайною ложкой и подарил мне ее в вечное владение. Все это, вместе с отведенною мне прекрасно убранною кибиткой, приютом от палящих лучей полуденного солнца—все это, говорю я, было проявлением такого искреннего гостеприимства и доброты которая трудно и встретить где бы то ни было кроме пустыни.

С своей стороны, я выставил пред ним все что имелось при мне съестного. У меня был мясной экстракт Либиха — отвратительнейший состав, скажу мимоходом, который мне когда-либо приходилось отведывать, но из которого я тем не менее варил суп, кроша туда сухие коренья; стразбургский пирог, который чрезвычайно понравился моему хозяину, и множество сухих фруктов — персиков, абрикосов и изюма, известного в Средней Азии под названием кишмиша, и, кроме того, шоколат, который заслужил одобрение Киргиза в такой степени что он послал по куску своей жене и дочерям. В заключение я вскипятил молока и накрошил туда множество сухарей, что понравилось ему более

всего остального, и этим закончили мы свой пир. Чай пили мы из больших чашек, единственной посуды которую я захватил с собой. Такие чашки, вставленные в кожаный футляр, привязываются к седлу и составляют часть необходимой экипировки всякого путешественника в пустыне.

Во время чая я предложил Киргизу сигар. Он от них сперва отказался, но лишь только увидел что я закурил одну из них, он передумал и последовал моему примеру с большим наслаждением, не поняв, как видно, сперва что такое сигара. Он при этом показал мне свои папиросы и трубку, курить которых научился от Русских. Сигары, впрочем, как он меня уверял, нравились ему несравненно больше.

Во время куренья, наконец, завязал я с ним чрез Ак-Маматова общий разговор, тогда как до сих пор перебрасывались мы с ним немногими вопросами без всякой связи, да и те относились только до нашего обеда. Теперь же узнал я что он киргизский старшина, имя его [41] Довлат, а управляет он под властью Русских двумя тысячами кибиток. Каждая из этих кибиток обязана платить Русским налогу по три рубля ежегодно. На вопрос мой довольны ли они русским управлением, он отвечал что довольны; но затем покачал головою, говоря что очень часто приходится им платить также подати и хану Хивинскому, который считает себе подвластными всех Киргизов кочующих между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей. Я утешал его, говоря что когда Русские покорят хана, то положат конец настоящему положению дел, но он на это опять только покачал головою, точно вовсе не особенно радуясь. Вероятно ему не могла быть приятна та перспектива что последняя твердыня его религии будет покорена христианскою властью.

Киргизы, надо заметить, ведут очень оригинальный образ жизни. Три зимние месяца они проводят в глиняных жилищах на берегу какой-нибудь небольшой реки, когда же снег начивает стаивать, они поднимаются с места чтобы совершить свой ежегодный переход. Странствуют они целых девять месяцев, никогда не останавливаясь более трех дней на одном месте, и живя все время в кибитках. Иногда подвигаются они верст на четыреста и более вперед, а потом пускаются в обратный путь той же самою дорогой, возвращаясь на зимняя стоянки к тому времени когда снег

опять начинает выпадать. Трудно было бы сказать на чем основывается их выбор мест для стоянок в этих переходах. Каждый аул охотно остановится на том месте с которого только-что ушел другой аул: часто даже Киргизы оставляют за собой хорошие пастбища и переходят за целыя сотни верст на дурныя.

Так например Киргизы зимующее на Аму-Дарье перекочевывают весною на Сыр и даже дальше к северу, тогда как многие из сыр-дарьинских Киргизов переходят на юг к Аму-Дарье или направляются на север к Иргизу. Многие с Иргиза идут еще дальше на север или же кочуют на юг к Сыру, постоянно пересекая дороги друг друга по всем направлениям. Человек незнакомый с их обычаями не найдет ни малейшей системы в этих переходах. Но система эта тем не менее существует. Каждый род или аул следует год за годом именно по тому направлению, идя по тем же тропинкам, [42] останавливаясь у тех же ключей, по которым шли и у которых останавливались их предки тысячу лет тому назад, а многие аулы, зимующие всегда по соседству, каждым летом удаляются друг от друга на целыя сотни верст. Эти переходы до того регулярны и точны что можно бы заранее предсказать где можно будет найти какой из этих кочевых аулов в любой день в году. Если бы можно было составить карту пустыни указывающую пути всех аулов, то она представила бы самую переплетенную сеть тропинок, которыя будут встречаться и пересекать друг друга во всевозможных направлениях, представляя страшную запутанность и беспорядок невообразимый.

А между тем ни один аул никогда не сбивается со своего пути и не позволяет другому вступить на него. Каждый аул имеет право пересечь дорогу другого аула, но пройти хотя небольшое расстояние тем же путем его никогда не допустят. Малейшее уклонение какого бы то ни было аула или племени от пути по которому переходили его предки уже считается достаточным предлогом для войны; да на деле и оказывается что основанием почти всех распрей и побоищ между Киргизами служит то что один какой-нибудь род завладел — не пастбищем, как можно еще было бы предположить, но — дорогой другого рода или аула.

Обитатели одного аула почти всегда приходятся друг другу родственниками. Во многих случаях даже сами аулы бывали

основаны двумя-тремя братьями, которые, со своими женами, детьми и внуками образуют маленькую общину, занимая от пяти до десяти кибиток.

Русские, при первом покорении Киргизов, нашли эту систему чрезвычайно запутанною, и думая что не будет возможности установить какой бы то ни было над ними контроль при этих вечных перекочевках, пытались в начале заставить их изменить этот образ жизни, произвели между ними поземельный надел и старались утвердить каждый род на отведенной ему полосе. Как и легко было предвидеть, мера эта не удалась. Кроме невозможности поколебать веками вкоренившийся обычай, увидали что это нововведение только вело к вечным побоищам между самими Киргизами, которые никак не могли взять в толк в чем собственно заключались их права.

[43] Они скоро возвратились к старому порядку вещей, а начальники Оренбургскаго и Туркестанскаго округов согласились считать пункты их зимовок настоящим их местожительством, не взирая на их летния странствования, и таким же порядком решать какой местности чинить над ними суд и расправу.

Настоящим случаем я воспользовался чтобы спросить предводителя аула, отчего не остаются они на месте, вместо этого вечнаго скитанья по степи. Он отвечал что не достало бы корма скоту их, еслиб они оставались на месте.

— Но отчего же те что живут на Сыр-Дарье не остаются на лето там же, где пастбища так хороши, вместо того чтоб уходить кочевать в пустыне, где трава плоха и в малом количестве спрашиваю я.

— А потому что другие аулы приходят, а оставаясь они там все, то скоро и при реке никакого корма бы не осталось.

— Но отчего же другие аулы не остаются на своих местах у Иргиза и Аму-Дарьи вместо того чтоб идти на Сыр?

— Да оттого же что другие аулы туда приходят.

— Так отчего бы им всем не оставаться на местах?

— Да что об этом говорить, отцы и прадеды наши так жили, отчего же нам не делать того что они всегда делали? отвечал он. И, как я думаю, это одно из самых верных объяснений которые они могут дать. Впрочем, как кажется, этот кочевой образ жизни более применим к этой пустыне нежели к какой бы то ни было другой.

Старшина аула говорил мне, между прочим, что питаются Киргизы преимущественно молоком, иногда употребляют немного муки, а по временам убивают и барана. Но сам он имеет ежедневно баранину, хлеб, чай и сахар. После беседы, продолжавшейся около часа, старшина удалился, а я остальное время остановки провел во сне. Проснувшись, я нашел лошадей уже оседланными и все готовым к отъезду. Наскоро выпив стакан чаю, я вскочил на лошадь и уехал, крепко пожал на прощанье руку гостеприимного хозяина и оставив ему с полдюжины сигар.

[44] Под вечер стало казаться что мы опять приближаемся к Яны-Дарье. Мы набрели на маленький лесок, состоящий из деревьев напоминающих один из американских дубов, многия даже достигают до 25 — 30 футов в высоту. Посреди этого леса был маленький пригорок, часто окопанный глубокою канавой и очень смахивающий на остатки какого-нибудь старинного земляного укрепления. Я спросил у Мустрова об этом, но тогда не добился никакого удовлетворительного ответа. В последствии я узнал что на этом месте был в старинные времена город, покинутый обитателями, когда воды протекавшей в этих местах Яны-Дарьи стали высыхать.

Хотя по соседству и можно было найти много воды, Мустров воспротивился остановке здесь на ночлег, а уговаривал ехать дальше и поискать какого-нибудь аула. Итак мы продолжали ехать вперед долгое время после наступления темноты. Оставив Яны-Дарью позади себя, мы въехали на несколько возвышенную открытую и сухую плоскость, где почти не было никакой растительности. Лошади наши все подвигались легонькой иноходью вперед, ступая копытами едва слышно по мягкой, пыльной почве. После долгого переезда, когда я уже начинал думать что придется провести ночь под открытым небом, до меня внезапно донесся звук детского

голоса. Поспешно повернув лошадей по направлению голоса, мы проехали еще с полверсты и рассмотрели полосу света исходящую из жилища и блеск воды при бледном месячном отсвете.

Чуя близость отдыха и корма, лошади наши пустились легким галопом и через несколько минут мы уже выезжали к маленькому аулу.

VII. Киргизский роман.

Войдя в кибитку я застал там большой костер, красноватый свет которого падал на яркие ковры, одеяла и подушки; над головами и везде кругом виднелся решетчатый деревянный остов кибитки, обитый толстым белым войлоком; по стенам на этой решетке развешана была кухонная посуда, всякого рода домашняя принадлежности, сабля [45] и ружье, седла и уздечки, в стороне была брошена трехструнная татарская гитара.

Сама кибитка оказалась целых двадцати футов в диаметре больше всех мною виденных до тех пор, а наружный войлок, чистый и новый, был почти снежной белизны. По всему было видно что Киргиз приглашавший меня к себе принадлежал к богатому классу кочевников.

Введя меня в кибитку, он сказал что-то двум молоденьким девушкам, своим сестрам и чуть ли не двойникам; оне тут же подошли ко мне с потупленными глазами и приветствовали меня, каждая по очереди, взяв мою руку в обе свои и прикладывая ее к своему сердцу с тихою скромностию, которая была положительно очаровательна.

Как мне после случалось замечать, женщины киргизския таким образом приветствуют своих мужей, братьев, отцов, возлюбленных, а также и гостей, судя по настоящему случаю со мною. Сделано это тут было с такою простою, натуральною грацией, сопровождалось таким застенчивым взглядом темных глаз что мне показалось в эту минуту что лиц, красивее и интереснее этих двух я еще не встречал. Да и в действительности это были лица очень миловидныя, круглыя и свежия, без малейшаго следа монгольского типа. Смуглая кожа их была чрезвычайно прозрачна, черные как смоль волосы свешивались двумя тяжелыми косами чуть ли не до колен, а глаза, темные и мягкие, были окаймлены такими длинными ресницами

какая редко встречаются иначе как в расе кавказской. Одеты они были в красные шелковые халаты с особенного рода пестрым шитьем по швам и на рукавах и со множеством больших серебряных пуговиц, тонких как пластинки. Из под, халата, застегнутого одною коралловою запонкой у шеи, виднелась белая шелковая рубашка доходящая до колен и распахивающаяся очень пикантно на груди. Белые шаровары из такого же шелка и красные сапожки дополняли их несложный, но для пустыни весьма нарядный костюм.

На брате была надета короткая узкая куртка из какой-то красной полубумажной, полшелковой материи, также изукрашенная серебряными пуговицами; при этом широкие [46] шаровары из ярко-желтой кожи, почти сплошь покрытые вышивкой самых разнообразных узоров, желтый шелковый пояс за который был заткнут нож и старый пистолет с кремневым замком, маленькая нарядная маховая шапка и широкие сапоги из нечерненой кожи.

Вручив ему мою винтовку и револьвер, я бросился на разостланный пред костром одеяла, тогда как Ак-Маматов стал с меня стаскивать тяжелые верховые сапоги чтобы заменить их туфлями, доставленными предусмотрительным хозяином. Затем я приступил к дальнейшему своему туалету. В кибитке всегда есть небольшое пространство незастланное ковром. Чтоб умыться, надо стать на колени на краю ковра у этого места и вам поливают воду на руки и на голову из чайника, кожаного ведра или бутылки, а иногда из медного кувшина очень изящной формы, часто встречаемого у Киргизов, словом, из той посуды которая первая под руку попадется. Вода тут же втягивается сухим песком и всякий след сглаживается.

Тем временем поставили над костром чугунный котел на большом круге, к которому прикреплены были ножки. Скоро вошли мои люди с несколькими соседями-Киргизами, разместились в скорченных позах вокруг огня и завели оживленную болтовню. Киргизы не складывают ноги крестообразно как Турки, но становятся на колени и опрокидывают всю тяжесть своего тела на поджатые таким образом ноги, с пятками вывернутыми наружу. Как бы ни казалась эта поза натуральна и удобна в Киргизе, я не советую ни одному Европейцу пробовать так садиться, если он

желает опять после того встать на ноги! По взглядам которые они на меня иногда бросали, я понял что разговор у них шел обо мне, а из частных возгласов и других знаков изумления, я легко мог вывести что Ак-Маматов опять дал волю своему воображению и рассказывает им обо мне какия-нибудь небылицы. Непохожие в этом отношении на других восточных народов, Турок и Арабов, Киргизы болтливы, чрезвычайно любят поговорить. Весь вечер прошел в разговорах, прерываемых только взрывами хохота.

После получасовой варки кушанье было вывалено в большую деревянную чашку; мне также дали деревянную [47] ложку и пригласили подсесть к еде вместе с другими. Кушанье это, весьма вкусное, оказалось чем-то в роде супа из баранины, заправленного пшеничною мукой. Мы все ели из одной чашки самым приятельским образом, но к несчастью супа не достало, а мне как нарочно в этот день не попадалось ни уток, ни фазанов. Молока зато оказалось вдоволь; я приказал его накипятить и крошил туда сухарей. Друзья мои Киргизы вероятно никогда еще до тех пор не отвеживали подобного блюда, потому что оно их привело в положительный восторг, а к концу ужина, заключенного шоколатом и кишмишем, все мы были в самом веселом и общительном расположении духа, вполне забывая об окружающей нас пустыни. Девушки все время держались в стороне, и мне стоило больших трудов добиться чтоб оне подсели есть с нами.

После ужина я попросил молодого хозяина кибитки сыграть что-нибудь, указывая на гитару. Не заставляя себя долго просить, он спел несколько песен, аккомпанируя себе на гитаре. Две из этих песен были встречены остальными Киргизами богатырскими взрывами хохота. Затем он еще спел, как мне объяснили, несколько боевых песен, славя подвиги какого-то киргизского богатыря против Туркмен, и эти также были встречены одобрительно.

Гитара татарская очень маленький инструмент, напоминающей своею формою вдоль перерезанную грушу, не более фута величиною, тогда как рукоятка доходит футов до трех. Эта гитара была из темного дерева, похожего на орех, и на ней натянуты были две простыя и одна медная струна. Своеобразные татарские мотивы были бы довольно приятны если бы не пелись таким резким тонким голосом с каким-то неприятным гвнусавым визгом. Эта манера в

пени распространена по всей Центральной Азии; я слышал ее и в Хиве, и между Бухарцами сопровождавшими русскую экспедицию. Это, впрочем, не мешало пению Киргиза быть забавным и совершенно гармонирующим с окружающей обстановкой. Эта кибитка среди песчаной степи, освещенная ярким костром, красноватое пламя которого бросало оригинальные колориты на дикие лица присутствующих и на их странные костюмы; развешанное оружие, седла, уздечки, эти две девушки с их [48] оригинальной красотой — все это сливалось в совершенно своеобразную, но очень красивую сцену.

Я пробовал заставить петь и девушек, но они наотрез отказались и не поддались ни на какие увещания. Шутки ради, я заставил Ак-Маматова предложить одной из них выдти за меня замуж; слушая это предложение она очень краснела и смеялась. Ак-Маматов впрочем ответил мне, что я должен обратиться к брату их, который один имеет право их выдать замуж если желает, а что мне придется заключить договор этот подарком брату и ассигновкой приданого девушке. Тогда я предложил дать хозяину одну из своих винтовок, а девушке — лошадь, верблюда, устроенную кибитку и двадцать овец. Это последнее предложение уже выслушано было девушками совершенно серьезно, и они не предполагали здесь никакой шутки. Она заявили Ак-Маматову что мне придется жениться на них обеих, так как они друг с другом не разстанутся. Условие это не представляло для меня ничего неприятного, и потому я с готовностью согласился, да и в действительности было бы жаль их разлучать. При отъезде же нашем на другое утро и хозяин поручил Ак-Маматову мне сказать что он переговорил с сестрой и что окончательный ответ мне дадут когда я к ним заеду на возвратном пути.

Киргизы могут, как и все магометане, иметь по нескольку жен, но они редко пользуются этою привилегией. Браку они не придают никакого религиозного значения, а смотрят на него как на простую торговую сделку. Муштина платит за девушку отцу ее подарками сообразно с состоянием обеих сторон. Обыкновенно подарки эти возвращаются молодым, образуя таким образом женино приданое. Иногда, впрочем, эти подарки отец, держит у себя на тот случай если его дочь будет ему возвращена его мужем, так как Киргиз имеет право прогнать свою жену во всякое время; на деле, однако, право

это редко прилагается. Если же подарок был возвращен, то жена может, уходя от мужа, захватывать с собою все что было им прежде за нее дано.

В случае смерти мужа, по здешним порядкам, напоминающим древний еврейский закон, вдова достается его брату [49] если таковой имеется, — обычай возникший вероятно из желания сохранить собственность в семействе.

Выспрашиванием всех этих подробностей я вызвал моего молодого Киргиза на рассказ, из которого ясно что природа человеческая везде одинакова, и что любовь также самовластно царит в Кизил-Куме как в мире цивилизованом.

Молодой Киргиз Полат был сговорен с самою красивою девушкой Туглукского аула. Калым, или свадебный подарок, уже был вручен отцу девушки, Иш Джану, и срок брака был назначен. Но за несколько дней до свадьбы Полат помер, и Муна Аим стала опять свободна. Тогда является Сулук, брат покойного, и требует Муну Аим себе в жены. Он желал этим способом также получить обратно братнину собственность, которая была дана девушке в приданое, и ее отец решил что ей надо за него выйти. Но сама она, считая себя теперь обеспеченною вдовой и полною хозяйкой своих действий, наотрез отказалась выходить замуж. Отец стал ее тогда гнать от себя. Она же взяла своего верблюда, овец и коз, свои платья и ковры, и ушла из отцовской кибитки. Она купила себе маленькую кибитку и поселилась в ней одна, доила своих овец и коз, выгоняла их пастись и сама им вытаскивала поило из колодцев. Когда аул тронулся с места, она пошла со всеми и становила свою кибитку неподалеку от других. Тогда все старухи на нее озлились: „Что это делается с Муна Аим?“ говорили они. „Она не хочет идти к своему мужу, и живет одна, как бродяга. Пойдемте, уговорим ее“. И оне отправились к ней, исцарапали ей лицо, драли ее за волосы; но Муна Аим только плакала, ломала себе руки, а к мужу не шла. С тех пор стали старухи сходить к ее палатке каждый день, ругали ее и мучали до такой степени что она чуть все глаза себе не выплакала. Но все тщетно: ничто не могло ее сломить. Тогда Сулук взялся сам покончить с этим делом по-своему. Он ночью ворвался с тремя товарищами в кибитку Муны Аим с тем чтоб увлечь ее к себе и силой взять ее в жены. Но она защищалась как дикая кошка, и

мущины все вместе не могли с нею сладить. Притянутая к выходу, она схватилась за дверной косяк и держалась так крепко что они были принуждены порубить ей пальцы чтобы [50] сдвинуть ее с места. Когда они выволокли ее наконец из кибитки, на ней не осталось ни клочка одежды и все тело было окровавлено, но она все еще боролась. Тогда Сулук вскочил на лошадь, схватил ее за волосы и волочил за собою пока не повыдергал волосы с корнями, тогда он ускакал, а ее оставил на земле, нагую и полумертвую.

— Да отчего же не хотела она за него выйти? спросил я.

— Потому что любила Азима.

— А где он был?

— Он принадлежал к другому аулу, который зимовал рядом с ея аулом, а летом перекочевывал в другую сторону. Она, видите ли, никогда не любила своего нареченного жениха, а выходила за него единственно по приказанию отца.

— Как же все это кончилось?

— А услышал об этом Ярым Падишах, прислал казаков, которые и захватили Сулука.

— Что же с ним сделали?

— Не знаю. Говорят, угнали так далеко что ему никогда назад не вернуться.

— А девушка померла?

— Нет, выздоровела; а как вернулась на зимнюю стоянку, то свиделась со старым своим возлюбленным и вышла за него замуж.

— А старухи уже не вмешивались?

— Нет, боялись Ярым Падишаха.

Ярым Падишах есть название под которым генерал Кауфман известен во всей Центральной Азии. Это значит полу-император.

Я потом спрашивал у генерала Кауфмана много ли правды в этом разказе. Он подтвердил все слышанныя мною подробности, прибавив что Сулук, брат первого нареченного жениха, был сослан в Сибирь.

Около десяти часов девушки оставили нас одних и отошли спать к другой стороне кибитки, задернув ее красною занавесью, которую я прежде не заметил. Взглянув на лошадей, я вернулся в кибитку, также разлегся на полу и следя за слабым мерцанием догоравшаго костра скоро заснул.

Киргизская зимняя кочевка.Верещагин

[51] VIII. Печальная ночь.

Я не могу здесь не заметить что все время моего пребывания с Киргизами оставило по себе самое приятное воспоминание. Они все, без исключения, были добры ко мне, гостеприимны и честны. Я провел среди их целый месяц, путешествовал с ними, ел с ними и спал в их кибитках; со мной все это время были деньги, лошади, оружие и вещи, которые могли прельщать их как богатая добыча. А между тем, я от них ничего кроме хорошаго не видал; не только не пропало у меня во все время ни малейшей безделицы, но не случилось что за мной скакал Киргиз пять-шесть верст в догону чтобы возвратить что-нибудь мною забытое. К чему же все эти толки о необходимости цивилизовать подобный народ? К чему ведут все рассуждения Вамбери о сравнительных преимуществах английской и русской цивилизации для них? Киргизы замечательно честны, добродетельны и гостеприимны, качества которые немедленно сглаживаются цивилизацией во всех первобытных народах. На мой взгляд даже жаль прививать к такому счастливому народу нашу цивилизацию со всеми сопровождающими ее пороками.

На следующее утро не без сожаления распрощался я с хозяином и его хорошенькими сестрами. Каждому при отъезде дал я по подарку, брату карманный нож, а сестрам по паре серег и других недорогих украшений.

В этот день случилось нам проезжать мимо многих киргизских могил. Оне все очень велики, состоят из центрального купола футов в 30 — 40 вышиною и окружены высокою стеной футов до пятидесяти в квадрате; каждая из таких могил могла бы служить крепостью для маленькаго отряда.

Проехав небольшую чащу саксаула, от восьми до десяти футов вышины, мы прибыли в бедный аул, состоящий всего из трех кибиток, представлявших самый печальный вид. Войлок на них был весь в лохмотьях, а внутри не было ни нарядных одеял, ни ярких ковров. Здесь мне впервые пришлось отведать киргизскаго ирана. Он делается из смешаннаго вместе молока верблюдов, [52] овец, и коз; смесь эту, еще парную, ставят на легкий огонь пока она не свернется и не получит остраго, едкаго вкуса. Напиток этот кажется очень вкусен когда к нему привыкнешь, а в жаркие летние дни он просто неоценим, так как имеет свойство казаться всегда холодным. Им то преимущественно и питаются Киргизы летом. Но у них есть еще другой напиток приготавливаемый из перебродившаго кобыльаго молока, называется кумысом; он шипит, пенится, очень освежает в жары и на вкус несколько напоминает шампанское.

С наступлением вечера ветер усилился и перешел в совершенный ураган. Воздух наполнился пылью, застилавшей заходящее солнце, отчего и смерклось часом ранее обыкновеннаго. Мы стали поглядывать, не попадется ли где аул, но ничего не могли различить поблизости. Наконец послали Киргиза объехать окрестность, так как Мустров продолжал утверждать что вблизи должен был где-нибудь находиться аул. Ветер, усиливавшийся с каждым мгновением положительно нас оглушал, пыль поднималась высокими клубами, которые кружились по пустыне при слабом свете луны как степныя привидения, по временам нельзя было ничего рассмотреть в десяти шагах пред собою.

Наконец услышали мы что Киргиз зовет нас. Не без затруднения распознали мы направление откуда доносился его голос, казавшийся, по ветру, каким-то неземным звуком, и направились к нему, вполне уверенные что попадем наконец в аул, который так давно искали. Но ожиданьям этим не суждено было оправдаться. Не было слышно ни криков, ни мычанья скота, ни веселых детских

голосов, ни одного из приятных для путешественника звуков раздающихся вокруг аула. Все те же порывы ветра, крутящаяся облака пыли, через которые едва пробивались бледные лучи месяца, наполняя всю пустыню какими-то неясными, движущимися тенями. Киргиза своего мы нашли у большой лужи мутной воды, футов десяти в диаметре, окруженной несколькими кустарниками саксаула. Что было делать? Подвигаться вперед при таком ветре было невозможно; также немислима была надежда напасть на аул в этой темноте. Ничего больше не оставалось [53] как расположиться на ночь в открытой пустыне и улечься на песке, без всякой защиты от холода, ветра и пыли.

Мы сошли с лошадей, которых Мустров с Киргизом разседлали и стали поить, тогда как Ак-Маматов отправился собирать топливо. Через несколько минут запылал большой костер, бросая красноватый отблеск на пустыню; мы связали вместе вершины нескольких невысоких кустарников, укрыли их попонами и чепраками, устроив таким образом нечто в роде палаток, представлявших, впрочем, весьма ненадежное убежище от ветра.

К счастью, у нас был с собою запас воды; мы приготовили чай, поужинали холодною бараниной, увернулись в свои тулупы и расположились спать под импровизованными палатками. Подложив под головы седла, а ноги протянув к костру, мы скоро заснули глубоким сном несмотря на завывание ветра.

После тяжелого дневного переезда по пустыне, заснуть было не мудрено, но горько было просыпаться. В это время года ночи так же холодны, как жарки бывают дни, а пред рассветом даже морозит. Просыпаясь, вы не можете пошевелиться, все члены ооченели; малейшее движение причиняет боль, а песчаное ложе кажется чуть не каменным. Вы не можете стряхнуть с себя какого-то сонливого оцепенения, а утомительный переезд, который вам опять предстоит, кажется какою-то пыткой.

Весь день продолжали мы ехать песчаными холмами, на которых не попадалось почти никакой растительности, ни малейшего следа людей или животных. После полудня я убил сайгаку и потом встретили мы недавно выкопанный колодезь, возле сухого дерева в совершенно пустынной местности. Ничего не было

видно вокруг кроме желтых песчаных холмов и равнины покрытой гравием которую солнце обливало горячими лучами. Ворон, свивший себе гнездо на самой вершине оголенного дерева, был единственным представителем живых существ в этих местах, да и он встретил нас каким-то неприязненным, хриплым карканьем, и даже несколько раз пытался на нас налетать. Песок кругом дерева был усыпан щитами маленьких черепах, бывших жертвою алчности молодых воронят.

[54] Раз случилось нам в этот день сбиться с пути. Посмотрев на компас, я увидел что мы идем к Казале, то-есть по направлению совершенно противоположному нашей цели, и заподозрил Мустрова в обмане. Он же уверял что нарочно свернул в сторону, чтобы напасть на караванную дорогу от Казалы на Иркибай.

Несколько часов последовавших за этим открытием были для меня самыми тяжелыми со времени вступления моего в пустыню. Мы блуждали, сами не зная где искать дороги, и повидимому имели весьма мало шансов напасть на нее; к довершению нашего несчастья, нам пришлось страдать от жажды. Благодаря беспечности Мустрова воды с собой не захватили; с прошлаго вечера я ничего еще не пил кроме чашки мутного чая, а длинный дневной переезд при сильнейшей жаре довел меня почти до изнеможения. В этом ничего не было и удивительного, так как я только-что выехал из снеговых степей Сибири; в пустыне я, правда, был всего четыре дня, но в каждый из этих дней приходилось проезжать верхом около 70ти верст. Горло мне жгло как огнем, голова горела, воспаленные глаза блуждали по сторонам. Я серьезно стал бояться чтоб у меня не сделалось воспаление в мозгу. На целыя мили кругом пустыня, была покрыта сухим песком. Если не найдем дороги, то неизвестно когда придется напасть на колодезь, а перспектива пробыть еще сутки или даже хоть одну ночь без воды сводила меня с ума.

Целые часы прошли в этих невообразимых мучениях... Наконец, при самом солнечном заходе мы выехали на дорогу от Казалы на Иркибай, по которой проходил Великий Князь. После долгих поисков мы нашли наконец мелкое, тинистое озеро, более похожее на мутную лужу. Вода оказалась почти густой от примеси грязи; когда же я все-таки проглотил ее сколько мог, то мне весь рот,

горло и желудок залепило илом, вкус которого я чувствовал даже в продолжении нескольких последующих дней. Наскоро перекусив, мы все бросились на песок в полнейшем изнеможении.

Когда я проснулся в три часа утра, звезды еще мерцали на темном небе. Люди мои седлали лошадей, чтобы пораньше выступить, и мы пустились в путь когда еще не занялась утренняя заря; подвигаясь по следам армии, мы [55] надеялись добраться в Иркибай до наступления полуденной жары.

В девять часов мы подъехали к месту где, почва спускалась пологою террасой, образуя долину, открывшуюся пред нами на несколько миль. Она была почти сплошь покрыта саксаулами с распускающимися листьями. Хотя деревца эти были не выше четырех-пяти футов, но с возвышения на котором мы стояли они казались чуть ли не дубовым лесом. Посреди виднелось укрепление, которое я принял сперва за Иркибай. Когда же после часовой езды мы приблизились к нему, то увидели то это были одне развалины. Чтобы подъехать к самому укреплению надо было переехать по высохшему руслу широкаго канала и подняться на пригорок. Тут пред нами предстали остатки внешней стены; переехав за них, мы очутились посреди развалин древняго города.

IX. Древний город.

Развалины почти сплошь были покрыты кустарником; кругом виднелись остатки разрушенных стен, а на вершине холма были две большия башни. Построенныя из необожженаго кирпича, оне быстро разрушались под влиянием атмосферы, и их можно было принять за земляные валы, если бы не сохранилась довольно хорошо одна их сторона. Можно было еще различить положение ворот, которыя бы не трудно еще расчистить от заваливашаго их мусора. Поднявшись на вершину одной из этих башень, около тридцати футов вышины, я увидел что она местами провалилась внутрь и под ногами слышалась пустота, что доказывало что внизу было большое углубление.

Город был около мили в диаметре и окаймлен с трех сторов широким, глубоким каналом, теперь высохшим, а с четвертой, северо-западной стороны, ограничен Яны-Дарьей, которою замыкался этот водяной круг. На разстоянии пятидесяти футов от

наружного канала находились остатки стены, футов в 15, а местами и в 20 вышиною, окружавшей когда-то весь город; тут же полагались и сторожевые башни, немного повыше стен и лучше ее сохранившиеся. Все постройки были из того же необожженного [56] кирпича. Часть наружной стены выходящая к реке так хорошо еще сохранилась что на нее нельзя было взобраться без лестницы. Судя по старому руслу, Яны-Дарья была здесь сажен в сорок шириною.

Мустров мне говорил что город этот построен был Каракалпаками, вытесненными сюда с берегов Сыр-Дарьи около 1760 года. Они не только построили город, но провели сюда и воду из Сыра на расстоянии 200 миль, углубив русло Яны-Дарьи и создав таким образом новую реку. Самое название Яны-Дарья, означающее „новая река“, придает некоторую достоверность этому разказу.

Однакоже из других источников я узнал что русло Яны-Дарьи гораздо древнее. По последним исследованиям оказывается что это была когда-то очень большая река, чуть ли это даже не прежнее русло Сыр-Дарьи. Чрезвычайно странно что относительно Сыр-Дарьи, как и относительно Аму-Дарьи, найдены указания на то что она прежде протекала другим руслом, чуть ли не параллельно Аму-Дарье, и также как и эта последняя впадала в Каспийское море. Что произвело это странное между ними сходство? Было ли это могущественное вулканическое сотрясение, поднявшее почву и внезапно изменившее течение обеих больших рек, или же это произошло от более простых причин, оказавших с течением времени влияние и на всю окружающую страну.

Какая бы ни была тому причина, но ясно что берега Яны-Дарьи были еще незадолго до наших дней заняты многочисленными поселениями, кипевшими жизнью, вместо этих кочевников, которые теперь одни попадаются на ее берегах. Этим объясняется происхождение высохших оросительных каналов, которые так возбуждали мое любопытство с самага форта Перовскаго. Что за причины произвели это внезапное опустошение когда-то цветущаго оазиса, достоверно неизвестно; но высохшее русло Яны-Дарьи могло быть прямою тому причиной, Мустров уверял что все это пришло в упадок только со времени прибытия сюда Русских, которые отсюда отвели воду, чтобы сделать Сыр-Дарью судоходною. Я впрочем не верю этому, так как развалины все-таки

относятся к более древней эпохе, чем за 15 лет тому назад, когда Русские впервые заняли эту часть Сыр-Дарьи; хотя справедливо и то что глиняныя [57] стены, из которых состоит большая часть развалин, не будучи никем поддерживаемы, весьма скоро распадаются при разрушительном действии летних жаров и зимняго снега.

В прежнее время Яны-Дарья текла еще миль на 15 дальше, а там обмелев, образовала нечто в роде болота, в котором и терялись ее воды. Теперь и река и болото это высохли, но одно уже то что река эта была устроена руками человеческими, есть факт громадной важности, указывающий на то как легко могут Кизил-Кумы быть орошены и возделаны. В Сыр-Дарье, конечно, найдется достаточно воды чтоб орошать пустыню от этой реки до самого Оксуса, а так как Кизил-Кумы понижаются по направлению к Оксусу от ста до двухсот футов, то эта ирригация и не представит больших затруднений. Правда, что в таком случае не осталось бы достаточно воды в Сыр-Дарье для навигации; но на что и нужна навигация в стране заселенной одними кочующими номадами?

Я убежден что по мере распространения русскаго владычества в Центральной Азии, вся страна между Сыром и Аму-Дарьей примет самый цветущий вид. Генерал фон-Кауфман уже начал у Самарканда обширныя ирригационныя работы, которыя хотя и были прерваны Хивинскою экспедицией, но должны были опять продолжаться в этом году. Он предполагает собрать пятьдесят тысяч Киргизов на линии проектированнаго канала, снабдить их всеми орудиями и провизией и таким образом закончить работы в один сезон. Киргизы, с своей стороны, вполне оценивают важность предприятия, которое может сделать их собственниками богатой, орошенной страны; они с восторгом приветствуют работы. Раз практичность этого плана будет доказана на деле, нет сомнения что многия части Центральной Азии, представляющия теперь бесплодную пустыню, сделаются странами с такою же богатою почвою и произведениями как Хива и Бухара.

Сев опять на лошадей после двухчасовой остановки, и следуя все тою же речною долиной, мы через полчаса встретили двух русских солдат. Форт был неподалеку. Мы пришпорили коней и выехав из маленькой чащи саксаулов увидали, в близком от себя

разстоянии, на сухой, бесплодной плоскости, земляные валы, пред которыми собрались группой русские солдаты и офицеры, следя за нашим приближением.

[58] Х. Иркибай.

— Что вас так долго задержало? был первый вопрос которым меня встретили, когда я подъехал к группе офицеров.

— Да я, кажется, недолго ехал, отвечал я, недоумевая: всего четыре с половиною дня.

— Четыре с половиною дня? воскликнул офицер:— Да вы выехали из Казалинска целых тринадцать дней тому назад.

Это замечание меня очень встревожило, так как через Казалу меня не пропустили, и я никак не думал что и сюда дойдет слух о моем проезде. Я уже начинал бояться что меня опять задержат, и потому не без трепета отвечал:

— Действительно, но ведь я был задержан четыре дня в форте Перовском.

— В Перовском? переспросил офицер в удивлении.

— Да, отвечаю я уже тоном несколько извиняющимся:— я выехал оттуда только четыре дня тому назад.

— Да разве вы шли не с хивинским посланником и это не ваш караван? спросил он, указывая на что-то по тому направлению откуда я приехал.

Я оглянулся. Следом за Ак-Маматовым и моими лошадьми медленно подходила длинная вереница верблюдов своим тихим, мерным шагом. Это был караван хивинскаго посланника.

Теперь настал мой черед удивляться, так как посольство, выехавшее из Казалы в одно время со мною, могло идти прямою дорогой, и уж конечно не подвергалось, подобно мне, таким многочисленным остановкам по пути. Я даже когда-то мечтал пристать сам к этому посольству, прежде еще чем все планы мои

были разбиты одним решением добрейшаго капитана Верещагина, в Казале.

— Да кто же вы такой, наконец? спросил меня офицер, услышав что я не принадлежу к хивинскому посольству.

Я отвечал что я Американец, и нагоняю теперь армию генерала Кауфмана.

[59] — Страннее этого я ничего в жизнь мою не слыхивал; ушам не верится. Ну, да надеюсь что бумаги ваши в порядке; а пока слезайте-ка с лошади: вы, должно-быть, очень устали.

Через несколько минут по приказанию того же офицера была разбита для меня кибитка, куда он меня и ввел самым любезным образом. Это был капитан Гизинг, комендант крепости. Во все короткое время моего с ним знакомства относился он ко мне с такою добротой и радушием которых трудно было бы когда-нибудь забыть.

Приглашение его приходить обедать принял я, после долгаго моего поста, с величайшим удовольствием, и затем мы пошли осматривать маленькою крепость. Это было совершенно простое земляное сооружение с двумя угловыми бастionsами, окруженное мелкою пересохшею канавой и защищенное двумя пушками. Скромные размеры этого укрепления, однако, перестали удивлять меня когда я узнал что оно все было сооружено в 24 часа, при проходе здесь Великаго Князя Николая Константиновича. Крепостной гарнизон состоял из двух рот пехоты и небольшого числа казаков. Для солдата, также как и для офицеров, имелись кибитки, и на месте был большой запас ячменю. Вода была очень вкусна и в большом изобилии, но местность была чрезвычайно неприятная. Сухая, жесткая почва скоро разбита была солдатами в пыль, которая носилась по ветру целыми облаками, способными, кажется, удушить человека; в добавок, в эти дни насупила такая страшная жара, что несмотря на всю доброту с которою относились ко мне русские офицеры, непродолжительное мое пребывание в Иркибае было почти невыносимо.

Оказалось что здесь никто не звал ничего ни о Кауфмане, ни о Казалинской колонне, которая вышла отсюда две недели тому назад.

Впрочем, из того факта что хивинский посланник был выслан из Казалы к Кауфману, в Иркибае заключали что этот последний ожидал посольство где-нибудь в пустыне. Этому предположению я, впрочем, придавал и тогда весьма мало веры: едва ли было возможно целой армии стоять так долго в открытой пустыне, поджидая тянувшихся черепашьим шагом Хивинцев. Я уверен был что Кауфман спешил добраться [60] до Аму-Дарьи, и потому решился выехать на другое же утро и идти по следу Великаго Князя.

Комендант не препятствовал моему выезду. Он только говорил что путь этот становится очень опасным, и уговаривал меня ехать за хивинским посланником, при котором, кроме его собственной свиты, состоял еще конвой из 25ти казаков. Я однакоже отклонил это предложение.

В тот же день отправился я знакомиться с хивинским посланником, котораго не допустили войти крепость. Он расположился не подалеку за фортом. При нем было около тридцати верблюдов для перевозки провианта и багажа, и вообще он считался весьма великим послом по средне-азиатским понятиям.

Величие, однако, здесь как и везде, имеет свои невыгоды. Посол этот был такою важною особой что не решался компрометтировать себя большою поспешностию в переходах. Выехав из Хивы с тем чтобы застать Кауфмана в Казале, он подвигался вперед таким неспешным шагом что доехал до назначеннаго места только два дня после проезда Кауфмана. Остановившись здесь достаточно долгое время чтобы показать русскому генералу что представитель Хивы вовсе не торопится заводить переговоры, он направился обратно, разчитывая встретить Кауфмана в пустыне. Но величие его до того стесняло и замедляло его движения что он нагнал Кауфмана лишь через несколько дней после падения Хивы. К этому времени, конечно, важность его миссии несколько поубавилась.

Хивинский посланник выехал из Иркибая рано утром на следующий день, 7го мая (25 апреля), но мне не удалось выбраться раньше полудня. Гостеприимный капитан Гизинг настоял чтоб я завтракал у него, а затем удержал меня еще пить кофе, после того как часть моих людей уже выехала. Он мне дал десять четвериков

ячменя для моих лошадей, отказываясь взять за него деньги и говоря что донесет об этом в главную квартиру, а Кауфман уже с меня взыщет деньги, если найдет это нужным. Также дал он мне несколько рекомендательных писем к своим знакомым офицерам; словом, я был принят им не хуже блудного сына, возвратившагося в отчий дом.

[61] Наконец, пожав еще раз руки всем офицерам, я вскочил на лошадь и ускакал из форта вместе с Мустровым, который почти потерял терпенье, поджидая меня целых два часа.

Внутренность кибитки.

XI. Безводная степь.

Дорога по которой пришлось ехать была широка и хорошо убита. Это был обычный караванный путь, сохранивший на себе еще все признаки недавно проходившей армии, между прочим начали попадаться и верблюды павшие на дороге от изнеможения. Часового галопа оказалось достаточно чтобы нагнать моих людей, выехавших прежде. Партия моя теперь увеличилась еще двумя лошадьми и Киргизом, который вез почту, доверенную мне капитаном Гизингом.

Тут мы выехали в первый раз в ту часть пустыни которая представляет для путешественника наибольшая опасности, окружает его невообразимыми ужасами.

Благодетельныя реки, также как частые колодцы и маленькая озера, остались уже далеко за нами, но вид местности тем не менее очень привлекателен. По всем направлениям раскинулись маленькия возвышенности, покрытыя роскошною темнозеленою муравой, которая могла бы соперничать по красоте с роскошными покровами американских долин, тогда как небольшие песчанья места, попадавшися кое-где, блестели как золото при ярком свете солнца с безоблачнаго неба.

Но вся красота эта—один обман. Маленькая возвышенности эти состоят из одного сыпучаго песка, одетаго зеленью, которая скрывает под собою ужасы. Цветы зацветают и засыхают в несколько дней. Зелень состоит из горькой негодной травы, высокой

и мягкой, покрывающейся особаго рода цветами, которые спадают при малейшем к ним прикосновении и издают отвратительный запах. Под листьями скрываются скорпионы, тарантулы, громадные ящерицы, часто до шести футов длины, черепахи и змеи; тут же валяются во множестве зловонные трупы верблюдов. Заблудившись в этом песчаном океане, без проводника и без воды, вы можете пробродить целые дни, [62] пока не свалитесь в изнеможении вместе с вашею лошадыю, умирая от голода и жажды на этой зловонной, негодной траве, которая послужит вам и ложем, и саваном, и могилой.

В эту безотрадную долину въезжаем мы с каким-то болезненным, подавляющим чувством. Отсюда до первых кодоцов Кизил-Как еще целых 60 миль степи, и на весь этот переезд при нас имеется только два турсука воды, которой придется пробавляться пятерым людям и восьми лошадям. Погоняем лошадей чтобы только скорее отсюда выбраться. Красное солнце медленно, точно нехотя, подвигается к закату и затем вдруг исчезает за горизонтом. Вечерняя тени сгущаются, окружающая пустыня скрывается в ночном мраке и затем опять освещается бледным, неверным светом восходящего месяца. Проходят целые часы. Мы проезжаем мимо погруженных в тишину кибиток, тлевших костров и поуснувших верблюдов хивинскаго посланника, который повидимому остановился на ночлег уже с давних пор; наконец и месяц поднялся над нашими головами, а мы все продолжаем ехать вперед.

Соснув часа три мы опять садимся на лошадей. Солнце бросает какой-то зловещий отблеск на голую местность, кругом не видать почти никакой растительности, даже не попадаетея больше негодной травы, как в прошлый переезд. По мере того как мы подвигаемся, солнце палит все жарче, достигает зенита и безжалостно жжет нас с высоты безоблачнаго неба. Песок блестит и жжет как горячий пепел; атмосфера проникнута каким-то красновато-туманным блеском, который ослепляет глаза и жжет мозг как жар исходящих из какого-нибудь адскаго горнила; внизу, у самага горизонта, мираж представляет нам призрачныя деревья при воде — быть-может призраки далеких хивинских садов по берегам Оксуса; лошади наши плетутся по сыпучему песку понуриив головы и повесив уши; к вечеру подъезжаем мы к колодцам Кизил-Как, и я бросаюсь на песок вне себя от изнеможения.

Несколько Киргизов с верблюдами и лошадьми только что напоили своих животных и уже собирались уходить; но увидя что мы подъезжаем усталые и измученные, они [63] остановились и стали самым добродушным образом вытаскивать воду для нас и для наших лошадей. Колодезь был футов около 60ти глубины, и огорожен твердыми, причудливо изогнутыми стволами саксаулов. У отверстия, которое было очень узко, устроено было в земли, также из древесных стволов, что-то в роде бассейна от восьми до десяти футов в диаметре. Сюда-то вливали воду для поила животных. Вытягивать воду из этих глубоких колодцев для животных составляет такую тяжелую работу, что Киргизы на нее всегда употребляют еще и лошадиную силу.

Колодцы эти очень любопытны. Никто не знает кем они были вырыты и когда, а они находятся теперь все в том же положении как и несколько столетий тому назад, когда войска Тамерлана утоляли из них свою жажду. Прошли века, сменилось много поколений, исчезли даже целыя расы людей, мир успел состариться, а прозрачны воды этих колодцев все также свежи и неистоцимы.

Остановившись ненадолго чтобы покормить лошадей и заку- сить самим сухарями и „ираном" доставленным Киргизами, мы опять пускаемся в путь незадолго до захода солнечнаго. Едва выехали мы на дорогу, как нам попадается караван. Подходит караван-баши, ведущий караван; мы останавливаемся, и происходит обычный в таких случаях обмен новостей.

После обычных приветствий мы спрашиваем не попадалась ли им где русская армия.

— О, да, было ответом, — мы встретились с нею в Тамды.

— А где Тамды? спрашиваю я, соскакивая с лошади и развертывая свою карту.

— В десяти днях пути отсюда, отвечали мне.

— Десять дней! Быть не может. По карте однакоже оказалось также что место это отстоит от колодцев Кизил-Как на 240 верет по

прямой линии, что по дороге составляло бы добрых триста. И на переход этот обыкновенным шагом каравана потребовалось бы не менее десяти дней.

Надо вспомнить что выехал я из Казалы в полной уверенности что фон-Кауфман из Ташкента сначала прямо направится на северо-запад от Джизака, к [64] горам Букан-Тау, здесь произойдет встреча с Казалинскою колонной и соединенный отряд направится к реке. Теперь я был на расстояние всего одного дня пути от гор Букан-Тау; понятно что я надеялся весьма скоро настичь армию. Итак, можно вообразить себе как поражен я был известием что после семидневного переезда пустыней я нахожусь чуть ли еще не на таком же расстоянии от Кауфмана какое я предполагал при выезде моем из Перовскаго.

Но надежда никогда не покидает человека, и я стал думать что быть-может Кауфман и не дошел еще до гор Букан-Тау и не начал еще своего движения к Оксусу. Если же он направился к этим горам с юга, а я ехал туда же с севера, то мы несомненно должны встретиться. Не там ли он теперь, так как караван встретил его еще десять дней тому назад?

— В какую сторону шли Русские? спрашиваю я.

— К югу.

— Как к югу? Да ведь Кауфман шел на северо-запад. Я уже начинал думать что они совсем и не видали Русских.

— Нет. Оттуда он пошел на Аристан-бель-Кудук. Это действительно было на юге; к тому же я слышал и от капитана Гизинга об этом месте: известие было правдоподобно.

— Где же Аристан-бель-Кудук?

— В двух днях пути от Тамды, к югу.

Я начинал беспокоиться. Аристан-бель-Кудука на картах не было; но я все предполагал до тех пор что это место находится где-нибудь в горах Букан-Тау. Если же оно было в двухдневном

переходе от Тамды на юг, а не на запад, то Кауфман, очевидно, шел совершенно по другой дороге чем я предполагал. Он должен был еще десять дней тому назад пройти к югу, на Аму-Дарью, и я теперь совершенно был сбит с толку. Вместо того чтобы нагнать его через день, как я надеялся, на это могли теперь потребоваться несколько недель. Успех моего предприятия начинал казаться безнадежным.

Идти назад, однако, было почти так же трудно как идти вперед, и я решился, скрепя сердце, на последнее, и мы двинулись дальше. Ехали всю ночь; на следующее утро [65] в половине шестаго, тотчас по восходе солнца, показались горы Букан-Тау, отстоящая еще верст на тридцать. Местность здесь уже не была холмиста, а постепенно спускалась переходя в гладкую равнину, горы же представлялись темными, голыми и безжизненными, без малейшего признака растительности.

Мы немного остановились чтобы полюбоваться непривычным видом, и были нагнаны аулом, состоящим из 15ти—20ти верблюдов и стольких же кибиток, направлявшихся к Букан-Тау. Верблюды были тяжело навьючены; любопытно было видеть как целые семейства со всем своим домашним скарбом передвигались на спине этих терпеливых, кротких животных. Случается что один верблюд несет на себе не только кибитку со всеми ея принадлежностями, но еще двух женщин и несколько детей, так же удобно возседающих на его спине как в экипаже.

Около девяти часов мы подъехали к подошве гор. Здесь стояло два аула у источника превосходной ключевой воды. Мы остановились; гостеприимные Киргизы тут же разбили для меня кибитку, где, я разлегся чувствуя такую усталость какой, кажется, никогда еще до тех пор в жизнь свою не испытывал. Хотя время еще было раннее, солнце уже пекло невыносимо, и тень кибитки представлялась совершенным раем. Кроме того, за исключением чая, сухарей и ирана, я ничего не ел с самага Иркибая, т.е. в продолжение 50ти часов, переехав в это время около полутора ста верст. Проглотив чашку чая, наскоро приготовленного Ак-Маматовым, я велел ему узнать не продаст ли кто нам барана, а сам бросился на одеяла которые оказались в кибитке, и в ту же минуту уснул мертвым сном.

Киргизская гробница.

ХII. Букан-Тау.

Горы Букан-Тау не выше одной тысячи футов и лишены всякой растительности — ни кустарник, ни былинка не оживляют их пустынного вида. Оне состоят из песчанника, который постоянно обсыпается. Хотя и очень небольшие, горы эти представляют все особенности высоких горных хребтов, есть тут и миниатюрные пики, конусообразные вершины, глубокие долины и страшные пропасти.

[66] Мы отдыхали здесь целый день; на следующее утро начали огибать Букан-Тау с севера. Здесь горы образовали легкий спуск, постепенно переходившие в равнину. Одна встреча здесь напомнила нам об опасности которой мы ежеминутно подвергались. Я выехал в сопровождения Мустрова немного вперед, и мы стали подниматься на маленькую возвышенность, чтобы там дожидаться остальных. Здесь мы увидели около дюжины всадников, которые подъезжали по дороге лежащей пред нами. При них не было верблюдов, стало-быть они не могли принадлежать к аулу; к тому же все они были вооружены ружьями, закинутыми за плечи. Мустров казался очень испуганным, так как Туркмены часто делают набеги на Киргизов до самого Букан-Тау, и это легко могла быть партия этих хищников. В последствии я узнал что в это время действительно в горах разъезжали Туркмены.

Мы приготовили свое оружие и с беспокойством посматривали в сторону где остался Ак-Маматов. Подвинувшись, однако, еще немного вперед, мы распознали что всадники эти были Киргизы, и через несколько минут Мустров уже пожимал им руки. Остановились поговорить. Они нам сообщили еще новости об отряде Великого Князя Николая Константиновича, при котором они ехали из Казалы в качестве джигитов.

По их словам, Великий Князь сошелся с Кауфманом еще десять дней тому назад на Аристан-бель-Кудуке, и соединенный отряд двинулся на Каракати. Это были опять-таки дурные для меня вести. На карте я увидел что Каракати лежит в 60 верстах на юг от Тамды, и заключил что если Кауфман вышел десять дней тому назад из Аристан-бель-Кудука, то он уже должен был пройти Каракати,

направляясь к реке. Я увидел также что место это (Каракати) было от нас не дальше чем Тамды, и что в нескольких верстах впереди, у колодца, караванный путь, разветвляясь к югу, вел к этому месту. Я решился свернуть на эту дорогу.

В полдень мы совершенно неожиданно спустились в маленькую долину, которая разстилалась у подножия гор. Это была долина Юз-Кудук или «сто колодцев». Растительности в этой долине не было никакой, кроме реденькой травки, но за то по ней протекал небольшой ручей, который [67] чрезвычайно нас порадовал. Он извивался узкою лентой между двумя голыми песчаными холмами. Следуя вверх по его течению, мы скоро доехали до источников. По долине было разсеяно от 25 до 30 колодцев: некоторые были совершенно полны, в других вода была на глубине от пяти до десяти футов от краев. В этих последних вода была чрезвычайно холодна и вкусна. Соскочив с лошадей, мы поспешно спустили на веревках в колодцы наши чайники. Как освежила эта живительная холодная влага наши засохшие гортани, запекшиеся губы и обожженные солнцем запыленные лица!

Отсюда до следующего колодца, на расстоянии 35 верст, местность хотя все еще песчаная, переходила в возвышенность, перерезанную многочисленными ямами и оврагами, а слева я заметил низкий горный хребет, тянувшийся к западу, параллельно нашему пути. Хребта этого я не нашел ни на одной из существующих карт, но мне он кажется продолжением гор Урта-Тау, означенных на последней карте Хивы, изданной русским штабом. Я нашел их на целых полтораста верст далее на запад чем оне обозначены на этой карте; возвышались оне к северо-западу рядом длинных холмов, из которых каждый был резко срезан и представлял крутой склон к западу. Таких возвышенностей попало мне три между Юз-Кудуком и Танджарыком, на пространстве около семидесяти верст.

Не сходя с лошадей почти всю следующую ночь, мы подъехали около полудня к колодцу Танджарык. Он отстоит более версты от дороги, и мы нашли его только благодаря тому что заметили в той стороне несколько Киргизов, поивших своих лошадей и овец. Подъехав ближе, мы увидали что Киргизы все собрались вокруг низкой глиняной стены, окружавшей колодезь. Они тотчас же дали

нам место, и помогли нам напоить лошадей. Затем один из них, одетый богаче чем обыкновенно одеваются Киргизы, пригласил нас в свой аул и предложил мне остановиться в его собственной кибитке. Солнце стояло высоко, крова у нас не было никакого, и потому я с радостью принял это предложение; напоив лошадей, мы сели на них опять и последовали за гостеприимным Киргизом. Аул его отстоял на целых пять верст и был [68] совершенно скрыт из вида в маленькой песчаной котловине. После долгого переезда нескончаемыми песчаными холмами и саксаулами, мы вдруг выехали к двенадцати кибиткам, расположенным безо всякой системы и порядка.

Пригласивший нас Киргиз ввел меня в свою кибитку и представил, как я потом понял, своей жене, старой и дурной, и своей молоденькой красивой невестке. Оне поочередно подошли ко мне, брали мою руку в обе свои, пожимали ее и клали ее затем на свои головы в знак приветствия. Я расположился на циновках которых женщины разстелили для меня и принялся счищать и смывать пыль и грязь, облепившая мое лицо, руки и одежду в течение этого трехдневного переезда. Приведя себя в более человеческий вид, я уже располагался спать, когда вбежала в кибитку еще старая Киргизка и стала предо мной, рыдая, ломая свои руки и обращаясь ко мне с целым потоком речей, из которых я мог понять всего одно слово Туркмен. Я было обратился к хозяину за объяснением, но и с ним не могли мы объясняться без помощи Ак-Маматова, занятого еще уборкой лошадей; он только пожал плечами, точно давая понять что это старая песня. Старуха же, покончив свой рассказ, села у двери и так уставилась на меня своими беспокойными глазами что мне наконец стало несколько неловко под этим пристальным взглядом. Когда вошел Ак-Маматов, старуха повторила опять все с начала, а Ак-Маматов передал мне отрывки из его длинного рассказа.

Недель за шесть пред тем аул этот пас свои стада в горах Букан-Тау, близ Юз-Кудука. Старуха говорила что у нея был всего один сын, который ее прокармливал на старости лет. У них была кибитка, верблюды, тридцать овец, и они жили счастливо. Раз как-то сын ее, парень красивый и крепкий, выехал со стадом своим в горы; партия Туркмен, разъезжавших тем временем в этих местах, напала на него и угнала его с лошадей и овцами в Хиву. Теперь у нея, говорила

она, ничего не остается кроме одной кибитки; но главное горе в том что сына наверное продадут в рабство, и она никогда его больше не увидит. Тут она опять разразилась рыданиями до того отчаянными что я был тронут. На вопрос Ак-Маматова, чего она от меня хочет, она отвечала что [69] может-быть я могу ей помочь отыскать и освободить ея сына. Я стал уверять ее через Ак-Маматова что со вступлением Русских в Хиву все рабы будут освобождены, а что я сам и мои люди не только постараемся разыскать ея сына, но позаботимся также чтоб ему возвращена была его лошадь или дана другая еще лучше, и столько же овец, сколько у него было отнято, или их стоимость. Так что не дальше как через два месяца она опять увидит своего сына веселым и на хорошей лошади. Когда ей передали эти обещания, она выказала самую безумную радость и ушла совершенно осчастливленная.

Я обратился затем к хозяину, спрашивая правдив ли рассказ старухи. Он отвечал мне что женщина эта говорила правду; такие случаи повторяются чуть ли не каждый год, и из-за них-то возникла такая смертельная вражда между Киргизами и Туркменами. На вопрос мой, неужели Туркмены действительно так страшны, он отвечал что совсем нет, но нападают они только тогда когда значительно превышают численностию своего неприятеля, или же в таких случаях как настоящий, где не было никакого риска. В равном же бою Киргизы всегда Туркмен одолеют.

Хозяин кибитки оказался не русским Киргизом, а бухарским, имя его было Бей-Табук и он был главою целого киргизскаго рода. Первый мой вопрос в разговоре с ним был, конечно, о Кауфмане. По его словам, Кауфман действительно был на Каракати, но теперь уже он на Хала-Ата. Он сам только-что оттуда приехал, видел всю армию, потому и говорит верно, а не по слухам.

После множества разных разспросов относительно разстояний до Бухары, я заключил что место Хала-Ата, не помеченное ни на одной карте, должно находиться около полутора ста верст к югу от Каракати, в полутора ста верстах от Аму-Дарьи и в таком же разстоянии от Бухары, таким образом вместо того чтоб идти на Каракати, ближе всего мне теперь будет идти на перерез пустыни, к реке, немного к юго-западу. Эти предположения мои вполне подтверждены были Бей-Табуком: таким образом, говорил он, я

прямо дойду до Хала-Ата, но по этому направлению не существует не только караванного пути, но даже и тропинки там не проложено.

[70] Я однако решился идти по этому пути, хотя и предвидел что Мустров тут уже не может служить мне проводником. Опять обратился я к Бей-Табуку, спрашивая, не найдет ли он мне проводника; он отвечал что охотно бы и сам со мною пошел, да подрядился привести в Хала-Ату баранов, и не хочет вернуться туда без них.

— Так покупайте баранов, их приведут после, а мы пойдем вместе.

— Да денег мне на покупку не дали.

— Неужели же вы не верите что Русские после заплатят?

— Я-то им верю, но Киргизы баранов все-таки не вышлют без денег.

— Сколько же надо купить баранов?

— Штук около пятидесяти.

— Хорошо, я заплачу за баранов, если вы со мной пойдете проводником.

На последнее он немедленно согласился; поговорили еще и решили что сам он пойдет со мной, и найдет кого-нибудь другого для доставки баранов в Хала-Ату.

Под вечер сели мы на лошадей и поехали искать баранов. В пустыне мы безпрестанно наезжали самым неожиданным образом на аулы, почти совершенно скрытые в маленьких песчаных ложбинах. Каким образом мы их находили, я и теперь понять не могу. Баранов нашлось много и все оказывались в очень хорошем состоянии. Мы объехали с полдюжины аулов и везде были приняты самым радушным образом. В одном, впрочем, месте какая-то старуха решительно протестовала против моего присутствия; хотя я и не слезал с лошади, она все-таки громко ругала меня, насколько я

мог понять из ее сердитого голоса и угрожающих жестов. Пара блестящих лукавых глаз, выглядывавших из кибитки, пред которой стояла эта старая ведьма, разом пояснили мне причину ее злобы и опасений.

ХIII. Домашний быт Киргизов .

Заметив в течении вечера что Ак-Маматов очень заинтересован каким-то разказом Бей-Табука, я спросил у него что тот говорит, и мне передали следующей [71] случай, который может дать некоторое понятие о магометанских законах относительно убийства.

У Киргизов, также как и у многих других магометанских народов, убийство не наказывается смертною казнью, но убийцу приговаривают к уплате родственникам убитого пени, сообразной с состоянием этого последняго. В случае же если убийца не в состоянии уплатить назначенную сумму, он обязан идти в семью убитого и выслужить там, в качестве раба, такой срок который бы выкупил назначенную сумму. За убийство старика, старухи или ребенка, в особенности девочки, штраф полагается меньший, чем за молодых мужчин и женщин.

Двое братьев Киргизов часто ссорились и наконец возненавидели друг друга. Один из них, чтобы досадить другому, убил маленькую свою племянницу, сироту-уродца, оставленную на его попечении умирающею сестрою, и ночью никем незамеченный, положил мертвое тело у входа в братнину кибитку. Улика эта найдена была вполне достаточной, и ни в чем неповинный брат присужден был выплатить значительный штраф убийце, как единственному родственнику убитой девочки. Он, однако, решился отплатить брату тою же монетою: нашел в отдаленном ауле какую-то свою двоюродную тетку, старуху лет восьмидесяти, убил ее и положил тело у дверей брата убившаго девочку. Тогда первый убийца, в свою очередь, был приговорен к штрафу; а так как старуха и уродец ребенок стояли в одной цене, то счета братьев и были уравнены.

Киргизам дозволено разбирать ссоры свои по своим законам, но для Киргизов русских подданных Кауфман учредил апелляционные суды, составленные из русских чиновников. Эти суды, однако, не вмешиваются в дело пока одна из сторон не обратится к ним за разбирательством или с просьбой о наказании

какого-нибудь вопиющего преступления; да еще суд употребляет иногда свой авторитет для защиты женщин, как в том случае о котором я упоминал в одной из предыдущих глав.

На следующее утро я дал Бей-Табуку денег на покупку полсотни баранов, и он рано выехал с Ак-Маматовым, обещая их всех пригнать к полудню. Я же остался в кибитке, разлегся опять отдыхать на ковре, следя за [72] занятиями женщин, их хлопотами по хозяйству, и изучая будничные склад домашней жизни киргизского семейства.

Дневные работы начались с того что подоили овец, коз, верблюдов и выгнали их на пастбище; стали выбивать войлок, ковры, чистить все хозяйственные принадлежности и опять все устанавливать по местам; напоили двух полунагих ребят ираном и выслали их играть на песке; тем же питательным ираном напоили и маленького верблюда, который был привязан снаружи кибитки и не переставал жалобно выть. Затем последовало лечение больной овцы и жеребенка, при всеобщей болтовне и оглушительном шуме; наносили также топлива на целый день. Наконец старуха вскочила верхом по-мужски на лошадь, взяла турсук, и поскакала за водой к дальнему колодцу, оставляя меня одного с молодой своей снохой. Эта последняя скоро вошла в кибитку, уселась, даже и не взглянув в мою сторону, взяла пук шерсти и деревянное веретено, на котором навито уже было множество ниток, и начала прядь с таким скромным, женственным видом, который меня положительно очаровал.

У нея были большие черные глаза, осененные длинными ресницами; резкий монгольский тип ее круглого лица не портил ее, придавая какой-то странный, несколько дикий характер ее красоте. На голове носила она высокий тюрбан всех замужних Киргизок, и одета была в короткую куртку из красной шелковой материи с вышивкой, открытую на груди, и в целом представляла такую привлекательную картину, что я от души завидовал молодому Бей-Табуку, раздумывая о том, оцениет ли он по достоинству доставшееся ему сокровище. Не из-за такой ли женщины один из еврейских праотцев прослужил целых четырнадцать лет которых показались ему немногими днями ради любви его? Не такую ли они вели жизнь потом, не так же ли они работали, жили и трудились?

И вот, пока я тут лежал на мягком ковре, предо мною рисовались как в видении события происходившие за целыя тысячелетия до наших дней, многочисленныя стада овец и скота Авраама, проносились туманными картинами образы Исаака, Исава, Иакова, Сарры, Ревекки, Рахили, Агари, Руфи.

[73] Веретено тем временем вертелось не переставая, издавая какое-то усыпляющее жужжание. Сделано оно было из особаго рода твердаго дерева, гладко обточенного, и я с живейшим интересом следил за тем как Киргизка, посредством одного этого куска дерева, производила работу всех наших паровых машин, колес и прядильных станков. Вытянув нитку шерсти, она вертела между ладоней острый конец веретена и затем, держа руку с намотанною на нее шерстью высоко над головой, пускала веретено вертеться до тех пор пока не ссучивалась самая тонкая нитка, которая наматывалась на нижнюю часть веретена, и вся процедура повторялась снова. Все это было делом чрезвычайно простым и вовсе не мешкотным. Веретено все росло и росло в объеме, принимая, странное дело, именно ту форму как и тысячи веретен которыя можно видеть на всякой бумаго-прядильной фабрике.

Вопреки своему обещанию вернуться к полудню, ни Бей-Табук, ни Ак-Маматов глаз не показывали до самага вечера, да и тогда вернулись не приведя с собой ни одного барана. Все оправдания их сводились к тому что хотя баранов можно было достать сколько угодно, но никто не соглашался гнать их в Хала-Ату.

— Но я видел множество молодых парней в соседних аулах, к у всех у них были лошади, говорил я, — неужели ни один из них не хочет идти ни за какую плату?

Ак-Маматов уверял что они ни за что не соглашаются идти, а Бей-Табук возвратил мне мои деньги. Я не поверил ни слову из их нелепых басен и мысленно обвинял во всем Ак-Маматова. Я почти был уверен что он опять перечил мне по какой-то ему одному известной причине; но так как переговоров с Бей-Табуком вести я не мог без помощи того же Ак-Маматова, то не мог ничем и помочь этому делу.

Делать было нечего, приходилось покориться, а так как было уже слишком поздно выезжать в этот день, то я, волей-неволей, принужден был переночевать опять у Бей-Табука. Я однако попросил его непременно разыскать мне проводника. Он тотчас же отправился на поиски и вернулся с молодым Киргизом, который соглашался за 25 рублей вести меня в Хала-Ату, ближайшим путем, прямо на перерез пустыни. Хотя цена была безобразная, я [74] согласился дать и ее, так как время не терпело. Проводник обещал быть готовым выехать рано следующим утром, и с этим мы расстались.

Солнце садилось; пастухи пригнали стада коз и баранов к аулу, который немедленно пришел в движение и оживился их криками и блеянием. Также потянулись из пустыни верблюды, некоторые навьюченные турсуками с водой, другие - старые и малые — безо всякой ноши; они оглядывались своими умными красивыми глазами, точно будто с удовольствием узнавая свой аул. Опять стали доить коз и овец, постерегли их пока они полегли на ночь, затем привязали маленьких ягнят и козлят, и тем покончили дневные свои труды.

Вечером мы собрались вокруг костра в кибитке Бей-Табука, так как хотя дни и были невыносимо жарки, ночи были так холодны, что приятно было погреться у огня. Резкая разница между жаркими днями и холодными ночами составляет особенность этого времени года, очень вредно действующую на здоровье. Я приобрел расположение женщин разными маленькими подарками, и потому, когда пришло время спать в отведенной мне стороне кибитки, я нашел что оне для меня разстелили прекрасный ковер со множеством мягких одеял и покрывал и устроили мне постель которая показалась мне чуть ли не ложем из роз после жесткого песка пустыни на котором я спал столько ночей.

На следующее утро мы поднялись еще до восхода солнечного и стали собираться в дорогу. Тут я заметил что и весь аул снимается с места: женщины разбирали кибитки, навьючивали верблюдов и делали поспешные приготовления к выступлению. Все пришло в движение и беспорядок. Затем потянулись длинною вереницей верблюды, и скоро весь аул скрылся из виду. При этом выезде, меня в особенности удивила одна Киргизка, родившая накануне, безза-

ботно взобралась она сама на верблюда, держа на руках ребенка, точно событие предыдущего дня было для нея делом совершенно обычным, вполне вошедшим в привычку. Я дружески распрощался с хозяйками, но Бей-Табук поехал провожать нас еще на некоторое расстояние. Наконец я не без сожаления распрощался и с ним, пожал его руки, и мы разъехались. У него встретил я самый [75] радушный и ласковый прием; время проведенное мною в его кибитке, посреди простой, счастливой степной обстановки, оставило самое приятное по себе воспоминание.

И вот я опять был на пути, опять в погоне за генералом Кауфманом. Но недолго на этот раз. Отъехав не более двух верст, мы остановились поить лошадей у колодца, где уже стояло несколько Киргизов. Напоив лошадей, люди мои, однако, продолжали мешкать: Ак-Маматов, Мустров и новый проводник завели оживленный разговор, совершенно, повидимому, забывая что надо ехать дальше. Мне это наконец надоело, и я приказал им трогаться с места, на что Ак-Маматов прехладнокровно отвечал что нанятый накануне проводник отказывался теперь сопровождать меня если сверх условленной платы я не куплю ему еще лошадь или не выдам деньги на ее покупку. Повидимому, и это требование сделано было по наущению надумавшагося за ночь Ак-Маматова.

Я однако решился положить конец всем этим мошенничествам, так как неизвестно было до чего еще могли пойти подобные требования, если им дать потачку. Так я и сказал Ак-Маматову, давая ему ясно понять что знаю кого винить в этом новом затруднении. Я велел ему спросить еще раз проводника пойдет ли тот со мною за условленные 25 рублей. На отрицательный ответ, я прогнал Киргиза, а моим людям объявил что в таком случае мы пойдем дальше без проводника, по дороге на Каракати. Путь этот был гораздо длиннее предположенного сначала переезда пустыней, но за то там мы следовали бы по широкой караванной дороге, с которой сбиться трудно. Но против этого они положительно возстали: и дорога-то была им неизвестна, и воды не сумеем мы одни найти, и заблудимся-то мы в пустыне, словом, без проводника идти немислимо. А между тем прежде, когда я еще и сам не решил идти на перерез пустыни, а думал следовать караванным путем на Каракати, не было и помина о другом проводнике кроме Мустрова,

так как до Каракати мы доехали бы в один день, а оттуда легко уже было бы идти по следам русской армии.

Кроме переезда до сих пор не предвиделось никакого затруднения на этом пути, и потому вся эта оппозиция показалась мне делом подготовленным заранее. Однако, [76] мне уже наскучило быть игрушкой в их руках: схватив свой револьвер, я приказал Ак-Маматову садиться на лошадь и ехать дальше. Я решился сначала привести в повиновение этого главного бунтовщика, потом уже обезоружить Мустрова, взять лошадь на которой он ехал, и продолжать путь с Ак-Маматовым и молодым Киргизом, который, я знал, последует за мной охотно. Против Мустрова у меня злобы особенной не было, так как я знал что он действовал по подговорам Ак-Маматова, но лошадь и оружие его принадлежали мне и должны были ко мне возвратиться в случае его отказа идти дальше. Ак-Маматов, который, как видно, никак не разчитывал на такой крутой оборот дела, немедленно повиновался, и через минуту все уже было готово к отъезду.

Тут, однако, Ак-Маматов с покорностью представил мне другой план действий, а именно, что он пойдет в аул который находится по близости и постарается там найти другаго проводника. На это я согласился, прибавляя однако что через час мы выйдем во всяком случае, найдет он проводника или нет, и что я не дам проводнику ни копейки больше условленной прежде платы. Ак-Маматов клялся что проводник найдется—и мы направились к аулу.

Аул этот состоял из трех или четырех кибиток и обитатели его казались далеко не такими зажиточными как те что принадлежали к аулу Бей-Табука. Мы скоро нашли старика который с радостью согласился сопровождать нас за назначенную плату—явная улика что прежний проводник, по наущению Ак-Маматова, хотел обмануть меня. Старик этот пригласил нас в свою кибитку закусить и отправился резать барана.

К удивлению моему, я узнал во время еды что будущий наш проводник приходится братом богатому Бей-Табуку. Лицо его было все обезображено чудовищным шрамом от сабельнаго удара нанесеннаго ему Туркменом, отбивавшим у него жену.

— Эту самую? спросил я, указывая на уродливую старуху, повидимому, хозяйку кибитки.

— Да, ее.

На мой взгляд, не стоила она того чтоб из-за нея сражаться на смерть с Туркменом. Но и происходило это, правда, целых 40 лет тому назад.

[77] Из соседней кибитки пришли две молодые девушки и сели завтракать с тремя другими за столом рядом с нашим. Оне не были красивы, но казались чрезвычайно веселыми, и завели между собою такую трескучую болтовню, которая бы, кажется, могла выдержать с честью сравнение даже с болтовней самых цивилизованных пансионеров. Не показывая вида, я пристально следил за ними. Тут я в первый раз заметил особенность которую потом находил во всех татарских женщинах. Это была чрезвычайная подвижность их физиономий когда оне оживлялись. Покойные и не заинтересованные, оне смотрят на вас каким-то тупым, упорным взглядом, напоминая собой резныя изображения языческих идолов; но лишь только оне заинтересованы, обрадованы или размешены чем-нибудь — по всему лицу их пробегал точно солнечный луч, оно все будто озарялось каким-то внутренним сиянием.

После закуски мы еще раз пустились в путь к Хала-Ате на перерез пустыни. Вместо прежней широкой караванной дороги теперь ехали мы по узенькой тропинке, которую местами даже трудно бы было различить без помощи опытного проводника.

Местность представляла почти те же общия характеристическия черты как и во всей пустыне, с тем, однако, изменением что прежний песчаный, холмистый грунт, покрытый кустарником, сменился тяжелыми песчаными же грудами будто нанесенными ветром. Здесь, как и везде в степи, нам попадалось множество ящериц от 2 дюймов до одного фута длиною: вместе с маленькими земляными черепахами оне были единственными представительницами животной жизни в этих местах. По разказам много до тех пор слышанным, вся эта пустыня представлялась усеянною скорпионами и тарантулами; сам я сюда въехал в полном ожидании что денно и ноцно буду окружен этими смертоносными

маленькими чудовищами, и запасся всякого рода противоядиями на случай их ужаления, не надеясь чтобы пришлось обойтись без этих средств. На деле же вышло что не только ни одного из них мне не попадалось, но даже я и думать об них забывал, лежа по целым ночам на песке, где бы мне неминуемо должно было подвергнуться их нападениям. Ящерицы же были прелюбопытныя маленькия животныя. Раз как-то, лежа под [78] кустарником, я заметил ящерицу, любознательность которой, как видно, сильно была возбуждена: она вытянула голову, завила хвост кольцом кверху, как собака, и два раза обошла вокруг меня; после того, как видно довольная моим миролюбивым расположением, она вползла на мою ногу и уселась там в полном торжестве. Случается что ящерицы здесь достигают, громадной величины: в Хала-Ате поймана была одна ящерица около 5 футов длины. Впрочем, оне совершенно безвредны, и достаточно самага легкаго удара чтоб их убить.

Еще ночь пришлось нам провести на песке, под открытым небом, а на следующее утро мы изменили немного прежнее направление, взяв прямо на юго-запад, и въехали в пустыню, где не было даже ни малейшей тропинки — в местность самую дикую и печальную какую я когда-либо видел. Это была плоская возвышенность, покрытая редким кустарником, в котором везде проглядывал песок; плоскость эта была усеяна множеством впадин, напоминающих собою кратеры волканов, от 50 до 100 футов глубины и почти столько же в диаметре. Нам приходилось постоянно то выбираться из этих углублений, то опять в них спускаться, тогда как глубокий песок чрезвычайно замедлял наше движение: лошади иногда уходили в него по колена.

Около полудня мы подъехали к колодцу Мидиат-Кизран, в котором вода, хотя и на глубине 80 футов, была чрезвычайно тепла и слегка солоновата. Пить эту воду было невозможно, но заваренный на ней чай оказался сносным, что нас и выручило на этот раз из беды. Во время этого путешествия я убедился что горячий чай лучше утоляет жажду чем самая холодная вода; это малоизвестно, но совершенно справедливо. Я сперва сам этому не верил и едва мог заставить себя глотать горячий чай, когда бывало у меня все горло и губы пересыхали от жары и жажды. Поставленный однако в необходимость испробовать этот способ утоления жажды, я

принужден был призвать его гораздо более действительным чем вода. Жажда утоляется в несколько мпнут и уже не возвращается так скоро как после питья воды.

Дорога шла все хуже и хуже. Лошади с трудом пробирались по глубоким песчаным наносам. Маленькая вороная [79] лошадь, которую мне Мустров особенно всегда расхваливал, но на которую я тем не менее не садился, обнаруживала чрезвычайную усталость в два последние дня. Мы развьючили ее, распределив поклажу на других лошадей, оставив на этой одно легкое вьючное седло. Но все напрасно. Около девяти часов вечера бедное животное окончательно выбилось из сил, споткнулось и со стоном растянулось на песке во всю длину. Видя что понукать эту лошадь было бы бесполезно, мы сняли с нея седло с уздечкой и оставили ее одну в пустыне.

Не весело продолжали мы свой путь. Ночь надвигалась все чернее и чернее, а с нею и окружающая тишина принимала какой-то зловещий характер. Потеря коня навевала на нас самые мрачные мысли: здесь, в самом сердце безводной песчаной степи, необходимость заставившая нас замучить бедное животное до смерти и затем оставить его умирать в пустыне, представлялась роковою. Долго ли этому еще суждено продолжаться? Пятнадцать дней были мы уже в пустыне, а все также повидимому далеки были от цели как и при выезде. Лошади наши уже несколько дней питались только тем что им удавалось самим подобрать в пустыне. Скоро быть-может и всем им суждено пасть от изнеможения, и нам придется выбираться из песков пешком. Очевидно, эта призрачная погоня не могла быть продолжительна. Хотя Бей-Табук и уверял меня что я застаю Кауфмана, я на это не смел надеяться, зная что он уже давно должен был достичь реки. Везде в тылу войска должны были рыскать Туркмены, а могу ли я пробовать бежать от их быстроногих коней на моих изнуренных животных, или пробиться чрез их ряды чтобы присоединиться к армии? Смерть этой лошади казалась мне предвестием нашей собственной судьбы — началом конца.

Мы все пробиваемся вперед, продираясь сквозь мелкий, посохший кустарник, чуть не скатываясь в глубокая песчанья ямы и почти перескакивая через конския головы; потом вновь приходится нашим лошадям биться в тяжелом, беспощадном песке, взбираясь

на крутые подъемы; затем опять раздается стук лошадиных копыт по изсохшему грунту точно по каменной мостовой, пока наконец, поздно ночью решаемся мы броситься на песок для [80] минутного отдыха. Едва успели мы сомкнуть глаза как опять были разбужены проводником для дальнейшего перехода. Заря еще не занималась, но темнота несколько просветлела под бледными, холодными лучами поднявшегося месяца.

Растительность почти совершенно исчезла, изредка разве виднелась ветка саксаула. Рядом с нами двигаются и наши тени, длинные и черные, на освещенном луною песке, будто страшные привидения, провожающие нас к нашей неизбежной судьбе... Но вот забелели первые полосы света на восточном крае неба; месяц бледнеет, тени стусеваются, и наконец солнце, красное и зловещее, поднимается из-за горизонта. После ночного холода приятно пригреть на его лучах свои онемелые члены. Затем делается слишком тепло, затем жарко, и скоро мы опять мучаемся от зноя и жажды, опять окружающий блеск слепит ваши глаза, и мы положительно задыхаемся в этой душной полуденной атмосфере.

К двенадцати часам выехали мы на вершину восточного склона горного хребта, который тянулся у нас справа почти во весь переход от Танджарыка, а теперь пересекал нам дорогу. Хотя это только холмы, но как и Букан-Тау они представляют все особенности высоких хребтов, миниатюрные пики, глубокие пропасти и суровые утесы. Формация их — тот же красноватый песчаник; растянулись оне обнаженные, мрачные и бесплодные, под палящим солнцем, нет на них ни лепестка, ни былинки, ни малейшего признака жизни; сюда не ступала нога ни человека, ни животного.

С вершины открывается нашим глазам низкая бесплодная равнина, за которой, синия и туманная, рисуются на горизонте горы Урта-Тау, видневшиеся слева с самого выезда нашего с Юз-Кудука. Оне разстилаются к западу большим изгибом и теряются вдали, облитыя золотыми лучами заходящего солнца. По словам проводника, сейчас за этим хребтом лежит и Хала-Ата, то-есть еще на расстоянии верст сорока.

Спускаемся вниз по южному склону. Он очень неровен и обрывист; копыты наших лошадей скользят и выворачивают

большие глыбы песчаника, которые скатываются перед нами миниатюрными лавинами. Через полчаса мы опять находимся внизу, опять пробираемся через томительную пустыню покрытую не песком, а пылью.

[81] Где есть песок, там всегда, в это время года, найдется немного полыни, а местами даже пробивается бурая степная трава, почти такого же цвета как самый песок. В пыли же расти ничего не может, и потому, на всей этой равнине нет никакой растительной жизни.

Поздно ночью продолжаем мы идти вперед, в надежде набрести наконец на место где бы лошадям можно было что-нибудь подобрать. Проводник по временам соскакивает с лошади—не удастся ли нащипать немного травы— но все тщетно. Это почти то же что искать растительности на только-что истлевшем пепле. Наконец мы останавливаемся и завариваем себе чай бутылкой воды, которую захватили с собою, старательно скрывая свой огонь от наблюдательных туркменских партий, могущих разъезжать по окрестности; бедные же лошади наши, после семидесяти-верстного перехода по адской дороге, принуждены обойтись без корма и воды. Очевидно, продолжаться это долго не может, и эта ночь проходит для меня в сильнейшем беспокойстве.

На следующее утро при солнечном восходе мы нашли колодезь хорошей воды, а еще через полчаса выехали на вершину Урта-Тау, за которым лежит Хала-Ата. Великолепный горный хребет, такой величественный издалика, здесь оказался низкою цепью гор.

Проводник выезжает на самую остроконечную вершину и осторожно переглянув за нее, дает вам молча знак подвигаться. Я не знаю есть ли какая необходимость в этих предосторожностях, но мы пробираемся вперед так тихо и осторожно будто ожидая выехать не к русскому, а к туркменскому лагерю. Я прищпориваю лошадь и осматриваю местность в зрительную трубу: открытая голая пустыня, похожая на ту которую мы только-что проехали, раскинулась на десятки верст к югу, сливаясь с горизонтом в стороне Бухары; посреди, на расстоянии верст десяти от нас, куполообразное возвышение, которое мне кажется чудовищною

кибиткой, окруженною мелкими палатками, около которых виднеются белые кителя солдат и сверкающее штыки.

Не было сомнения, я добрался до отряда генерала Кауфмана.

Киргиз.

[82] XIV. Хала-Ата.

Измученный и покрытый пылью, въехал я 4го (16го) мая в укрепление Хала-Ата, после семнадцатидневного переезда пустыней.

Лагерь расположен был посреди совершенно гладкой равнины, с севера окаймленной низким хребтом гор которых я только-что переехал; эта равнина широко раскинулась на необозримое пространство к югу и к востоку по направлению к Бухаре, и не видать на ней было ни растения, ни кустарника, даже не попадалось мне на глаза ни одного саксаула, который до сих пор встречался везде по пути, оживляя несколько мертвенное однообразие пустыни: везде одна голая песчаная полоса, сливающаяся на горизонте с медно-желтым небом. Я был удивлен сначала что Кауфман выбрал такое место для продолжительной стоянки; но причина этого мне тут же объяснилась, когда я увидел источник чистой, прозрачной воды, текущей довольно большим ручьем, в котором воды достало бы для армии в несколько тысяч человек.

Лагерь был составлен из палаток и кибиток всевозможных родов, размеров и цветов, разбросанных в беспорядке на четырехугольном пространстве, около 40 квадратных сажен. Большое куполовидное строение, которое я издали принял за громадную кибитку, оказалось теперь земляным холмом, на котором возвышалась каменная сторожевая башня, составлявшая угловой бастион маленького укрепления воздвигнутаго генералом Кауфманом. Местами были разбросаны такие же глиняные гробницы какия мне попадались по всей степи; некоторыя разрушены временем, другия еще хорошо сохранились; группы солдат толпились вокруг заводов образованных вечно бьющими источниками и поили лошадей; длинныя вереницы верблюдов тянулись вдаль по пустыне отыскивая саксаулы и дикую полынь; пыль, жара и песок на всем наложили свою печать — такова-то

была Хала-Ата, где я впервые напал на след генерала Кауфмана, после семнадцатидневной погони за ним, после переезда почти в 700 верст.

Не без волнения подъехал я к дежурному молодому [83] офицеру и спросил здесь ли генерал фон-Кауфман. Ответ разбил все мои надежды: генерал Кауфман вышел из Хала-Аты еще за пять дней пред тем, и в настоящее время должен уже был подойти к Аму-Дарье. Пять дней! Конечно теперь он переправится через реку и возьмет Хиву прежде чем я в состоянии буду его догнать. В эту минуту я был близок к отчаянию, и мысленно посылая Ак-Маматова и Бей-Табука в самую глубину преисподней за те три дня которые они продержали меня в степи в ожидании проводника.

Овладев несколько собою, я сказал офицеру что я Американец и еду к генералу Кауфману, к которому у меня, равно как и к Великому Князю Николаю Константиновичу, есть рекомендательныя письма, и попросил его довести до сведения командующаго здешним отрядом о моем прибытии и желании ему представиться.

Едва услышал офицер что я Американец, как стал чрезвычайно радушен, пригласил меня в свою палатку, велел немедленно заварить чай, говоря что полковник Веймарн теперь спит, но скоро встанет и будет рад меня видеть. При дальнейших разспросах я узнал что полковник Веймарн располагал выступить на следующий день с двумя ротами пехоты, сотней казаков и двумя девятифунтовыми полевыми орудиями, и что мне, конечно, можно будет идти с ним. Перспектива эта мне очень улыбалась, и я стал опять надеяться что попаду на место вовремя.

Со времени выступления генерала Кауфмана, Веймарн не имел от него никаких известий кроме приказанія выслать кавалерию вперед, из чего и заключали что главный отряд уже встретился с неприятелем, но более ничего известно не было.

У них уже была небольшая стычка с ханскими войсками, 27го апреля (9го мая), у ближних колодцев Адам-Крылган, описанных у Вамбери. Генерал Кауфман, по обыкновеннию, выслал вперед маленький отряд на рекогносцировку чтобы разыскать колодцы и

изследовать количество и качество воды прежде выступления главных сил. Отряд этот, под начальством полковника Иванова, подошел к Адам-Крылгану когда уже стемнело. Полковник Иванов, желая осмотреть местность, выехал [84] вперед с четырьмя казаками и четырьмя киргизскими проводниками. Не подозревая о присутствии неприятеля по близости, они внезапно наехали на партию Туркмен от 200 до 300 человек расположившихся ставкою у колодца.

Обе стороны одинаково были поражены этою первою встречей. Русские были окружены со всех сторон прежде нежели могли подумать об отступлении. Полковник Иванов немедленно спешил своих людей, так как бежать от быстроногих туркменских коней было не мыслимо, и приготовился дать решительный отпор. Завязалась отчаянная схватка, в которой на стороне Русских было убито двое, а все остальные ранены, включая и самого полковника Иванова, раненаго пулями в руку и ногу. Схватка продолжалась несколько минут; еще мгновение, и Русские неминуемо должны были погибнуть если бы не подоспела остальная часть рекогносцировочной партии, бросившаяся вперед при первом звуке выстрелов. Хотя и тогда Хивиацев было вдвое больше Русских, но они немедленно бросились бежать, и храбрый полковник Иванов остался решительным победителем в этой маленькой, но блистательно им выдержанной схватке.

Мне очень хотелось определить наконец верное географическое положение Хала-Аты (место это не обозначено на картах) чтоб узнать далеко ли мы еще от Аму-Дарьи. Собеседник мой, впрочем, мог сообщить мне на этот счет только то что Хала-Ата находилась верстах в полутораста к западу от Бухары, а что расстояния до Аму никто наверное не мог определить, даже сам Кауфман, может-быть до нея оставалось сто верст, а может-быть и более двухсот. Он полагал, впрочем, что полковник Веймарн будет в состоянии дать мне понятие о положении места, насколько оно определено астрономами экспедиции. Не ранее, впрочем, как в Хиве узнал я что Хала-Ата лежит под $40^{\circ} 52' 52''$ северной широты и $33^{\circ} 10'$ восточной долготы от Императорской Пулковской обсерватория, близъ С.-Петербурга, 4 часа $13' 59''$ по гриничскому времени.

Время подвигалось к полудню, но полковник Веймарн не обнаруживал что присутствие мое ему известно — обстоятельство не очень-то утешительное. Прошел полдень. Солдаты столпились у кибиток ища хоть какого-нибудь прикрытия от палящего солнца; из пустыни потянулись [85] обратно к лагерю верблюды после скудной кормежки дикою полынью; рев ослов, ржание лошадей, бляние овец—все смолкло под палящим зноем, все животные понурили головы, полная неподвижность и безмолвие водворились в лагере, один часовой одиноко расхаживал на сторожевой башне. Солнце поднялось над самыми нашими головами, затем стало медленно близиться к закату, сверкая на желтом фоне неба как огненный шар и раскаляя воздух до такой степени что он наконец принимал видимую форму и колебался туманными волнами, точно призрачный океан, над песками Хала-Аты.

А я все не получал извещения от полковника Веймарна о его готовности принять меня. Я начинал терять терпение, и наконец мне стало неловко что со мною обходятся таким безцеремонным образом. Не без затруднения довез я сюда вверенную мне почту, а полковник Веймарн даже и не побезпокоился меня поблагодарить, хотя я и сам заявил что желаю ему представиться. До сих пор он совершенно, повидимому, игнорировал мое присутствие. Это было первое невнимание какое я видел от Руссаго в продолжении двухлетних моих переездов по русским владениям, и я заключил тут же что этот исключительный случай добра мне не предвещает.

Наконец я решился положить конец этой неизвестности, направиться к полковнику Веймарну без приглашения и предупреждения. Мне тут же указали на него: он неслышно прогуливался по лагерю, вовсе и не помышляя, повидимому, о моей особе. Я прямо подошел к нему, назвал себя, и между нами произошла следующая беседа:

— Я должен извиниться пред вами, полковник, что не явился к вам раньше; но мне говорили что вы еще спите.

— Хорошо, что же вам нужно?

— Я уже заметил, полковник, что желал вам представиться.

— Очень благодарен; но не думаю чтобы вы единственно для того ехали сюда из Нью-Йорка чтобы мне представиться?

— Конечно нет, полковник; мое дело здесь относится до генерала фон-Кауфмана.

— Да? Так у вас дела с генералом Кауфманом? (недоверчивым тоном.) А как же вы до него доберетесь?

[86] — Верхом.

— Какое у вас дело до Кауфмана?

— Об этом я скажу одному только Кауфману.

— Есть при вас письменное позволение генерала Кауфмана?

— Нет, отвечал я,—готовясь показать ему свои бумаги:—но у меня есть позволение....

— Решительно все равно, чье бы позволение вы ни имели: дальше ехать вы не можете без письменного позволения самого генерал-губернатора. А бумаг ваших мне видеть не надо.

— Как же я могу теперь получить это позволение? спрашиваю я.

— Не знаю. Вы можете послать ему ваши бумаги, но я почти уверен что позволения вы не получите без личного с ним свидания. Он слишком занят чтобы заниматься перепиской.

— Извините, полковник, сказал я, — но как кажется, его превосходительство, генерал фон-Кауфман лицо совершенно недостижимое: выходит что я не могу его видеть не имея на то его позволения, а позволение это он мне может дать только при свидании. Как же поступают все люди имеющие до него дела?

— Das geht mir Nichts an (это не мое дело), отвечает он, повертываясь на каблуках, и оставив меня наедине с моими размышлениями, которая—легко понять—не были самого

приятного свойства. Неужели я ехал из Петербурга до Хала-Аты, стремился вперед целых шестьдесят дней не взирая на все препятствия, и все это затем только чтобы быть задержанным у самых берегов славного древняго Оксуса этим воином, способным направить меня обратно тою же пустыней, не дав взглянуть на его темныя воды?

Правда, мне был оставлен еще один ресурс: отправить свои письма к генералу Кауфману и выждать его ответа на месте. Но ответ этот мог придти не раньше как через десять-двенадцать дней, а он тем временем переправится через реку, возьмет Хиву, и я опоздаю.

Бежать отсюда было безумно, по крайней мере прежде нежели я увижу какия относительно меня примутся меры. Если меня здесь оставят на положении пленнаго, под караулом или на честном слове — попытка будет уже невозможна; даже если полковник Веймарн захочет только меня [87] задержать до ответа генерала Кауфмана, бегство представит препятствия почти непреодолимья: туркменские всадники должны были рыскать по степи за арьергардом Кауфмана, а удастся ли мне пробраться незамеченным посреди беспокойных, диких туркменских орд, если даже и посчастливится мне выбраться из русскаго лагеря?

Так как я не имел никакого желания вступать с Туркменами в личные переговоры относительно дела которое привело меня на их территории, то и надежда моя добраться до генерала Кауфмана, прежде его вступления в неприятельскую страну, исчезла безвозвратно. Чтобы догнать его, теперь приходилось перейти неприятельскую страну или за отрядом русской армии, или же одному. Необъяснимое поведение полковника Веймарна могло служить уже заранее речательством в том что на русский конвой мне разчитывать нечего. Чем более я думал, тем яснее становилось что мне придется решиться на последнее, то-есть ехать не только без конвоя, но еще, пожалуй, придется и бежать от дюжины-другой казаков, которых наверно вышлют за мною в погоню. Перспектива эта была до того неприятна что я было не решился даже на ней и остановиться; впрочем, подумав несколько минут, пришлось сознаться что другаго исхода из моего положения не было.

Между тем, в воображении моем возникало живое представление одной картины из книги Вамбери, с соответствующим описанием, на которой представлен был стоящий на хивинской площади Туркмен, высыпавший из мешка человеческие головы, при восхищенных, одобрительных криках толпы, тогда как везде вокруг было еще безчисленное множество человеческих черепов, установленных в правильные груды, как пушечные ядра; эта картина сменилась другою — изображением ужасного клоповника в Бухаре, куда этот свирепый изверг Назрулахан бросает своих пленных на поедение мириадам насекомых, нарочно для того разводимых; и в памяти моей проносились вереницей неутешительные рассказы Бёрнса, Вуда, Вамбери и других обо всех ужасах средне-азиатских обычаев.

Положение мое далеко не было приятным. Багаж свой я сократил до *minimum*: у меня не было никакого корма для лошадей; не было провизии ни для себя, ни для людей [88] моих — последние два дня мы питались одним „ираном“, кислым молоком Киргизов. Кроме того, не было у меня ни палатки, ни кроватки; обходиться без этого еще можно было на ходу, но отсутствие такого необходимого в степи комфорта довело бы меня до сумасшествия под этими палящими знойными лучами на месте.

Я расхаживал по лагерю, перебирая в уме все эти горькие мысли, размышляя каким бы мне способом смягчить служебную ревность полковника Веймарна, и временами также разчитывая, через сколько, примерно, времени придется мне помереть с голода, который начинал меня уже нестерпимо мучать.

Тут ко мне подошло несколько офицеров, которые, услышав о прибытии Американца, пришли предложить мне свое гостеприимство. Видно было что они не одобряли поведения полковника Веймарна и старались радушием своим загладить его нелюбезность. После они высказались по этому поводу прямо и в выражениях весьма решительных.

Скоро мы сошлись как нельзя лучше; я плотно поел в первый раз после трехдневного поста, а потом меня отвели в кибитку полковника Иванова, раненого в деле под Адам-Крылганом, о котором я уже говорил. Узнав что у меня нет никакого пристанища,

он тотчас отвел мне место в своей кибитке и предложил поселиться у него на все время пока я останусь на Хала-Ате. Я принял это предложение с радостью, а так как полковник Иванов был на положении больного, и получал все лучшее что только можно было достать, то судьба, как оказалось, не могла отдать меня в лучшие руки. Не только Иванов, но и все общество офицеров относилось ко мне с радушием, которого мне никогда не забыть, тем более что это было время когда я более всего нуждался в их гостеприимстве. Мой американский паспорт был достаточною рекомендацией в их среде, как и в глазах всех Русских, которых я до тех пор встречал.

Следующий день я почти не выходил из кибитки Иванова, стараясь несколько отдохнуть после долгой езды верхом; но это, благодаря удушливой жаре и пыли, мне не удавалось, несмотря на все мои ухищрения. Вечером полковник Веймарн прислал мне сказать что он выступает на следующее утро в два часа, и что если я желаю, то могу послать [89] с ним мои письма. Подумав несколько, я решился дать Веймарну одно из моих писем, но тем не менее попытаться ускользнуть из лагеря с выступающею колонной. План мой был следующий: выступить из лагеря с кавалерией, полагаясь на темноту пред рассветом, сделать большой объезд, обогнуть отряд и добраться так или иначе до реки. Привести это в исполнение, думалось мне, будет не трудно, раз я буду вне лагеря, так как я мог двигаться вдвое скорее войска. Порешив на этом, я вручил Веймарну одно из моих писем для передачи Кауфману, а людям своим приказал быть готовыми к выступлению в два часа утра.

В приятной перспективе предо мной все еще виднелись нападающие на меня Туркмены, но мне оставалось выбирать между этою опасностью и неудачей всего моего предприятия, и я остановился на первой, полагаясь на вошедшее почти в поговорку счастье военного корреспондента во всех тех случаях где приходилось пробираться чрез неприятельския линии. Как после оказалось, впрочем, еслиб я привел этот план в исполнение, то неминуемо попался бы в руки Туркмен под предводительством Садыка, известного разбойника, вступившаго в ханскую службу, который рыскал с пятьюстами всадников по следам армии Кауфмана, и который, именно этим временем, производил внезапное и решительное нападение на верблюдов русскаго отряда у Адам-Крылгана.

Однако в полночь, когда все уже было готово к походу, от генерала Кауфмана пришел приказ отменяющий выступление. Оказывалось что он еще не дошел до Аму, как предполагали, но где он находился, на Адам-Крылгане, или на каком другом пункте, добиться я не мог, так как несмотря на свою любезность, офицеры были все очень сдержанны в сообщении мне сведений по этому предмету. Однако, из отрывков разговоров, которые мне удалось понять, я почти убедился что произошло что-то недоброе.

Дело мое принимало совершенно другой оборот. Если генерал Кауфман еще не дошел до реки, то и я имел достаточно времени на обсуждение, каким способом мне будет лучше до него добраться. Я решился выждать событий на месте, так как Веймарн объявил что не [90] выступит еще дня три или четыре, а мне было бы очень трудно выбраться иначе как посреди суматохи ночного выступления войска; я остался гостем все того же радушного полковника Иванова.

Жизнь в Хала-Ате, как мне пришлось убедиться, была незавидная. Жара днем была нестерпима, а частые порывы ветра поднимали целые столбы песка и пыли, которые проникали всюду, от которых нельзя было ничего уберечь. Палатки и кибитки почти не защищали от этого беспощадного врага; песок с пылью наполнял глаза, рот, ноздри, забивался в ресницы, волосы, платье. К тому же, читать было решительно нечего, кроме нескольких старых газет, которых я видел еще в Петербурге. Оставалось одно — лежать по целым дням на спине и следить за раскаленным воздухом, который двигался какою-то туманною зыбью под сверкающим солнцем, и за столпами пыли, которые проносились по пустыне, да слушать песни солдат, которых раздавались в продолжение всего дня, несмотря на то что им почти что нечего было есть, а водки и в помине не было; единственное развлечение которое я мог себе позволить — это было мысленно бранить полковника Веймарна елико возможно. Бедный Веймарн! Если я, в конце концов, и не перехитрил его, то могу простить его теперь. Его постигло несчастье: он был сброшен с лошади в самом ханстве, и умер через несколько часов от перелома костей, не взглянув даже и одним глазом на много прославленную Хиву.

Хала-Ата находится уже на бухарской территории. Как занятие этого пункта, так и постройка на нем укрепления Св. Георгия совершились с позволения эмира. Форт образует четырехугольник около 10ти квадратных сажен, и состоит из простой земляной насыпи, двух угловых бастионов и рва, который легко наполнить водою. При нем оставлено было два полевых медных орудия, и хотя укрепление это воздвигнуто в два дня, оно достаточно крепко чтобы выдержать какое угодно нападение азиатских сил.

Есть основания предполагать что на месте Хала-Аты в древности стоял город. Русские еще застали здесь остатки каменных стен, которые тут же употребили на сооружение укрепления; да и сам я нашел часть высеченного камня, который очень походил на капитель [91] колонны. По всем вероятностям, на месте прежних высоких куполов и минаретов города, Киргизы воздвигли эти глиняные гробницы, и вымерший город обратился действительно в город мертвецов.

XV. Ночное бегство.

Следующие пять дней ничего не было слышно о генерале Кауфмане. Меня начинало уже мучать сильнейшее беспокойство при мысли что он вероятно доехал до реки, переправился через нее, и пойдет на Хиву, не дожидаясь прибытия остальной части отряда. Судя по тому как ко мне относился полковник Веймарн, я мог заранее быть уверенным что положение мое далеко не будет приятно, если он захватит меня во время моей попытки к бегству. Несмотря на то, однако, я решился попытать счастья. Я вполне изучил обычный лагерный порядок и решил что время на рассвете, когда сменяют пикеты, когда офицеры ночного дежурства отправляются на отдых, а остальные еще не поднимаются, будет для меня самым удобным для бегства. Также заметил я что Киргизы и Бухарцы въезжали днем в лагерь и выезжали из него со своими лошадьми и верблюдами когда им заблагоразсудится, так что людям моим не могло представиться никакого затруднения выбраться из лагеря. Потому я и порешил отправить их вперед, а самому выехать на следующее утро с одним Ак-Маматовым. Что касается солдат, видевших меня все эти шесть дней на равной ноге с офицерами, то нечего было и бояться что им известно мое настоящее положение и что они решатся меня остановить.

Таким образом я надеялся отъехать по крайней мере верст на тридцать прежде нежели отсутствие мое будет замечено, а тогда посылай за мной Веймарн какую хочет погоню! Чтобы привести однако этот план в исполнение самым удобным и тайным образом, надо было открыть его Ак-Маматову; а он всякий раз как я задумывал ехать дальше всегда умудрялся находить по крайней мере десять хорошо придуманных и убедительных предлогов чтобы мешать мне. Тут же, к величайшему моему горю, он наотрез объявил что не сделает ни шагу вперед, иначе как за [92] войском. Угрозы, к которым я привык прибегать в таких случаях в пустыне, здесь были не мыслимы по той простой причине что первое же проявление моей власти привлекло бы на нас внимание всего лагеря. К тому же я не мог не сознаться сам что некоторые возражения моих людей были вполне основательны. Так они весьма верно заметили что, нанимая их, я не предупредил что от них потребуется такого рода служба; если удастся нам пробраться чрез ряды русского войска, то все равно мы попадемся Туркменам, а у каждого из них осталась на родине семья, и знай они чего от них будут требовать, они никогда бы не пошли со мной.

Не говоря уже о возражениях моих людей, я и сам нашел, посмотрев на своих лошадей, что бедныя животныя были в самом жалком положении. В укреплении были большие запасы ячменя, но полковник Веймарн не соглашался продать мне ни зерна, и если бы не доброта полковника Иванова и полковника Дрешерна, доставлявших мне немного корма, бедныя животныя положительно умерли бы с голода. И теперь две лошади, казалось, никак не в состоянии будут дойти до реки. Если оне мне изменят, то у меня останется всего три лошади, и на них-то мне придется ехать самому, везти троих людей и весь багаж.

Доведены оне были до такого состояния в течении последней недели, когда им почти нечего было есть и оне стояли ничем не прикрытыя от палящих солнечных лучей. Вот эти несчастныя, терпеливыя животныя, служившыя мне верой и правдой в трудном переходе, обступили меня со ржаньем, будто прося какого-нибудь корма, а затем принялись с жадностью подбирать сухие саксаулы, в которых не было никакой питательности. У меня сердце щемило, глядя на бедняжек, и я бы, кажется, в эту минуту без малейшаго

угрызения совести препроводил полковника Веймарна в несравненно более жаркое место чем Хала-Ата.

Подведя все итоги, я нашел что положение мое стало значительно хуже чем при въезде в Хала-Ату. Тогда лошади мои, хотя и усталые, были еще в хорошем состоянии добрались бы до Аму-Дарьи без большого труда; теперь же это было более чем сомнительно. Засесть в Хала-Ате после того как я проехал так далеко, было бы слишком нелепым результатом всех моих страствований; я не [93] мог даже остановиться на минуту на этой мысли прежде нежели все средства к бегству будут испробованы. И я твердо решился бежать, к чему бы ни повела меня эта попытка. Я отправился опять к своим людям и объявил им что если они отказываются идти со мною, то а прогоню их всех тотчас же, и они могут добираться во свояси как сами знают; если же они согласны идти со мною дальше, то каждый из них получит по сту рублей. Предложение это разом поколебало их прежнюю решимость, и наконец, после долгих переговоров, они согласились выехать в этот же вечер.

Между тем полковник Веймарн, также как и я, стал волноваться, не получая известий от генерала Кауфмана, и по той же самой причине: он боялся что Хива будет занята до его прихода; он наконец решился двинуть войска из Хала-Аты, в надежде встретить курьера с приказом о выступлении. Но всего любопытнее что мысль эта возникла в нем как раз в то же время как и я стал готовиться к бегству. Благодаря такому обороту дела мое бегство могло совершиться успешнее, так как оно не могло, в таком случае, дойти до сведения полковника Веймарна раньше как через 24 часа, когда преследовать меня уже было бы немыслимо.

В первом часу утра 12го (24го) мая мы все были на конях, и колонна стала выступать на широкую песчаную дорогу, ведущую почти прямо на запад, по направлению к Адам-Крылгану и Аму-Дарье.

Я ни с кем не простился, и никто во всем лагере не помышлял что я могу предпринять такое бегство. Я тихо примкнул к казакам, шедшим во главе колонны, а люди мои следовали за мною; выехав на вершину низкаго песчаного холма, в версте от лагеря, я также

тихо отделился от казаков, свернул с дороги на север и выехал в пустыню.

Я предполагал отъехать из вида колонны до разсвета и, сделав небольшой объезд, выехать опять на дорогу у Адам-Крылгана, настолько впереди колонны чтоб иметь время напоить лошадей и дать им вздохнуть до ея приближения.

Руководясь полярною звездой мы подвигаясь тихо и осторожно в темноте, перебираясь через песчаные наносы, [94] спотыкаясь на неровной почве, поросшей саксаулами и дикою полынью, и по временам останавливаясь прислушаться, так как нашему возбужденному воображению все представляется что пред нами движется какая-то темная масса, а вокруг мелькают всадники. Я чувствовал что предприятие на которое я решился было безумно до дикости, и легко могло довести меня до трагического конца. Но опьяняющее сознание свободы и возбуждающее действие верховой езды после скучной однообразной жизни на Хала-Ате, открытая пустыня, сверкающая звезды, свежий утренний ветерок — все это доводило меня до такой степени экзальтации что настоящая опасность представлялась делом совершенно второстепенным.

Несмотря на все затруднения и опасности сопряженные с переездами по пустыне, в ней самой есть что-то неотразимо привлекательное; она возбуждает какое-то чарующее чувство, совершенно особенное и понятное лишь тем кто испытал его на себе. Долгие жаркие переходы по сыпучему песку; остановки у колодцев для вытаскивания светлой, холодной воды; сонливые полуденные стоянки, свежий вечерний воздух, когда вы лежите на песке, следя за высыпающими звездами и за красным месяцем, выплывающим над пустыней; неестественная, таинственная тишина, сознание неограниченной свободы — все это вместе сливается в существование полное прелести невыразимой, и чувство это остается при вас долго после того как вы выехали из этого волшебнаго уединения.

Мы ехали так скоро как только было возможно при окружающем нас мраке; с разсветом же перешли в легкий галоп. Когда на востоке показалась первая светлая полоса, я стал оглядываться — удалось ли мне наконец выбраться из когтей

полковника Веймарна. Далеко на юго-востоке двигалась темная масса, которую я почел за арриергард; скоро и она скрылась за горизонтом. Заклучая из этого что мы дожны были отъехать достаточно далеко, я повернул лошадь к западу, по прямому направлению к Аму-Дарье.

Местность была не ровна и покатица, с весьма скудною растительностью: саксаулы были не выше одного фута, а полынь попадалась чрезвычайно редко. Но и тут, как почти по всей степи, было много тонкой, нитеобразной, [95] бурой травы, служащей главною поддержкой проходящих киргизских стад.

Около девяти часов мы остановились пить чай, для котораго захвачено было немного воды. Здесь оказалось что одна из лошадей не пойдет уже далеко, несмотря на незначительность ноши. Когда мы остановились, бедное животное бросилось на землю в таком изнеможении что не могло даже подбирать скудный корм по песку. Я дал ей немного остававшаго у меня ячменя, а затем она принялась щипать бурую траву, которую могла достать вокруг себя, даже и не пытаясь подняться на ноги. После часоваго отдыха, впрочем, она поднялась и пошла бодрее чем я мог предполагать. Предвидя что всем моим лошадям не добраться до реки, я бросил все что у меня оставалось из багажа в Хала-Ате, при записке к командиру, прося его присмотреть за оставленными вещами и извиняясь в своем безцеремонном обращении к нему. То что у меня теперь оставалось, легко могло быть поднято на четырех лошадях. Нас самих было четверо, у каждого из моих людей были какия-нибудь вещи с собой, кроме того мы везли жестяной чайник, пуд черных сухарей, накупленных Ак-Маматовым у солдат, которым и предназначено было служить единственною пищею для нас самих и для наших лошадей, 100 свертков патронов для моих ружей и револьверов, и наконец немного ячменя; легко понять что в этом числе вещи для личного моего употребления были в самом незначительном количестве.

Около двух часов мы поднялись на маленькую песчаную возвышенность, поросшую саксаулами в пять-шесть футов вышины; отсюда пред нами открылся вид на низкую, гладкую равнину, верст от 4 до 5 шириною, покрытую беловатым солончаковым слоем. За равниной опять песчаные холмы —

знаменитый Адам-Крылган, на котором был Вамбери, переодетый дервишем.

Но каково же было мое разочарование, чуть ли не отчаяние, когда принимаясь оглядывать местность в зрительную трубу, я различил на холмах белые кителя русского войска! Тут подъехали к нам несколько конных Киргизов, оказавшихся джигитами, едущими в Хала-Ату. Они нам сказали что солдаты которых мы теперь видели [96] были казаки прибывшие из Хала-Аты этим утром. „Те самые казаки“, мысленно добавил я, „к которым я так ловко примкнул в темноте и от которых так же удачно ускользнул потом!“

XVI. "Шах королю!"

Это открытие меня как "обухом по голове ударило", говоря изысканным языком Дика Свивеллера; в первую минуту я почувствовал себя совершенно уничтоженным. К довершению неприятного моего положения, люди мои, чрезвычайно довольные, посматривали на меня хитро посмеиваясь и вполне торжествуя; эти усмешки раздражали меня донельзя. Повидимому они заключали что наконец-то для меня наступал "мат", что мне ничего более не остается как явиться с повинною головой к полковнику Веймарну. Они же, с своей стороны, получили деньги, не подвергаясь никакой опасности.

Для меня было также ясно что нечего было и думать доехать до Аму-Дарьи не поя лошадей; еще можно бы решиться на это с такими лошадьми с какими мы выехали из форта Перовскаго, да и тогда исход был бы сомнителен, так как я даже не знал далеко ли мне еще предстоит ехать: полковник Веймарн, понятное дело, не сообщил мне ни малейшей справки относительно положения Хала-Аты и предполагаемого расстояния до Аму. Я был однако уверен что до реки оставалось не менее 120 верст. Чего бы в эту минуту ни дал я за настоящего туркменскаго коня, одного из тех что пробегают от Хивы до Астрабада (500 миль) в четыре дня, питаюсь все это время одними клочками соломы. С такую лошадью я уж конечно не остановился бы пред мыслью проехать до генерала Кауфмана одному, предоставляя своим людям следовать за отрядом. Но негде было тут достать такой лошади, разве только обратиться к самим их диким владельцам, рыскающим по пустыни, быть-может даже в весьма близком от нас расстоянии. Надо было искать другого исхода.

Перебирая в голове своей всевозможные средства чтобы добыть воды, я стал смутно припоминать один слышанный мною разговор на Хала-Ате, из которого я тогда [97] мог понять что речь шла о каком-то источнике лежащем между Адам-Крылганом и рекой, места этого у Вамбери однако не упоминалось.

О положении этого колодца я не имел ни малейшего понятия, и потому велел Ак-Маматову спросить у джигитов, нет ли еще где воды по близости. Ответ их воскресил все мои силы, все мои надежды: верстах в тридцати от этого места находятся колодцы Алты-Кудук, шесть колодцев, лежат они верст на шесть в сторону, на север от дороги к реке, и генерал Кауфман оставил там небольшой отряд. Это было для меня новостью совершенно неожиданною, и я положил ехать к Алты-Кудуку, не останавливаясь на Адам-Крылгане. Что касается Русских, то полковника Веймарна там не было, а начальник отряда уж конечно ничего не мог знать о моей задержке на Хала-Ате. Было бы неслыханным несчастием напасть сряду на двух таких офицеров как Веймарн, во всяком случае можно было рискнуть. Я приказал людям садиться на лошадей чтоб ехать прямо к следующему колодцу, не отдыхая на Адам-Крылгане.

Как легко было предвидеть, с людьми по этому поводу у меня опять завязалась ссора: „Идти дальше не можем, лошади сделали уже по крайней мере пятьдесят верст в этот объезд и уж конечно никак не будут в состоянии пройти еще тридцать верст под палящим солнцем без отдыха и без питья. И дело это неслыханное! Мы останемся в песках без лошадей, которые наверно падут дорогой, и принуждены будем идти пешком. Но тут уж мне нечего было бояться привлечь внимание полковника Веймарна, и потому я, не вступая в лишние разговоры, велел им садиться на лошадей и ехать дальше. Накануне они вытянули у меня 300 рублей, потому что я был в их власти; теперь же настал мой черед, и чрез пять минут мы уже ехали по направленно к Алты-Кудуку.

Хотя я вечно находился в хронической оппозиции с моими людьми, я постоянно погонял их вперед. Странное дело, они не только уважали меня, но даже, насколько я мог заметить, были ко мне очень расположены. Платил я им хорошо, никогда не отказывал

им в деньгах для покупки чего бы ни было съестного, делил с ними все что у меня было захвачено из лакомых вещей, научился пить [98] их кипяченый чай чтоб избавить их от труда два раза кипятить воду, был на все податлив, с одним условием, лишь бы подвигаться вперед и вперед. В этом отношении я был неумолим; хотя они и предполагали что я одержим каким-то бесом передвижения, но только говорили: "Аллах велик", и приязнь их ко мне от этого ни мало не уменьшалась.

Когда Адам-Крылган скрылся позади нас слева, путь наш сделался очень тяжел. Песок шел все рыхлее и глубже и наконец стал переходить в огромные наносы 20 и 30ти футов в вышину, самых причудливых форм, сильно напомилавших снежные глыбы и вечно изменявшихся под влиянием ветра. Песок проносился маленькими облаками над нашими головами засыпая нам глаза, тогда так ноги наши положительно вязли в глубоких наносах. Пробивать себе дорогу стало невыносимо: лошади уходили в песок почти по живот. Мы принуждены были сойти на землю чтоб облегчить их; да и тогда они продолжали нырять в песке. Продолжалось это целых три версты. Поднимись тут на наше несчастье один из ураганов пустыни, все эти глыбы поднялись бы на нас и завалили бы нас футов на двадцать, так что не осталось бы никакого следа нашего существования.

Название этой местности, Адам-Крылган, придумано верно: в русском переводе оно значит "человеческая погибель".

Я однако заметил что даже здесь, как это ни кажется невозможным, все еще попадалась кое-какая растительность. Местами виднелся кустик саксаула, иногда даже в хорошем состоянии; по большей части они были почти совсем занесены и только несколько листочков виднелось из-под песка. В других местах, короткие жесткие стволы саксаулов с целою сетью длинных волокнистых корней растянувшихся на много аршин кругом были совершенно обнажены, по повимому палящие солнечные лучи нисколько не действуют на них — так крепко это растение. К счастью переезд этот не был продолжителен, иначе все наши лошади погибли бы от изнурения и голода.

Обезсиленная еще пред тем лошадь прошла несколько верст, затем споткнулась, зашаталась и тяжело [99] повалилась на песок. Мы скинули с нея седло и уздечку, частью разделили ея ношу по остальным лошадям, а частью и совсем бросили, и поехали дальше, оставляя ее издыхать на месте. Долгое время по наступлении темноты ехали мы все вперед, надеясь добраться до Алты-Кудука.

Наконец, признаки изнеможения наших лошадей побудили меня остановиться чтобы не пришлось на другой день продолжать путь пешком. Бедная животная должны были провести эту ночь без воды, потому что мы не имели возможности взять с собою достаточный запас, если бы даже предвидели что нам не удастся достать воды в Адам-Крылгане. Мы дали им вместо всякаго другаго корма жесткаго высохшаго чернаго хлеба, но томимыя жаждой оне даже не тронули его, и мы развьючив их пустили пастись по пустыне и собирать что они могли найти.

Никогда не мог я достаточно надивиться на свою маленькую верховую лошадь. Теперь был уже 25й день как она была в пустыне, везла меня с самага форта Перовскаго, пробегая иногда до 90 верст в день. Более половины этого времени ей не давалось никакого корма, а питалась она только тем что удавалось ей самой подобрать в пустыне, а между тем она вовсе не была еще в дурном положении. Бывало, бежит она с ранняго утра до солнечнаго захода покойною иноходью, а вечером еще пойдет, как ни в чем не бывало, в галоп, точно ее только-что привели с богатых сырдарьинских пастбищ. Это был чистокровный киргизский конь: светло-гнедой, почти даже песочнаго цвета; голова, уши, глаза и ноги у него были точь в точь как у арабской лошади, только шея и туловище были короче и тяжелее. Никогда не приходилось его связывать, он никогда не убегал. Он переплыл Аму и, казалось, чувствовал себя также дома в хивинских садах как и в пустыне, никогда не останавливаясь ни пред изгородью, ни пред канавой. Наконец он был у меня украден одним из освобожденных рабов Персиян. Теперь же это бедное животное не находило места от жажды и отказывалось от черных сухарей, которые я ему подносил.

Мы сами были не в лучшем положении: если бы мы и в состоянии были есть при мучившей нас жажде, то сухари не было бы возможности разгрызть, не вымочив их сперва в воде. Да и

вообще наши обстоятельства были не [100] блестящи. Кругом наверное рыскали Туркмены, колодец мы легко могли оставить в стороне, лошади были весьма ненадежны—еще две из них стали обнаруживать признаки такой усталости что становилось ясно что сил их станет не более как на один день; нерадостна была перспектива быть вынужденными плестись к реке пешком, и это, пожалуй, только затем чтобы попасться тем же Туркменам. Окружающий мрак и гробовая тишина пустыни, изредка лишь нарушаемая резким звуком какого-нибудь насекомого, наводили какое-то леденящее отчаяние на человека; все соединилось чтобы сделать эту ночь самой печальной и зловещею, какую только приходилось мне переживать.

После двухчасового переезда следующим утром мы стали различить вдали у горизонта сверкание штыков при восходившем солнце. Скоро можно было рассмотреть очертания двух пикетов, которые пристально за нами следили с песчаного холма, а через час и сами мы въехали на этот холм и увидели пред собой лагерь Алты-Кудук. Место это было песчанее и печальнее всего что я до сих пор видел, не исключая даже самого Адам-Крылгана.

Представьте себе широкую, неглубокую ложбину с несколькими колодцами и грудями наваленного фуража и багажа; затем низкий холмик, на котором установлено два шестифунтовых орудия; позади—другая ложбинка, в которой разставлены солдатские палатки; вдали все те же пески, раскинувшееся пластами и низкими кряжами по всем направлениям, образуя местами более возвышенные холмы, на которых разставлены на самом припеке сторожевые пикеты. Таков-то был Алты-Кудук, место где пришлось генералу Кауфману провести самый тяжелый период всей кампании, целую неделю, в течении которой он чуть было не подвергся тому же страшному несчастью которое постигло полковника Маркозова.

XVII. Радужный прием.

Было еще очень раннее утро когда я въехал в лагерь; никто из офицеров еще не вставал. Я сел на груды наваленного багажа и стал раздумывать о том какой-то меня здесь ожидает прием, не предвидя для себя ничего хорошаго, ждать мне пришлось не долго. Я просидел здесь не [101] более пяти минут как из соседней кибитки

высунулась голова молодого, полуодетого офицера и раздался крик: "Que, diable, faites-vous la? Entrez donc."

Приглашение это показалось мне весьма много обещающим, и я вошел в палатку с облеченным сердцем. Офицер оказался одним из тех кого я встретил в Хала-Ате, но которого бы я сам не узнал, так как выехал он отсюда на другой же день по моем приезде. Он также спешил за генералом Кауфманом, нагнал его на Алты-Кудуке и имел несчастье быть здесь оставленным. Он немедленно приказал заварить чай и предложил мне сухаго мяса и сухарей, на которые я накинулся с совершенным ожесточением, так как целыя сутки не ел и не пил. Это было все чем он в состоянии был меня угостить; даже этот кусок мяса был у него последним; но угощение было до такой степени радушно что я, ни мало не задумываясь, тут же со всем этим и покончил.

Этот офицер сообщил мне что генерал Кауфман ушел уже целых шесть дней и в настоящее время должен был находиться у реки; пожалуй, даже ему удалось и переправиться через нее. Известий о нем на Алты-Кудуке с самага его выхода не получалось никаких; здесь со дня на день ждали приказа выступать, так как верблюды, которых должны были сюда выслать из главнаго отряда, ежеминутно могли прибыть. Что же касается дороги, то она была теперь очень опасна — повсюду за арриергардом Кауфманскаго отряда должны были рыскать мародерския шайки Туркмен. Одному он мне никак не советовал ехать, а говорил что часть отряда оставленная на Алты-Кудуке должна выступить чрез день-другой и мне удобнее всего будет примкнуть к ним. Я ничего не ответил на это предложение, но подумал что долее мешкать мне было бы безумством: погоня за мной уже могла быть выслана, оставаться на месте было опаснее чем идти вперед.

Небольшая остановка однако была необходима чтобы дать вздохнуть лошадям. Я сам едва держался на ногах от усталости и клонящаго меня сна; мне наскоро приготовили постель, на которую я тут же бросился чтобы вздремнуть хоть один час.

Проснувшись, я несколько минут лежал с [102] полуоткрытыми глазами, стараясь сообразить где я обретался. Палатка в которой я лежал была очень велика, просторна и обита внутри тканями самых

ярких цветов, вырезанными каким-то причудливым образом. После я узнал что это была одна из палаток присланных генералу Кауфману эмиром, чем и объяснялась ее оригинальность. В первые минуты моего пробуждения когда я силился сообразить где я нахожусь и предо мной смутно воскресали картины из Тысячи и одной ночи, я был выведен из этой полудремоты вопросом на весьма хорошем английском языке:

— Ну, хорошо ли вы теперь отдохнули?

Я оглянулся: человек 8—10 офицеров окружили мою постель. Заговоривший со мной был барон Корф; тут же были Валуев, Федоров (несколько рисунков которого приложены при этой книге) и много других. Они все ждали моего пробуждения, чтобы приветствовать меня и предложить свое гостеприимство. Сошлись мы в несколько минут. Они пригласили меня завтракать с ними, но провизию для этого завтрака принуждены были доставлять в складчину: кто принес кусок сухих овощей, кто банку либиховского мясного экстракта, кто сухарей, сгущенное молоко, кофе, даже нашлась бутылка водки. И это было все что можно было достать в лагере из провизии; но приправлено это было таким радушием и гостеприимством, желание их оказать мне всевозможную дружбу и помощь казалось до того искренним что все это не могло меня не тронуть, особенно в те тяжелые времена, когда сам я был в таком горьком положении. Да и теперь я не переменил своего первоначального убеждения что офицеры эти были самыми славными мальчиками с которыми судьба сталкивала меня в жизни. Не веселы были и они, оставленные здесь в пустыне, когда не было уже в них почти и надежды добраться в Хиву вовремя, чтоб участвовать в ее занятии; но для настоящего случая все горькие мысли были откинута в сторону, и мы были не менее веселы над нашею одинокою бутылкой водки, чем если бы на ее месте стояла дюжина клико. Единственная забава их тут состояла в песне, которую они переделали с немецкого и которая начиналась словами: *In dem Alt-Kuduk, da ist mein Vaterland* пелась она напевом самым заунывным и ввели они в нее невероятное количество всяких вариантов.

[103] Но едва ли не лучше всего было то что они дали мне столько ячменя сколько мне было нужно для лошадей: а говоря

правду, дело мое приняло такой оборот что вся удача его зависела чуть ли не от четверика ячменя.

Вода на Алты-Кудуке была довольно хороша и в достаточном количестве, но мне все-таки пришлось испрашивать позволения брать ее для моих лошадей, так как здесь все еще были в силе относительно воды правила первых дней, когда ее было мало.

В этот день я был очень удивлен и даже обрадован, услышав крик петуха: чрезвычайно отрадным казался звук этот в пустыне. Сюда петух этот, как мне объяснили, перебрался из самого Ташкента, восседая очень комфортабельно на спине верблюда. Предназначенный сперва для кухни, петух этот обнаружил такая боевые наклонности и так налетел на повара генерала фон-Кауфмана что солдаты приняли его сторону и единогласно решили оставить его жить. Природное расположение его к бою до того всеми поощрялось что наконец он не стал давать проходу ни людям ни животным; я не раз потом и сам видел как этот петух нападал на собаку и всегда обращал ее в бегство.

XVIII. Прошел сквозь строй!

На следующий день около полудня я уже опять был в седле, направляясь все к тому же Оксусу. Офицеры употребляли все зависящая от них средства чтоб отговорить меня ехать дальше, уверяя что мне не миновать встречи с Туркменами. Но хотя я сам не был спокоен в этом отношении, да и Мустров не имел ни малейшаго понятия о предстоявшей дороге, оставаться на месте было мне еще страшнее. У меня было точно предчувствие что я оставляю за собой не меньшую опасность чем все те которыя мне могут грозить впереди; да и того я не мог упускать из вида что от полковника Веймарна не могло долго скрываться мое бегство, а с ним я ни в каком случай больше не желал иметь дела.

[104] Это предчувствие опасности оказалось чуть ли не пророчеством, так скоро оно оправдалось. Будучи уже в Хиве, я узнал что не прошло и нескольких часов после моего отъезда с Алты-Кудука, как туда прискакал офицер во главе 25ти казаков, с приказом арестовать меня, обезоружить и привезти назад в Ташкент. Сделал этот офицер около 900 верст почти не останавливаясь чтоб успеть задержать меня в пустыне. Он слышал обо мне от

проходящих караванов и от кочевников-Киргизов, меня встречавших; напал на мой след, потерял его, опять на него набрел по слухам, терял его еще много раз, загнал несколько лошадей и наконец доехал в Алты-Кудука... несколькими часами после моего отъезда. Тут над ним только посмеялись, уверяя его что я уже теперь нахожусь или у генерала Кауфмана, или среди шакалов — но всяком случае, вне его власти.

История эта весьма курьезная. Существует приказ — обсуждать который я здесь считаю излишним — запрещающей всем Европейцам, не русским подданным, вступать в Туркестанскую область. Запрещение это, по объяснению Русских, было вызвано тем что многие иностранцы подвергались несчастьям в бытность свою в Центральной Азии, а их родственники и друзья потом сваливали всю вину в этом на Русских. Так, например, двое Итальянцев, заехавших в Бухару, были брошены эмиром в темницу; хотя потом они и были выпущены оттуда единственно по настоянию Русских, грозивших в противном случае войною Бухаре, но возвратившись домой они стали говорить что самое заключение это устроено было Русскими. Словом, сколько ни было несчастных случаев с иностранцами в этих местах, они всегда слагали вину на Русских. Тогда было решено, во избежание дальнейших неприятностей, просто не пускать туда в настоящее время ни одного Европейца.

По правде говоря, когда меня еще в Казалинске хотели задержать на основании этого приказа, я сослался на то что я не Европейец, и только таким путем добился позволения ехать если не в Хиву, то хоть в Ташкент. Но едва только дошел слух о моем выезде из Перовскаго в Кизил-Кумы до какой-то официальной особы — в [105] Ташкенте или Самарканде, наверное не могу сказать — как эта особа сообразила что лучшего случая выказать свое усердие ей не дожидаться, и решила меня изловить и вернуть в Ташкент, по всей вероятности, в качестве шпиона. Тем временем разнеслась молва по всему краю о том что через Кизил-Кумы едет Американец в Хиву, а в погоню за ним выслано 25 казаков. Почти все Русские, за исключением официальной особы, принимали сторону Американца: "он молодец", говорили в Ташкенте, стыд и срам еще посылать за ним погоню, когда уж верно ему не весело приходится и от Туркмен". Прием мне предстоял в Ташкенте весьма хороший, в случае еслиб я был пойман и привезен туда. Пойман я однако не

был, а официальная особа была за все свои труды только поднята на смех. В другой раз, прежде чем действовать, я думаю, особа эта всломнит мудрое изречение Талейрана: "surtout, pas trop de zele".

Такова-то была грозившая мне опасность. Буду опять продолжать прерванный разказ о дальнейших моих похождениях.

Выехал я с Алты-Кудука 15го (27го) мая, надеясь добраться до реки, а следовательно и до генерала Кауфмана, в тот же день. Настоящее расстояние до реки было неизвестно, но я предполагал что оно не может быть более 75 и менее 45 верст; а так как генерал Кауфман захватил всего две из своих шести лодок, то я был почти уверен что переправиться он не успел, и не терял надежды застать его на этом еще берегу. Со спокойным сердцем выехал я на этот последний, казалось мне, переезд. Я, конечно, при этом не думал что всем моим тревогам настал конец. Далеко до того; я знал что наибольшая опасность еще предстоит впереди. За главным отрядом неминуемо должны разъезжать Туркмены: приходилось теперь избегать их или сражаться с ними. Но я полагался на то что счастливая звезда моя не изменит мне ни в одном из этих случаев.

Подвинувшись верст на шесть к югу, мы скоро выехали на широкую проезжую дорогу, ведущую от Адам-Крылгана к реке (путь которым проходил Вамбери переодетый дервишем); тут мы повернули на запад. Дорога была [106] широкая и следовать по ней было не трудно; да еслиб ее и совсем не было, то мы не могли бы сбиться со следа армии—трупы верблюдов, встречавшиеся на расстоянии нескольких саженей один от другаго, послужили бы достаточным указанием. Даже ночью одно обоняние наше вывело бы вас на верную дорогу без содействия других чувств. Песок был так глубок что лошади безпрестанно уходили в него по колена. Местами еще виднелись следы проезжавших пушек, казалось, оне совсем зарывались в этот сыпучий песок; когда мне потом говорили что в каждое орудие было впряжено всего по восьми лошадей, я этому не хотел верить. Характеристическая черты пустыни в этих местах были те же что и в остальной части Кизил-Кум: волнистыя груды песка, поросшия редкими саксаулами и жиденьюкою буроватою травкой.

После двухчасового переезда мы стали наезжать на трупы лошадей, в которых не трудно было узнать туркменских красавцев-коней: как видно, здесь уже были пущены в дело винтовки русских стрелков. Отсюда до самой реки не переставали нам попадаться эти лошадиные трупы, показывая что битва на ходу не прекращалась в продолжение всего этого перехода. Как потом оказалось, мне и самому бы никак не избежать туркменских лап, еслиб я предпринял этот переезд двумя днями раньше, когда многия сотни этих хищников рыскали вокруг армии. Из этого можно заключить как еще неверны были шансы на благополучный исход моего дела даже и тогда когда мне посчастливилось ускользнуть от казаков. У многих убитых коней порублены были хвосты, так как лошадиный хвост служит у Туркмен доказательством что конь убит на службе хана, который и обязан вознаградить эту потерю деньгами. Теперь мы подвигались вперед очень осторожно, осматривая местность с вершины каждого холма, чтобы не наткнуться на одну из туркменских шаек.

Около пяти часов пополудни мы доехали до места где пустыня разом меняла свой характер, и вместо волнистых дюн, которыми все время приходилось ехать, мы тут увидали пред собою низкую гладкую равнину, спускающуюся еще более низкою террасой. Вдали в эту равнину [107] вдавался высокий кряж, оканчивавшаяся с нашей стороны несколькими холмами. Это были горы Учъ-Учак, у берегов Оксуса.

Мы все погоняем своих измученных лошадей: во что бы то ни стало, а нам надо доехать до реки в этот же день, так как у нас нет с собой ни воды, ни провизии, кроме сухарей. Солнце спускается все ниже и ниже к горизонту, висит над ним красным шаром, образуя длиннейшия тени от наших фигур, наконец закатывается совсем. На западном склоне неба разноцветным пламенем заблестел солнечный отсвет и под ним-то мы различаем блеск воды.

Наконец-то Оксус!

Когда генерал фон-Кауфман дошел до этого места и увидел давно желанную воду, он снял фуражку и набожно перекрестился, как и все офицеры его штаба; солдаты же подняли такой радостный крик какого уж верно еще никогда не раздавалось в этих краях.

Доезжаем мы до воды только долго спустя после того как стемнело. Украдкою поим мы лошадей, мочим свои сухари и тихо удаляемся опять в песчанья дюны в ожидании разсвета.

Что суждено нам увидеть по утру? Белые кителя Русских или высокие черныя шапки Туркмен? Огонь засветить мы боимся, но осторожно сходим с лошадей в маленькой лощинке, и бросаемся на песок, каждый привязав к себе своего коня.

Наступает день; мы поднимаемся со своей песчаной постели и осторожно осматриваемся. Оказывается что мы совсем еще и не на реке, а на краю поросшаго тростником болота, у самага подножия Учъ-Учака. Кругом не видать ни Русских, ни Хивинцев. Из живых существ только и виднеется что белая лошадь вдали, на горном склоне, да и та, завидя нас, живо проскакивает на вершину и исчезает за ней.

При солнечном восходе мы добираемся до вершины горы; отсюда я впервые, 16го (28го) мая, увидел Оксус.

Широкий и спокойный раскинулся он у моих ног, разстилаясь далеко на юг и на север промежь желтых песков что раскинулись кругом на необозримое пространство; [108] воды его, окаймленные зеленью, блистали как кристаллы на утреннем солнце. Любуясь с каким-то упоением на его подернутыя зыбью воды, я забыл обо всем — о Кауфмане, о Туркменах, о самой цели своего путешествия. С трудом заставил я себя поверить своим глазам что предо мною действительно лежит тот мощный поток который раскидывается от самых гор Индии до Аральскаго моря, на берегах котораго разыгрывалось столько исторических событий, начиная с древнейших времен человечества. Но еще страннее было думать о том как не многие видели эту реку, и как не многие из дошедших до нея возвратились живыми.

Возвышенности или горы Учъ-Учака едва ли выше 500 футов. Тут возвышаются несколько маленьких остроконечных вершин, песчаной формации, заключающих между собой маленькую кратерообразную ложбинку около полуверсты в поперечнике и напоминающую собою высохшее озеро. Мне даже казалось что я

могу различить у отвесных почти берегов следы прежнего водяного уровня. Однако, присутствие здесь озера вещь едва ли правдоподобная, так как место выше всей окружающей долины.

Но где же генерал Кауфман? Я осматриваю местность в зрительную трубу по всем направлениям. Видеть я могу верст на тридцать вверх и вниз по реке и далеко по другую ее сторону, где светятся те же желтые голые пески, но нигде не видать никаких следов армии, ни палатки, ни кибитки, ни какого человеческого жилища. А между тем Русские здесь были, так как следы проезжавших пушек пролегли у самого подножия горы. Но куда же могли они уйти? Под влиянием какого-то бессознательного ужаса я быстро съехал с горы к воде. Тут лежал истлевший пепел многих костров—вот и все.

ХІХ. Ночь у Оксуса.

Это был уже 29й день моей погони за генералом Кауфманом, а из Перовскаго я выехал в полном убеждении что догоню его через пять дней. Я надеялся застать его у колодцев Мин-Булак, в горах Букан-Тау, но не доехав еще до этого пункта, услышал что его там нет и не будет. Все [109] время с тех пор, за исключением нескольких дней, проведенных на Хала-Ате, я был на поисках за ним, надеясь добраться до него с каждым наступающим днем. Хорошо я понял этим временем как тяжелы бывают обманутыя ожидания.

Наконец добрался я до Оксуса, где ни на минуту не сомневался что застаю армию; но и тут ожидало меня обычное разочарование. Неужели же я никогда ее не разыщу? Воображению моему, возбужденному безконечными странствованиями по этой дикой местности при вечных неудачах, сам генерал Кауфман стал наконец представляться каким-то мифом; минутами я даже ожидал что вот-вот проснусь я в одной из гостиниц Парижа и в конце концов окажется что и Хивинская экспедиция, и мои собственные странные приключения были не более как долгий, тяжелый сон.

Но нет; вот еще лежат груды пепла от лагерных костров и виднеются колеи проложенныя проезжавшими пушками. Русские не могли быть далеко отсюда. Но нельзя было различить никаких признаков переправы войска через реку в этом месте, и нечего было делать как только идти по видневшимся следам.

Я въехал на лошади в реку, захватил горсть воды и попробовал ее: она была мутна, но вкусна. Река в этом месте была сажень около 500 ширины. С обеих сторон окаймлена она полоской зелени местами в несколько сажен, а местами в целую версту шириною. За эту полосу разстилались опять пески. У берегов было много травы и кустарников, и мы решились остановиться здесь пить чай, так как в течение последних суток мы питались одним хлебом и водой.

Затем опять на коней, опять вперед на поиски. Украдкою въезжаем мы на все холмы, пользуемся каждым удобным местом для тщательного осмотра в зрительную трубу окружающей местности, решившись обезопасить себе хоть тот шанс чтобы первым увидеть врага, если судьба сведет нас с ним.

Следы шли по правому берегу реки, направляясь в сторону Аральского моря; они то виднелись у самой окраины воды, то поднимались на возвышенности, доходившие местами до 100 футов вышины, и тянулись по их склонам. [110] Целый день этот у нас проходит в пристальном следовании по колеям пушек, в ежеминутном ожидании выехать к арриергарду — и целый день длится та же неизвестность.

В одном месте, проезжая самым берегом, по дороге у подножия одной из возвышенностей, мы были страшно перепуганы верблюдом, упавшим с утесов на дорогу, прямо перед нами, с перешибленной шеей и ногами. Первой мыслью было что животное это свалено на нас Туркменами, и что за ним немедленно последует град пуль. Схватываем оружие и с минуту стоим в оцепении, с ужасом ожидая нападения. Но тишина не нарушается ничем, не раздастся ни одного выстрела, наконец, решаюсь тронуться с места, мы подъезжаем к верблюду и видим что он слеп, следовательно свалился сам. Встречать этих верблюдов, брошенных Русскими в пустыне, для нас стало уже делом привычным. Мои люди не раз даже ловили их, пробуя извлечь из них какую-нибудь пользу при перевозке багажа, чтобы дать несколько отдохнуть лошадям; но толку из этого не вышло никакого, никогда не удавалось заставить такого верблюда пройти более часа. Когда верблюд полагает что он прошел достаточно далеко, то никакими силами невозможно принудить его идти дальше.

Внезапно наезжаем мы затем на пять всадников, опускающихся с одного из холмов, и опять схватываемся за оружие. Они же стремглав бросаются в воду, переплывают на другую сторону и скачут по направлению к Хиве. Судя по их поспешному бегству, я заключаю что у них не может быть подкрепления по близости, и даю по ним два-три выстрела из своей винтовки, но без успеха. Несколько времени спустя, проводник, однако, рассмотрел в зрительную трубу группу из 15ти или 20ти человек, по всей вероятности, Хивинцев, расположившихся у реки. Так как они значительно превышают нас числом, то мы считаем за лучшее не беспокоить их своим появлением. Они остановились внизу у воды, а мы находимся на возвышенности, откуда легко их рассмотреть, не привлекая тотчас их внимания; мы поспешно въезжаем в пески, делаем большой объезд и осторожно сворачиваем опять к реке в нескольких верстах ниже.

[111] После полудня выезжаем на поля превосходной пшеницы и клевера, лошади наши с жадностью накидываются на этот богатый корм, впервые попавшийся после месячного поста. Скоро мы различаем что-то в роде, людских жилищ по ту сторону реки; но пески все еще очень близко подходят к берегу с обеих сторон. Под вечер показываются на той стороне, несколько всадников и, как видно, пристально за нами следят; но тут наступает темнота и они ступшеваются в неясных очертаниях противоположного берега. Все подергивается мраком, одна река еще белеется в своем течении.

От армии теперь только и следов что истлевшиеся кости. Мы и в темноте едва слышно пробираемся вперед. Нервы наши до невероятия напряжены этим вечным ожиданием, да и положение наше делается чрезвычайно критическим. Нас два раза уже видели с противоположной стороны, незначительное наше число конечно было замечено; Хивинцам ничего не стоило переправиться через реку, а, догнать нас на их быстроногих конях было бы для них простою забавой. С каждым шагом ожидаем мы увидеть отблеск костров отряда или услышать крик „кто идет?“ русских часовых. Дорога поднимается высоко над рекой. Черная грозовая туча собралась на западе и свесилась над Хивой. Из тучи вырывается молния, на минуту освещая реку, протекающую внизу, и придавая еще более зловещий характер наступающей затем опять темноте. Раз мне кажется что далеко впереди мелькнул огонь; останавлива-

емся, ждем, не покажется ли он опять, но ничего более не можем различить и продолжаем идти, приписывая это действию моего напряженного воображения. Одиннадцать часов. Наши усталые лошади сделали верст 70 с утра, и я решаюсь остановиться. Сворачиваем к реке, поим лошадей и располагаемся ждать разсвета.

Я пробую поставить одного из своих людей часовым на время этой остановки; но хотя они вполне понимают грозящую нам опасность, тем не менее перспектива провести бессонную ночь так им противна что я ясно вижу что принуждать их к тому бесполезно — все равно они заснут тогда на месте — и я решаюсь сам сторожить эту ночь.

Через пять минут они все спят мертвым сном, привязав лошадей к своим рукам, и я остаюсь один [112] слушать тихое журчание воды. Целую ночь, до самого разсвета, расхаживаю я взад и вперед, так как сон клонит меня до такой степени что я боюсь присесть хотя бы на минуту. Небо покрылось тучами; темнота непроглядная, едва можно различить что-нибудь в двух шагах пред собою. Целую ночь длится моя печальная прогулка, всю ночь напролет прислушиваюсь я к ропоту протекающей воды, в котором, кажется мне, слышится иногда что-то похожее на человеческие речи. Минутами сверкает молния, освещает спустившиеся облака, широкую реку, высокие крутизны и белые лица моих людей и стоящих над ними усталых лошадей с понуренными головами, и затем опять наступает темнота еще непрогляднее, еще зловещее прежнего.

С разсветом мы опять пускаемся в путь, и подвинувшись на версту вперед, подходим к тлеющему еще костру. Ясно что я не ошибся увидав отблеск огня прошлую ночью в этой стороне. Русский или хивинский это костер? Если русский, то развести его мог только караул, и в таком случае армия была бы еще в виду. Очевидно, костер хивинский; я не ошибся, заметив, мелькнувший огонь, и мы остановились прошлую ночью как раз вовремя, не успев наткнуться на самый лагерь Туркмен.

Каких-нибудь полчаса по восходе солнечном как электрический удар до нас внезапно доносится звук выстрела. За первым следует

еще несколько, с короткими, но правильными промежуткамм, раскатываясь громом по речной долине.

Это грохот пушек!

XX. „Un mauvais quart d'heure“.

Наконец-то мы действительно дошли до Русских. Но тут же, как видно, были и Туркмены, так что теперь-то наступал самый критический момент всего нашего путешествия. Грохот пушек все продолжался; битва, повидимому, завязалась. Для меня теперь вся задача состоит в том чтобы различить положение сражающихся сторон и увернуться от Туркмен.

Река в этом месте делала загиб влево, тогда как пушечная пальба слышалась прямо впереди нас. Я решился [113] оставить реку в стороне и ехать к месту схватки. Принудить к тому моих людей оказалось делом нелегким: они были страшно перепуганы, и по какой-то необъяснимой причине желали держаться воды. Мне стоило даже большого труда уговорить одного из них подняться со мной на вершину маленького холма чтобы попытаться определить положение сражающихся сторон. Безопасность наша была более чем сомнительна; Туркмены могли стать между нами и Русскими, и в таком случае из нашего положения не было исхода. Пальба все продолжалась, как казалось, на расстоянии верст семи от нас.

Взбираемся на вершину первой возвышенности, осторожно осматриваемся, но не видим ничего: на расстоянии еще версты пред нами лежит другой холм, заслоняющий от нас вид на дальнейшую местность. До тех пор, однако, дорога открыта. Мы уже собираемся ехать дальше, когда вдруг видим пять верховых мчатся вверх на холм, но, завидя нас, бросаются в сторону реки и исчезают. Это становится тревожным. Мы погоняем лошадей изо всех сил, но песок так глубок, а бедные животные так измучены что их невозможно поднять и в рысь. Пальба внезапно прекращается. Мы въезжаем на следующей холм, поросший мелкими саксаулами, и опять выглядываем из-за его вершины. То что представляется нашим глазам предвещает на этот раз весьма близкий кризис.

На расстоянии трех верст подвигается в нашу сторону по дороге около сотни всадников; растянулись они чуть ли ни на целую

версту в длину. Я не вижу еще людей, но Мустров уверяет что он может различить передовых, и что, судя по костюму, они должны быть или Киргизы, или Туркмены—разобрать он верно не может—но что это никак не Русские. Вести плохия. Киргизы, конечно, были бы друзьями, но если это Туркмены, игра наша была проиграна. В таком случае пред нами было три исхода, но все почти недостижимые. Вернуться назад к Алты-Кудуку; сделать объезд верст в 15—20 песками, обогнуть врага и проехать дальше; или же наконец, спрятаться до ночи, а тогда пробраться чрез его ряды. Слабость наших лошадей не позволяла нам и думать о первых двух исходах оставалось одно — спрятаться; но вблизи, кроме маленьких [114] бугров не видать было ничего. По всем вероятиям нас успеют открыть до наступления темноты.

Пальба прекратилась, так что мы не можем судить ни о разстоянии от армии, ни об ее настоящем положении. Мы остаемся в песках выжидая событий. Вдруг двое всадников отделяются от конной линии и скачут в нашу сторону, будто приметив что-то подозрительное в нашем направлении и подъезжая это исследовать. Дело подвигается к развязке. Отступление невозможно; да на три-четыре версты кругом нет прикрытия достаточного чтобы скрыть кролика, не только что нас с лошадьми. Я приказываю людям держать оружие наготове. Все они хорошо вооружены, при них имеются два револьвера, два двуствольных ружья заряжающихся с казенной части и четыре простых охотничьих ружья. Беда только в том что ни один из них не может попасть в цель дальше чем на разстоянии десяти футов, да кроме того, вовсе нельзя было поручиться что они не струсят в решительную минуту и не бросятся бежать. Я же думаю подпустить двух Туркмен на разстояние нескольких сажень, дать по ним верный выстрел, подожить их на месте и постараться завладеть лошадьми; с одной хорошей лошадью я еще могу рискнуть добраться до Русских. Попытка, конечно, отчаянная, так как на нас набросятся все остальные Туркмены, лишь только заслышат выстрелы, и тогда.... но составлять дальнейшие планы действий мне уже было некогда.

Разстояние между нами и двумя Туркменами всего сажень в двадцать; они подвигаются теперь шагом, весьма осторожно, будто чуя присутствие врага. Я оглядываюсь на своих людей, стараясь определить могу ли я на кого из них разчитывать. Старый Ак-

Маматов смотрел вперед каким-то тупым взглядом, точно дело это совсем до него и не касается; самая жизнь, видно, ему опостылела с тех пор как я загнал его в такую даль, а теперь и смерть казалась ему чуть ли не лучше каторжной жизни последнего времени. Мустров был взволнован. Единственный из них кто казалось готов был за себя постоять, это молодой Киргиз.

Пушечная пальба возобновилась. Я лежу в кустарнике взведя уже курок ружья и ежеминутно спрашиваю Мустрова, уверен ли он что это Туркмены. Он все кивает [115] утвердительно головой, пока они не подъезжают сажень на десять, я готовлюсь уже спустить курок, но тут мой Мустров стремительно вскакивает, бросает шапку вверх а издает дикий крик, не помня себя от радости. Он распознал не только Киргиза, но еще своего знакомого. У меня самого как камень сваливается с плеч в то время как мы все пожимаем руку подъехавшим всадникам.

Киргизы эти оказываются джигитами русской армии возвращающимися в Хала-Ату. Они сообщают нам что Русские в настоящее время верстах в пяти дальше бомбардируют неприятельское укрепление, стоящее на противоположном берегу, и что все Хивинцы отогнаны на ту сторону. Мы вскакиваем, ни мало не медля, на коней и бросаемся вперед. Через полчаса мы были на маленькой возвышенности у самого речного берега, откуда открывался обширный вид на окружающую долину.

Ширина Оксуса здесь более версты. Когда я остановился в виду места действия, противоположный берег был усыпан всадниками, скачущими из стороны в сторону, тогда как у самой воды, пред маленькою крепостцой с бойницами для ружей, две пушки производили почти непрерывные выстрелы. Бросив взгляд вниз по реке с нашей стороны, я увидел и Русских, в полуверсте от себя; они также разсыпалась по берегу, спокойно наблюдая за действием двух шестифунтовых орудий, метавших гранаты. Мы затаили повод и стали следить за битвой. Противоположный берег возвышался футов пятьдесят над водою, тогда как наша сторона была низкая и совершенно ровная. Казалось что неприятель огорождался еще земляными валами с этой стороны. В последствии однако ж эти валы оказались высокими берегами канала Шейх-арыка. На них-то возвели Хивинцы укрепление для предотвращения переправы

русских войск. За укреплением виднелось много зелени; отсюда, собственно, и начинаются хивинские сады; до этого места, за исключением тех немногих полей пшеницы и клевера которыми мы ехали, речные берега были невозделаны; теперь же, немного ниже по речному берегу с нашей стороны, где были Русские, я мог различить богатые зеленые луга и волнующиеся нивы.

Хивинская артиллерия действовала почти так же быстро как и русская, и я с удивлением увидел что ядра их [116] не только не падали в воду, но казалось, врезывались в землю среди самих Русских. Хотя на этом расстоянии я и не мог судить об их действии, но как я после узнал, некоторые из них проносились еще на четверть версты дальше. Действие русских гранат было весьма очевидно, так как оне взрывали землю по всем направлениям. Хивинцы еще держались очень хорошо, если принять во внимание что у них были одни массивные ядра вместо гранат. Перестрелка эта продолжалась около часа. Русские гранаты бороздили кругом землю без остановки, и два хивинские орудия на берегу все еще продолжали действовать.

Сцена была чрезвычайно оживленная, и я думаю что старому Оксусу никогда еще не приводились слушать такой музыки. Пять раз со времен Петра Великого порывались Русские добраться до этого места, и все пять раз безуспешно. Пять раз приходилось им отступать изнемогая от трудности похода, суровости климата или предательства Хивинцев; единственный отряд которому удалось занять Хиву, был потом перерезан весь до последнего человека. Наконец-то опять в этот ясный майский день стояли Русские на берегах древней исторической реки, лицом к лицу со старым своим врагом.

Что касается меня, то я следил, сидя на коне, за развитием действий со всепоглощающим вниманием. Сознание побежденных препятствий, прошлых опасностей, пришедшая к концу тридцатидневная погоня за армией и наконец возбуждающее действие сцены раскрывшейся предо мною, всего этого было слишком достаточно чтобы привести военного корреспондента в блаженнейшее настроение духа. Да к тому же я не мог не сознать до какой невероятной степени судьба мне благоприятствовала. Если от меня зависел выбор времени прибытия моего в армию, я бы,

кажется, сам не нашел более благоприятной минуты. Вдруг граната, разорвавшаяся на противоположной стороне в среде туркменской конницы, произвела там величайшую панику и смятение. Началось бегство во все стороны, подвели лошадей и поспешно отвезли орудия от воды, а еще через несколько минут уже не было видно на неприятельской стороне ни одной живой души. Так кончилось сражение при Шейх-арыке.

[117] XXI. Наконец -то!

Я поскакал теперь по берегу в сторону Русских; перескочив и переправившись через великое множество канав и каналов, которыми долина была изрезана по всем направлениям, я наконец приблизился к месту занятому их орудиями.

Когда я подъехал на довольно близкое расстояние, до меня донесся крик выезжавшего ко мне офицера.

— Вы кто?

— Американец!, отвечаю я.

— Тот самый что переехал один через Кизил-Кумы? спросил он, когда мы встретились.

— Я отвечал утвердительно.

— Хорошо. Пойдемте, я представлю вас генералу. Мы слышали уже несколько дней тому назад что вы едете к нам.

Я сошел с лошади и меня подвели к генералу Головачеву, который сидел тут же на пушке, покуривая папироску. Подле него стояло еще орудие снятое с передка, а, неподалеку лежали две убитые лошади — единственная потеря понесенная здесь Русскими, как я после узнал: хотя земля была взрыта по всем направлениям неприятельскими ядрами, ни один человек не был ранен. А будь у Хивинцев вместо ядер гранаты, Русские, конечно, потерпели бы немалый урон.

Генерал Головачев, высокий, широкоплечий мужчина с длинными бакенбардами и открытым приятным выражением лица,

приветливо пожал мне руку, заметил что я совершил переезд весьма отважный и пригласил меня тут же завтракать.

Должно-быть по всей фигуре моей видно было что в завтраке я сильно нуждался. Со впалыми глазами и щеками, грязный, пыльный, неумытый и оборванный — винтовка, которую я носил в течении целого месяца на ремне через плечо истерла мне все платье — я представлял своею фигурой совершенное пятно в среде щеголей Русских в их белых кителях и фуражках, с золотыми и серебряными пуговицами, которые все смотрели такими чистыми и вылощенными, будто они выехали на парад на Исакиевскую площадь.

[118] Завтрак состоял из холодного вареного мяса, холодного цыпленка, коробки сардинок и бутылки водки, разставленных на белой скатерти, разостланной на густой зеленой траве.

Головачев.

Офицеры встретили меня очень дружелюбно, выказывали не малое любопытство относительно пережитого мною времени в Кизил-Кумах и дивились как мог я решиться один предпринять такой безумный переезд. По их словам, было сто шансов против одного что я погибну; они описывали такими живыми красками все опасности которых я избежал что мне не шутя стало жутко. Чувство мое в эту минуту могло бы сравниться с чувством человека которому говорят что он одолел громадную, разяренную львицу, тогда как сам он до тех пор думал что убил только крупного волка.

После утреннего дела все были в самом веселом настроении духа; благоприятнее этого времени мне трудно было бы найти для своего приезда: тяжелый, почти невозможный переход был совершен, а интересная часть кампании только-что начиналась.

Во время завтрака Головачеву донесли что часть неприятеля вернулась и поджигает в настоящую минуту большой каюк, стоящий внизу, у форта. Стрелки уж опять принялись за дело, стараясь отеснить Хивинцев, что им вполне и удалось, прежде нежели огонь успел хорошо разгореться. Немедленно переправлен был на ту сторону один офицер топограф с двадцатью солдатами с

приказанием забрать горящий каюк и наскоро сделать очерк реки и окружающей местности. Часа через два-три офицер вернулся с хивинским каюком, который оказался весьма мало поврежденным.

Тем временем я узнал что я тут настиг только небольшую колонну, высланную из главного отряда для занятия хивинского укрепления. Главная же квартира с остальной частью армии расположилась верстах в семи еще дальше вниз по реке.

Головачев не стал занимать брошенное неприятелем укрепление, а отдал приказ идти обратно в лагерь, так как Кауфман предполагал переправляться через реку не в этом месте, а под Шураханой. Все же дело этого утра имело целью обеспечить проход нескольким каюкам захваченным у Учъ-Учака. Битва, собственно говоря, [119] началась еще накануне вечером, когда генерал фон-Кауфман проезжал по речному берегу, посматривая, не видать ли каюков, и беспокоясь, какая причина могла их задержать. Когда он проезжал этим местом, неприятель самым неожиданным образом открыл по нем огонь; до тех пор даже и не предполагалось присутствия укрепления на этом пункте. Стрельба была так правильна что пушечные ядра падали как раз среди штаба. Теперь каюки уже успели прибыть, а так как неприятель больше не показывался, то мы поехали в лагерь, с тем чтобы переправиться через реку на следующее утро. По приезде в лагерь я принял приглашение офицера который первый меня встретил в этот день, и расположился у него. Это был Чертков, оказавшийся старым приятелем моего спутника до Перовска, мистера Скайлера.

Первым делом моим, конечно, было представиться генералу фон-Кауфману. Я застал его за чаем в открытой палатке; одет он был в бухарский халат и курил папиросу. Это был человек лет 46 — 50, лысый и небольшого роста сравнительно с обыкновенным ростом Русских; он носил одни усы, в голубых глазах его светилась веселость и добродушие. Пожав мне руку, он пригласил меня садиться, и начал разговор заявлением что я „молодец“, опрашивая понятно ли мне значение этого слова. После нескольких вопросов касательно моих приключений, он сообщил о ходе кампании до этого времени— разказ который я сообщу читателю в следующей главе. Позволение сопровождать армию в дальнейшем ея

следовании к Хиве он дал мне тут же, и без всякаго, по-видимому, колебания.

От главнокомандующего я отправился к Великому Князю Николаю Константиновичу, который устроился тут в глиняном домике. Од также принял меня самым приветливым образом.

Затем возвратился я в палатку Черткова, и в первый раз за эти два месяца уснул спокойно.

С этого дня, вплоть до окончания Хивинской кампании, и после того, во время экспедиции против Туркмен, я был при русской армии. Здесь должен я сказать несколько слов о доброте с которой ко мне относились со всех сторон. По приезде моем к армии я был в [120] бедственном положении. Со мной не было никакой провизии, даже не осталось у меня ни чаю, ни сахару — этой необходимой поддержки людей в пустыне — но этого недостатка я и не почувствовал. Правда, никогда еще не был я так близок к гибели от голодной смерти как в первые три дня по прибытии моем в русскую армию; но происходило это частью от того что я уже был ослаблен продолжительным переездом во время котораго мне вечно приходилось быть впроголодь, главная же причина была та что и ни у кого не имелось провизии. Прежние запасы все были потрачены, а новаго подвоза из-за реки еще не было. Некоторое время никому из нас нечего было есть, и мы эти дни с радостию набросились бы и на черные сухари которые казались мне прежде такую невозможную пищу. Убили несколько лошадей, но их стало не надолго, а многих нельзя было употребить на еду. Это было первым случаем когда мне пришлось отведать конины; она показалась мне превкусною, жаль было только что ея нельзя было достать побольше.

Но с тех пор как у Русских опять появились съестные припасы, мне ни разу не случалось пройти мимо какой бы то ни было палатки где они ели или пили без того чтобы меня не пригласили присоединиться к ним. Начиная с Великаго Князя и кончая самым незначительным офицером в отряде—в этом отношении все были одинаковы. Раз двадцать в день сыпались на меня со всех сторон приглашения закусить или пить чай. До самага нашего прибытия в Хиву мне ни разу не представилось случая заставить моих людей готовить что-нибудь для меня, все это время я жил на счет русских

офицеров. И теперь, в ту минуту как я пишу эти строки, сердце мое переполняется благодарности при воспоминании об их широком гостеприимстве. Я рад воспользоваться настоящим случаем чтобы выразить им свою признательность; поблагодарить не только тех с которыми я сошелся потом на самую короткую ногу, но и многих других, которых я даже не знаю по фамилиям, хотя доброту и щедрость их я испытал на себе, а дружеския их лица никогда не изгладятся из моей памяти.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПАДЕНИЕ ХИВЫ.

[121] I. Поход генерала Кауфмана от Ташкента.

Теперь пора приступить к разказу о походе отряда генерала фон-Кауфмана от Ташкента.

Состав его отряда был следуюшдй: одиннадцать рот пехоты— 1.650 человек, одна рота сапер, полбатареи или, иначе говоря, четыре конных артиллерийских орудия, шесть орудий пешей артиллерии заряжающихся с казенной части, все новейших систем, полбатареи горных орудй, полторы батареи ракет и 600 казаков; всего около 2.500 человек. Отряд этот вышел из Ташкента 3го (15го) марта.

В состав обоза входило от трех до четырех тысяч верблюдов, нанятых у Киргизов по 12 руб. в месяц, с тем условием что за каждого павшаго дорогой верблюда заплачено будет по 50 рублей. Все силы отряда собрались к 13му (25му) марта на Джизаке, откуда часть войск и выступила в тот же день.

До колодезей Аристан-бель-Кудук поход генерала фон-Кауфмана не представлял ничего замечательнаго. Холода и даже морозы, настигшие отряд в течение перваго периода похода, были тем более нестерпимы что во многих местах не находилось никакого топлива. Страдания людей за это время доходили до крайней степени; но быстро наступившее тепло скоро исправило ход дела.

1го (13го) апреля они достигли Аристан-бель-Кудука.

Здесь-то решился Кауфман изменить свой маршрут и идти на Хала-Ату вместо предположенного сперва следования на горы Букан-Тау. Сообразно с этим решением, Казалинской колонне послан был приказ идти на соединение с Туркестанским отрядом к этому новому пункту, вместо того чтобы ждать его у Мин-Булака.

Казалинская колонна, о которой теперь приходится говорить, состояла из восьмисот человек пехоты, полбатареи [122] горных орудий, полбатареи ракет, двух картечных и 150 казаков, всего около 1.400 человек. Выступила она из Казалы, или форта № 1й, 11го марта и должна была, как я уже заметил, сойтись с Туркестанским отрядом верстах 180 от Аму-Дарьи, в горах Букан-Тау. Войска этой колонны уже дошли до этого пункта когда пришло приказание идти на соединение с главным отрядом на Хала-Ату.

Это изменение пути кажется мне большою ошибкой. Хотя для Туркестанского отряда дорога на Хала-Ату была самою лучшей и короткой, для Казалинской колонны она далеко не представляла тех же удобств. В Букали эта последняя находилась всего во 180 верстах от реки. Это было в самом начале апреля: погода стояла еще прохладная, на предстоявшем им пути было несколько колодезей, и воду пришлось бы перевозить наполовине этого расстояния. До реки же этим путем могли дойти в 10 дней, ровно за целый месяц раньше того времени когда они действительно подошли к ее берегам. Вместо того пришлось потратить две недели на обратное движение, для того только чтоб очутиться на таком же расстоянии от реки как в Букали. Две же недели пошли на поджидание Казалинской колонны. А потерянное таким образом время было бы самым благоприятным для перехода, так как сильные жары, которые так мучили потом отряд, в начале апреля еще не наступали; погода была даже прохладная.

В то время когда решено было изменение маршрута, всего лучше было бы идти со всевозможною поспешностью к реке, оставляя Казалинскую колонну следовать по дороге сперва для нея намеченной.

Кауфман

Генерал Кауфман не решился однако подвергнуть войска такому риску. Он думал что Казалинская колонна слишком слаба чтобы допустить ее одну до встречи с неприятелем; хотя, как потом оказалось, мнение это и было ошибочно, но подобнаго опасения было весьма достаточно чтобы воздержать благоразумнаго генерала от риска.

До Хала-Аты Кауфман дошел 24го апреля (6го мая) и в тот же день совершилось соединение колонн.

Здесь соединенный отряд провел несколько дней пока был исследован предстоящий путь и определено [123] положение колодцев и количество воды на которую можно было разчитывать при дальнейшем следовании.

Тут-то произошла схватка с Туркменами той маленькой рекогносцировочной партии, высланной из Хала-Аты по направлению к Адам-Крылгану, к которой принадлежал полковник Иванов. Об этом деле я говорил уже в одной из предыдущих глав. Когда неприятель был оттеснен от Адам-Крылгана и было вырыто достаточное количество колодцев для снабжения водою всей армии, то 30го апреля (12го мая) к этому месту выступил и весь отряд, оставив небольшой гарнизон в Хала-Ате.

Адам-Крылган был последним пунктом пред рекой на котором могла быть добыта вода. Начались приготовления для ускореннаго перехода к Аму-Дарье; настоящее расстояние до нея никому не было известно, но думали что дойти до нея можно будет в два, много в три дня. По этому разчету захвачен был запас воды достаточный на три дня, и в три часа утра 2го (14го) мая вышли с Адам-Крылгана.

Но надеждам их на скорое достижение реки не суждено было сбыться.

Жары стояли невыносимыя. Верблюды, обезсиленные долгим переходом от Ташкента и недостаток корма но все это время, сделались почти ни на что негодными. Они не только не в состоянии были нести 600 фунтов клажи — обыкновенный выюк верблюда — но большая часть их теперь поднимали всего 300 фунтов и даже менее того.

Авангард, по обыкновению, сделал привал в 8 часов утра, подвинувшись на 21 версту от Хала-Аты. Арриергард, по заведенному порядку, должен был подойти туда же часам к десяти; вся армия должна была простоять на месте до трех или четырех часов пополудни и идти дальше когда спадет жара. Но в этот день, вследствие слабости верблюдов, арриергард подошел только к десяти часам вечера. Много верблюдов брошено было на дороге и вьюки их разделены были между другими, которые таким образом были слишком обременены. Вместо 40 верст, как предполагалось, войска сделали всего 20, к тому же еще оказалось что воды почти не оставалось из захваченного запаса.

Невозможность идти дальше по неизвестной безводной [124] пустыне была очевидна; правда, переход до реки мог предстоять всего в 45 верст, но мог он также легко быть и в целых полтораста. Малейшее обратное движение могло послужить сигналом к возманию всего враждебного Русским населения Центральной Азии; оставаться же на месте и выслать верблюдов назад за водой было невысказано. Отряд не имел никакой возможности идти вперед и не смел отступить. Одного дня оказалось достаточным чтобы перейти от смелой уверенности к полнейшей безнадежности.

Тут пришлось генералу Кауфману пережить одну из тех тяжелых минут, близких к отчаянию, которые хоть раз в жизни выпадают на долю всякаго главнокомандующаго. Положение было безнадежно. Люди были без воды, верблюды почти все обезсилели, артиллерийския лошади также слабели с каждым днем. Термометр Фаренгейта показывал 100°. Кауфману грозило то же несчастье какое постигло за несколько дней до того полковника Маркозова по ту сторону Аму-Дарьи; но случись подобное же бедствие с Кауфманом, последствия его оказались бы в тысячу раз ужаснее. Вся сила Русских в Центральной Азии основана на всеобщей уверенности туземцев в непреодолимости русскаго оружия. Одна ошибка, малейшее поражение—и иллюзия эта должна была исчезнуть; все народы возстали бы как один человек в ту минуту как было бы дознано что и Русские могут быть преодолены. Кауфман уже начинал думать об отступлении, когда помощь пришла со стороны вовсе неожиданной, и он был спасен благодаря одному

из обстоятельств самых простых, но которые в известные моменты получают силу перевертывать собою все людския дела.

В числе 50—60 проводников-джигитов, состоящих при Кауфманской армии, был один взятый полковником Дрешерном в Кизил-Кумах. Он пришел в отряд весь оборванный, в лохмотьях, и предложил служить Русским бесплатно, лишь бы чем-нибудь отомстить Хивинцам, или— что для него было безразлично — Туркменам, за убийство части своего семейства и за продажу другой половины в рабство. Его определили в армии джигитом и уже не обращали затем на него никакого внимания. Этот-то человек теперь выступил вперед, вызываясь найти воду по [125] близости, вопреки уверениям всех прочих джигитов что нигде до реки воды не имеется.

Кауфман дал ему тут же свою походную фляжку и сказал: „Принеси ее мне назад полную воды и получишь сто рублей награды". Проводнику дали хорошаго коня и он вихрем умчался в пустыню. Это случилось на развете 3го (15го) мая, а немного спустя после солнечнаго восхода он уже прибыл назад с фляжкою наполненною водою, мутною и невкусною, но тем не менее водою, жидкостью способною поддерживать животную жизнь. Он заявил что верстах в шести к северу, в стороне от караваннаго пути на Аму, он нашел три колодца неизвестных караванам, но в которых тем не менее, говорил он, воды найдется достаточно для всей армии.

Не медля ни минуты, Кауфман дал приказ войскам выступать, а чрез два часа авангард уже расположился на пункте известном потом под названием Алты-Кудука, что значит „Шесть колодцев". Вода действительно найдена была в трех колодцах на глубине от пятидесяти до ста футов, но очень дурная и в недостаточном количестве. В одном даже найден был труп собаки, брошенной туда, по всей вероятности, разбойниками Хивинцами. Но как ни отвратительна была вода, ее все-таки выдавали людям порциями в полкружки на целый день, чтобы не потратить всего содержания колодцев за один раз. Хотя по распоряжению Кауфмана выкопаны были еще три колодца, каждый из которых доставлял несколько воды, все-таки ее было так мало что несколько проводников туземцев умерли от жажды.

Можно вообразить себе каким страданиям подверглось войско в этом песчаном пекле при полукружке воды на целый день.

Так как напоить верблюдов на месте не предвиделось никакой возможности, то Кауфман выслал весь обоз обратно к Адам-Крылгану, чтобы напоить там животных и захватить оттуда свежий запас воды прежде чем пускаться в дальнейший путь. Верблюды вышли под прикрытием четырех рот, то-есть 600 человек. Этому-то отряду пришлось выдержать первое серьезное нападение ханских войск.

[126] Садык, разъезжавший тем временем по берегам реки, узнал чрез своих разведчиков что генерал Кауфман выслал всех верблюдов отряда назад под небольшим прикрытием, решился напасть на них и отрезать их от армии. Он очень хорошо понимал что если ему удастся захватить верблюдов, то после того армия принуждена будет отступить. Он захватил с собою 500 человек Туркмен, каждого с двумя конями, и обойдя Кауфмана у Алты-Кудука достиг Адам-Крылгана рано утром 6го (18го) мая.

Часов около четырех утра русскими пикетами замечено было приближение неприятеля. Когда тревога распространилась по лагерю и солдаты взяли за оружие, Туркмены подъехали уже очень близко. Нападение это было чрезвычайно смело и решительно. Сам Садык, верхом на великолепном белом коне, держа в руках хивинское знамя, подъехал так близко что знай только стрелки что это он сам, ему бы уж конечно от них не увернуться. Но что может сделать толпа людей не дисциплинированных и вооруженных одними саблями против артиллерийских орудий? Несмотря на всю свою храбрость, Туркмены увидели невозможность бороться с Русскими и наконец принуждены были отступить, пораженные окончательно. Два Туркмена, захваченные в этом деле, говорили что Садыку не верно донесли о численности конвоя и он выехал в полной уверенности что уничтожит предполагаемую горсть Русских сопровождавшую верблюдов. Это было первою серьезною стычкой Русских с Хивинцами. Последние сильно упали духом после этой неудачи, но все еще не теряли надежды что до реки генерал Кауфман не доберется.

Садык, предводитель Туркмен напавших на отряд, был собственно разбойник вступивший на службу хана, нападавший на богатые караваны и сбиравший с них дань в свою пользу. Тотчас после падения Хивы он отправился на поклонение к гробнице Пророка и уже оттуда вернулся, как кажется, в Мерв.

Безпокойство главнокомандующего и бедствия солдат тем временем на Алты-Кудуке доходили до невообразимой степени. Весь ужас положения среди массы людей мучимых жаждою может понять только тот кому самому приходилось быть в таких обстоятельствах. Хотя замечательная дисциплина [127] русских войск еще не допускала их ни до малейшаго беспорядка, но начальство не могло не предвидеть что всему, даже выносливости русского солдата, должен быть предел; что наступит время когда никакая дисциплина не будет возможна в борьбе со страждущею человеческою природой, и отряд, доведенный до отчаяния, должен будет погибнуть от руки беспощадного неприятеля, который только того и ожидал. Однако дело до такой крайности не дошло. По прошествии нескольких дней вода сделалась лучше и показывалась в большом количестве, дневные потребности армии в воде могли уже удовлетворяться настолько что недостаток не был слишком мучителен. Но перспектива будущего все еще не сулила ничего кроме горя и лишений. Целая неделя потребовалась на проход верблюдов на Адам-Крылган и возвращение оттуда; животные эти с каждым днем все более и более слабели и делались ни на что негодными; стало очевидно что большую часть их придется бросить на пути.

В нормальном своем состоянии верблюды животные очень крепкая, способная поднимать огромная тяжести, выносить большия лишения и усталость. Но когда они уже истомлены длинным тяжелым переходом, подобно верблюдам отряда генерала Кауфмана, они делаются негодными ни на что, и на возвращение раз потраченных сил требуется отдых целых месяцев. А верблюд в такой войне которую я теперь описываю играет такую же роль как железная дорога в войнах европейских; с тою однако разницей что лишившись этого единственнаго средства к передвижению в пустыне, армия не только должна, потерпеть поражение, но и погибнуть безвозвратно. Вместо тех 600 фунтов что несли на себе верблюды в начале экспедиции, теперь редкие из них поднимали и

200 фунтов, большая же часть несла всего каких-нибудь 100 фунтов; число верблюдов едва способных передвигаться без всякаго вьюка увеличивалось с каждым днем.

Тяжело становилось положение главнокомандующаго. От него зависела не только удача всей экспедиции, но и жизнь каждого человека в армии, так как поражение в этом месте конечно повело бы за собой гибель всего отряда, а расстояние до Аму-Дарьи все еще не было известно. Наконец, по прошествии целой недели, верблюды вернулись с Адам-Крылгана [128] со свежим запасом воды, и войска вновь выступили 9го(21го) мая в пустыню, с тем чтобы добраться наконец до реки или полечь костями в сыпучем песке. Так как верблюды способные к переноске тяжестей не могли поднять всего обоза, то решено было оставить на Алты-Кудуке почти весь багаж: шесть лодок, захваченных для переправы через реку, два артиллерийских орудия и почти весь остающейся фураж. С собой захвачено было только то в чем оказывалась настоящая и немедленная потребность.

На Алты-Кудуке оставлено было 2 роты пехоты. Вот почему я и застал на этом пункте войска.

От Алты-Кудука переход был очень тяжел. В последний день пред тем как подойти к реке войска все время были окружены туркменскою конницею, которая скакала вокруг, еще затрудняя и замедляя шествие. На целый десяток верст армия шла вперед при самой невыносимой жаре, в то время как огонь поддерживался стрелками почти без перерывов. На этом-то месте попадалось мне столько лошадиных трупов.

Дисциплина войск была превосходна. Хотя жажда доводила людей почти до безумия, ни один солдат до выдачи на то позволения не вышел из рядов, когда проходили берегом Сардаба-Куль, маленькаго озера, неподалеку от реки, о котором я уже упоминал в разказе о личных своих приключениях. Генерал Кауфман говорил о своих солдатах чуть не со слезами на глазах. По его словам, никакой другой солдат в целом мире не вынес бы того чему русский солдат подвергся в этом походе. И я вполне разделяю его мнение на этот счет.

Когда подошли к реке и безопасность войска была обеспечена, генерал фон-Кауфман оставил прежний оборонительный план действий и принял положение наступательное; он приказал пустить несколько гранат в массу Туркмен сбившихся у подножия гор Учъ-Учака; затем сделал на них нападение с кавалерией, гнал их верст на 12—15 по речному берегу и захватил одиннадцать хивинских каюков или лодок, без которых не было бы возможности совершать переправу. От Учъ-Учака до Шейх-арыка неприятель почти не показывался, пока накануне вечером не было открыто его укрепление.

Каюк. Верещагин

[129] II. Переправа через Оксус .

На разсвете следующего дня мы снялись с бивуака, но пошли не на Шурахану, как было предположено накануне, а к месту битвы предыдущего дня. По зрелом размышлении генерал Кауфман решился переправиться у Шейх-арыка, откуда накануне был выбит неприятель.

Так как от ночной стоянки до этого места было всего верст семь, то часа через два все войска были уже у берега; ни мало не медля приступили к переправе первой лодки с 50 людьми на ту сторону реки. Это было (18го) 30го мая. Утро было ясное и не жаркое; палатки разбили у самой воды, и мы разлеглись на густой зеленой траве, лениво следя за раскинувшейся пред нами картиной. Сцена была чрезвычайно оживленная. Солнечные лучи скользили, сверкая, по широкой речной пелене: на той стороне неясно виднелись густыя чащи вязов и фруктовых деревьев, из-за которых местами выглядывали серыя стены узбекских жилищ и стройный фасад кладбищенской мечети. Безмолвная и пустынная раскинулась по речному берегу эта дикая и неведомая страна Хива. Ленивыми глазами оглядывал я раскрывшуюся предо мной богатую природу, припоминая все слышанныя мною до той поры рассказы об этой, облеченной какою-то сказочною таинственностью стране; об ея жестоких деспотах ханах; об ея диком фанатичном магометанском населении; о красоте тамошних женщин; об уединенном положении этой страны среди песчаного океана, делавшаго ее недоступной для Европейцев. Действительность исчезала в игре воображения, и я готов был ждать что вдруг очнувшись увижу себя на другом

полушарии, в нескольких тысячах верст от настоящего места действия.

Странный контраст представляла сонная красота противоположного берега с оживлением, шумом и движением на нашей стороне. Весь берег был усыпан лошадьми, верблюдами, казаками и солдатами; некоторые из людей только-что подошли, другие спускались к воде, влезали в каюки, тащили артиллерийския орудия, погоняли упиравшихся лошадей, нагружали багаж, приправляя все это веселыми шутками и громкими криками.

[130] Хотя многие из этих солдат никогда до тех пор и не видали такой большой реки, тем не менее они также ловко управлялись в ней, как молодые утята. Десятка два-три дюжих мускулистых ребят раздевались, бросались в реку, брались за канат и тащили лодку вверх по течению до того места откуда ее удобнее было отчалить; сам же генерал фон-Кауфман сидел на своей походной скамейке у речного берега, и поощряя людей приговаривал: „молодцы.... молодцы ребята!..”

На переправу каждой лодки к другому берегу требовалось минут 20, да столько же времени на возвращение: но при каждом переезде лодку относило так далеко вниз по течению что употреблялся еще чуть ли не целый час на то чтоб опять притащить ее к настоящему месту. Всего было три больших каюка, вмещавших в себе от 50 до 75 человек, и восемь маленьких, в которых помещалось не более десяти человек.

Целый день производилась переправа войска, без малейшей помехи со стороны неприятеля. Здесь ясно выказалась совершенная неспособность Хивинцев к обороне; иначе они никак не допустили бы Русских так спокойно совершить переправу. Здесь им было бы легко засесть за высоким берегом, вне выстрелов русских орудий, и уничтожить каждую переправленную партию солдат по очереди. Артиллерии не возможно было бы защищать войска при таких обстоятельствах.

К вечеру благополучно было переправлено на ту сторону четыре роты солдат и два горных орудия, которыя и были размещены в самом неприятельском укреплении и вокруг него в

оборонительной позиции. Этим ограждалась безопасность переправленных людей на случай внезапного нападения на них Хививцев и обезпечивалась вполне переправа остальных через Оксус.

Пока мы еще не знали ничего о том что происходило в Хиве, а воображение наше еще более возбуждалось таинственным спокойствием царившим на противоположном берегу.

Думает ли еще хан дать войскам серьезный отпор после того как он допустил их переправиться, и этим лишился самого действительного средства к обороне? Или же он просто бежит и скроется в пустыню? Никто не [131] мог дать ответа на эти вопросы и потому можно было на досуге делать всевозможные предположения о дальнейшем образе действий этого властелина. Мы еще не знали тогда что генерал Веревкин, во главе Оренбургского отряда, быстро приближался к городу с другой стороны, и бедному хану было достаточно забот и помимо нас.

Около двенадцати часов ночи, когда все уже засыпало, внезапно затрубили тревогу. Вскочив на ноги и смутно соображая что это должно - быть Хивинцы решились на ночное нападение, мы бросаемся к оружию; но скоро оказалось что не Хивинцы, а сама река поднялась на нас. Старый Оксус, будто оскорбленный такой неслыханною дерзостью переправы через его спокойную область, стал вздыматься с вечера, готовясь захватить нас в распloch во время сна. В течение трех часов вода в нем поднялась почти на 6 футов и серьезно грозила затопить нас всех. Дан был приказ сниматься и переходить на более возвышенную местность, что и было исполнено посреди суматохи невообразимой. Мы с товарищем, при этой непроглядной темноте, очутились вдали от наших людей и пожитков — несчастье которое вовсе не было облегчено тем обстоятельством что нам пришлось вплавь переправляться с лошадьми чрез канал, посреди верблюдов и казаков. Промокли мы до костей, и не имея возможности разыскать кого-нибудь или что-нибудь, мы наконец бросились на сырую траву, покрылись попонами и стали ждать разсвета.

На следующий день дела приняли совершенно новый оборот. Оксус разлился так широко, и течение его было так быстро что

генерал Кауфман вынужден был изменить план действий и подвинуться еще на версту вверх по реке. Когда перешли туда, началась опять переправа, но уже гораздо медленнее чем накануне. Теперь на переезд лодки к тому берегу и обратно требовалось целых три часа. Лошади по большей части переправлялись вплавь, а верблюды были почти все угнаны назад, к отрядам оставленным на Алты-Кудуке и Хала-Ате. 20го мая (1го июня) переправился и я с генералом Кауфманом и его штабом на левый берег реки.

[132] III. Среди Хивинцев.

Высадившись на той стороне, мы с Чертковым прямо отправились на базар, который в этот день был открыт в первый раз, в ответ на дружелюбную прокламацию генерала Кауфмана. Последние сутки мы ничего не ели кроме горсти хивинского проса. О суточном посте для человека в нормальном состоянии и говорить бы не стоило: он и для него самого прошел бы незаметно. Но когда вы жили уже целый месяц впроголодь, успели потратить весь имевшийся в вас запас излишнего жира, 24х-часовой пост делается вещью уже далеко не шуточной.

Хивинцы вывезли на базар целые воза муки и овощей, цыплят, овец, свежая пшеничные лепешки „с пылу“, абрикосы и рис; сахар, чай, огромное количество белых тутовых ягод; тут же было много клевера и джугары для лошадей. Обыватели подвезли свои тяжелые деревянные телеги к самому лагерю, и теперь стояли среди толпы солдат, с которыми, очевидно, вступили в самые дружеские отношения. Некоторые солдаты говорили по-татарски или по-киргизски, те же кто не звали этих наречий обделывали свои дела с помощью мимики; когда мы явились на место действия у Хивинцев шел уже самый оживленный торг с солдатами, которые за все платили, как я мог заметить, втридорога. Откуда русские солдаты брали деньги, я не знаю, да и до сего дня догадаться не могу, но что за деньгами у них дело не стояло — это я могу утвердительно сказать.

Мы с Чертковым поспешили купить себе несколько фунтов муки, барана, теленка, огромное количество горячего хлеба, бухарского меда, горы абрикосов и тутовых ягод, словом, такое количество всякой провизии какого стало бы на целый месяц: но мы не сомневались что способны поглотить все это в один день. При

мучившем нас голоде нам казалось даже и этого мало. Хивинцы которые вывезли провизию были соседние Узбеки; утолив немного свой волчий голод горячими лепешками с медом, я с любопытством стал оглядывать окружающий меня странный народ.

[133] Они все по большей части были средняго роста, худые и мускулистые, с длинными черными бородами и каким-то злым выражением в лицах. Костюм их состоял из некогда белых, но теперь неопределеннаго цвета, шаровар и рубах какой-то бумажной материи, а сверх этого халат, доходивший до пяток. Хивинский халат очень безобразен, делается из какой-то материи вытканной мелкими желтыми и коричневыми полосами, и совсем не похож на красивые, яркие халаты бухарские. Большая часть выехавших теперь на базар людей были босоноги, и у каждого на голове была высокая черная мерлушковая шапка в целых 6—7 фунтов весом. Вообще костюм Хививцев кажется мне самым безобразным и неудобным изо всех какие я видал до сих пор. Одной шапки такого веса достаточно чтобы затормозить деятельность самой светлой головы; при виде этих чудовищных головных уборов отсталость их цивилизации стала мне вполне понятна. Халаты их не только безобразно длинны, но и чрезвычайно неудобны; они почти всегда положены на вату и, насколько мне случалось видеть, не снимаются никогда, даже в самые сильные жары и когда владельцы их заняты какой-нибудь ручною работой.

К Русским относились они очень дружелюбно, и не только не боялись своих победителей, но не стесняясь еще требовали несообразныя цены за все вывезенное на продажу. Вначале они думали что Русские станут попросту, без всякой платы, брать все что пожелают, не исключая и жен туземцев, что по понятиям последних было бы совершенно в порядке вещей, представляло бы образ действий которому они, конечно, последовали бы сами. Когда же они увидели что бояться им нечего, то с истою азиатскою сметливостью стали вытягивать из Русских всевозможную для себя выгоду.

Да говоря правду, я и сам удивлен был сдержанностию Русских и строгою законностию руководившею здесь всеми их действиями.

Генерал Кауфман, подойдя к реке, издал прокламацию в которой уверял обитателей ханства что если они будут спокойно сидеть по домам, то их никто не обезпокоит: что собственность их и жены будут неприкосновенны, и что Русские будут платить чистыми деньгами за [134] поставку фуража в лагерь и за всю вывозимую на продажу провизии. Главнокомандующий предупреждал однако что если русским войскам придется самим ходить на фуражировку, то они будут брать все нужное бесплатно, а дома покинутые обитателями будут сожигать. Вывезенные теперь припасы были ответом на эту прокламацию.

В самих солдатах не видать было никакого расположения идти в разрез с обещаниями главнокомандующаго. Не было ни малейшаго поползновения взять что бы то ни было силой. Они безропотно платили требуемая за вещи деньги, будто и не предполагая возможности другаго обхождения с побежденным врагом.

Русский солдат по природе своей не свиреп и не кровожаден, а скорее добр и кроток; я не раз видал во время кампании против Иомутов примеры того как русские солдаты добросердечно относились к туркменским детям.

Хивинцы вначале отказывались от русских бумажных денег, которых никогда прежде не видали, да и не понимали их ценности. Мелкия же серебряныя монеты, как-то двугривенные, пятиалтынные и гривенники, которых у Русских было множество, Хивинцы брали с удовольствием. Русский двугривенный охотно принимался за местную монету „тенгу“. Из привезенных Хивинцами съестных припасов всего замечательнее были белыя тутовыя ягоды совершенно особаго рода, которыя нигде еще до тех пор мне не попадались. Также оригинальны были и пшеничныя их лепешки. Они делались из непросеянной муки, замешанной просто на воде; тесто это раскатывалось на тонкие круги, величиной с обыкновенную столовую тарелку и припекалось до бураго оттенка в хивинских печах. Это единственный хлеб приготавливаемый в Хиве и он чрезвычайно вкусен пока горяч.

У Шейх-арыка сады не доходят более чем на полверсты до укрепления, у котораго мы расположились. Здесь не было ни

деревьев, ни травы, и вообще нам было гораздо хуже чем на правой стороне реки. Пыль была невообразимая, чуть ли не хуже чем на Хала-Ате. Берега каналов, состоящие из сухой мягкой земли, были разбиты в пыль сначала хивинскою конницей, потом Русскими; наконец пыль эта дошла до фута глубины и ветер носил ее такими густыми тучами что они, казалось, готовы были все [135] завалить и всех задушить. Я еще никогда в жизнь мою не страдал так от пыли как в это время; а свежая зелень садов, прохладная тень вязов виднелась всего в какой-нибудь полуверсте от нас, но туда не позволено было заходить, и это делало контраст еще более тяжелым.

Форт на Шейх - арыке оказался весьма маленьким укреплением. Он был всего футов 30 в диаметре—совершенный игрушечный домик, никуда не годный для защиты. Однакоже это место могло служить серьезным пунктом обороны, если бы ханския войска сумели извлечь пользу из его положения. Шейх-арык, как показывает самое название, есть канал, хотя в настоящее время пересохший. Прежде по нем шла вода из реки во внутренность ханства, да и теперь вода могла бы его наполнить во время половодья. Берега его, от 20 до 30 футов вышины, идут на некоторое расстояние параллельно с рекой, и образуют таким образом высокий земляной вал. За одними этими валами очень долгое время можно бы выдерживать натиск Русских и выстрелы шести-фунтовых гранат; сооружение же этого укрепления, чрез тонкия стенки котораго гранаты пролетали как чрез картон, только служило ясным доказательством полнейшаго невежества Хивинцев в военном деле.

IV. Сады.

Мы стояли уже третий день на Шейх-арыке, когда вдруг Хивинцы прекратили подвоз припасов. Так как чрез это вся армия лишалась пищи, то вынуждены были принять деятельныя меры для добытия провизии, и генерал Кауфман приготовился привести в действие свою угрозу насчет фуражировки. Оказалось что ханския войска, оправившись несколько от первого страха, вернулись в эти места и грозили смертью всякому кто вывезет что-нибудь Русским на продажу.

Тогда главнокомандующий выслал на рекогносцировку и фуражировку небольшой отряд, из 300 человек пехоты, 250 казаков при двух четырех-фунтовых орудиях, под командой полковника Чайковского. Казакам дан [136] был приказ производить

фуражировку, но отнюдь не брать силой ничего что можно будет получить за деньги. Им дано было позволение брать все из покинутых домов, а офицер должен был оповещать всем обывателям еще раз что если не будут немедленно доставлены припасы на продажу, то войска придут и возьмут их силою, безо всякой платы. Пехота должна была подвинуться во внутрь страны, сделать рекогносцировку местности и попытаться вызвать неприятеля на бой.

Мы выступили из лагеря около полудня 22го мая (3го июня). До этих пор мы имели еще весьма смутное понятие об оазисе и его обитателях, так как пройденная нами часть праваго берега реки не была заселена, а сады леваго берега не доходили до самой реки. Мы ничего еще не видали кроме неподвижных деревьев вдали, за которыми скрывалась эта таинственная страна. Почти все наше понятие об ней основывалось на одних догадках. Теперь мы подходили к ее знаменитым садам. Переехав чрез отделявшую нас от них небольшую полосу земли, которая изрезана была каналами по всем направлениям, мы переправились по мосту, перекинутому чрез узкий, глубокий канал, выехали на хорошо содержавшуюся, но пыльную дорогу, и вскоре очутились в густо-населенной части обитаемой Хивы.

Переход от раскаленных песков к прохладе и свежести зеленой листвы совершился почти внезапно. Потянулись небольшие засеянные волнующиеся поля, всевозможные фруктовые деревья, склонившиеся под тяжестью спелых или еще зеленых плодов; высокие столетние вязы, раскинувшие свои широкия ветви с густой массой листвы над маленькими бассейнами воды; из-за зелени стали выглядывать серыя стены туземных жилищ. Восторг наш при вступлении в недра этой страны, впервые открытой взорам Европейцев, мог разве только сравняться с восторгом Колумба при виде Нового Света: на всем здесь лежала печать новизны и своеобразности и со всего готовилась спастись пелена неизвестности, застилавшая до сих пор этот затерянный в песках оазис от глаз цивилизованного мира. Над дорогой свешивались тутовые деревья, обсыпанные сладкими белыми ягодами, массы темнозеленой листвы яблонь, абрикосовыя деревья, согнувшиеся под [137] тяжестью безчисленных румяных плодов, и вишни со множеством красных спелых ягод. Стройные молодые тополи тянулись к небу, а светлые

ручейки, осененные кустарником, разбегались сетью по всем направлениям. После красноватого отблеска раскаленных сыпучих песков, к которому уже успели привыкнуть наши глаза, окружающая местность казалась Эдемским садом.

Часть оазиса в которую мы вступили заселена Узбеками. Их жилища и дворы огорожены крепкими стенами, от 15 до 20 футов в высоту, укрепленными массивными быками и угловыми башнями. Вход в эти дома один, под сводом, запирающийся очень тяжелой деревянной дверью. Стены сделаны из особого рода убитой глины, которая со временем становится очень твердой. Глина эта обделана не в виде маленьких кирпичиков, как мексиканские „адобы“, но тяжелыми глыбами, похожими на гранит, футов трех-четырёх в квадрате и такой же толщины. Во дворе, огороженном таким образом, устроены стойла для лошадей, рогатого скота, овец, и прочих домашних животных, и жилище самих людей. При доме всегда находится маленький бассейн чистой прозрачной воды, образующий четырехугольник футов тридцати-сорока в квадрате, осененный несколькими тенистыми вязами.

Хивинские вязы очень красивы. Многие из них повидимому живут уже не первую сотню лет. Под этими-то деревьями в летнее время семейство Узбека проводит почти все свое время; здесь готовится пища, тут же она поддается; здесь проводятся все досужие часы, которых не мало выпадает в жизни Узбека; здесь же работают женщины, прядут и сучат золотые нити шелковичного червя. Внутри дома Узбеков мрачны и печальны, так как освещены бывают одними маленькими отверстиями в стенах: оконные стекла составляют неизвестную здесь роскошь. Часто дома эти убраны множеством ковров, яркими циновками, одеялами и подушками, которые делают их очень комфортабельными.

Мы въехали в первый попавшийся по дороге узбекский двор — ворота были открыты настежь — и нашли в нем несколько мужчин, спокойно восседавших под вязами у маленького бассейна. Сначала они было немного перепугались, поднялись и стали смиренно отвешивать поклоны. [138] Полковник объяснил им что мы выехали за припасами и спросил отчего перестали они сами вывозить их на продажу. Они отвечали что хан обещал рубить головы всем кто станет продавать что бы то ни было Русским. Тогда полковник

Чайковский приказал им привозить в лагерь все что у них найдется на продажу, обещая позаботиться об их безопасности. Они выразили готовность повиноваться, и мы переехали к следующим домам, где повторялась та же самая сцена.

Несколько домов нашли мы покинутыми их обитателями; в редких из них попадалось что-нибудь кроме голых стен. Тем временем казаки разсыпались по сторонам для фуражировки, а пехота шла дальше на рекогносцировку.

Местность которою мы проезжали представляла все средства к защите; знай только Хивинцы как с пользою применить к делу все эти выгоды, они могли бы дать Русским отпор не шуточный. Чуть ли не на каждых десяти саженьях по дороге попадались мосты, которые им бы следовало разрушить; по всем направлениям тянулись стены, заборы, изгороди, чащи деревьев и кустарников, множество домов наконец, за которыми масса людей могла бы найти себе прикрытие. Русская кавалерия оказалась бы в таком случае совершенно бесполезною, а тяжелыя медныя орудия Хивинцев, до жерла набитыя железными черепками, на таком разстоянии были бы также действительны как и русския гранаты. Каждый дом представлял уже готовое укрепление, стены котораго приходилось бы осаждать и штурмовать с верною потерей для Русских и почти безо всякой невыгоды для осажденных. Конечно, Русские в конце концов все-таки одолели бы всякое сопротивление, но понесли бы весьма значительную потерю; а их было очень немного, сравнительно с массой Хивинцев. Если бы такого рода война продолжалась несколько дней, то численность Руских так сократилась бы что они не имели бы возможности извлечь какую бы то ни было выгоду из своей победы.

Но Хивинцы не обнаруживали ни желания, ни способности защищаться: Русские не встречали в своем движении почти никаких преград. Наш маленький отряд шел все вперед зелеными полями роскошной пшеницы, риса и ячменя; изборожденная и изрытая колеями дорога [139] окаймлена была о обеих сторон тузовыми деревьями, с которых солдаты срывали на ходу спелыя ягоды. Местами дорога пролежала между глиняными стенами, чрез которыя свешивались ветви дерев; или же она окаймлялась с обеих сторон глубокими каналами, полными воды, высокые берега которых

покрыты были зеленью, а затем опять врезывалась в чащи гигантских вязов, тяжелая листва которых осеняла нас прохладною тенью. Так как дожди в этих местах почти никогда не перепадают, то дорога была чрезвычайно суха, и мы взбивали на ходу целыя облака пыли, которыя поднимались высоко над деревьями и издали предупреждали Хивинцев о грядущей им расправе.

Наконец когда мы подвинулись верст на десять внутрь страны, нам начали попадаться следы неприятеля. Мы встречали множество покинутых домов, хозяева которых обращены были в бегство хивинскими войсками. Иногда из-за стены выскакивал один-другой всадник, мчался по дороге, и тут же, как метеор, исчезал в облаке пыли. Потом неприятельская конница стала показываться во множестве меж деревьев, разъезжая садами по обе наши стороны.

С нашей стороны была выслана вперед цепь стрелков, и почти в ту же минуту в воздухе пронесся звенящей резкий звук выстрелов из винтовок. Царившее до тех пор безмолвие мгновенно сменилось гиканьем и криками многих тысяч Хивинцев, разсыпанных кругом. Сквозь листву деревьев мы могли видеть как Туркмены, в высоких шапках, разъезжали, верхом на великолепных конях, партиями человек в 15 — 20; крики их должны были раздаваться на целыя версты кругом. Судя по шуму который они производили, можно бы подумать что мы окружены многими тысячами неприятеля. Я ждал с минуты на минуту что по нас будет открыт огонь из-за стен и возвышенных берегов каналов; однако, если и был у них подобный план действий, то наша стрелковая рота не допустила их до исполнения, и колонна не переставала подвигаться. Продолжалось это чуть ли не на расстоянии целых пяти верст.

Наконец вышли мы на открытое место около трех четвертей версты шириною, по которому дорога наша пролегла узкою полосой, немного возвышенною над общим уровнем [140] почвы. Вдали шли опять деревья, сады и дома, и у них-то большими массами в несколько тысяч человек сбились Туркмены, собираясь, повидимому, вступить с нами в битву. Они постреливали из своих тяжелых фитильных ружей, известных у Русских под названием фальконетов. По несколько таких фальконетов было установлено на колеса, как пушки, и когда из них выстреливали зараз, то это несколько напоминало собой митральезу. На близком расстоянии

они способны были причинять значительный вред; но теперь они отстояли слишком далеко чтобы сколько-нибудь вредить нам.

Наши два маленькая артиллерийския орудия были вывезены вперед и стали метать гранаты. Две из них лопнули среди Хивинцев, и они в страхе рассыпались во все стороны. Затем неприятель засел за стены, решившись, по-видимому, выдержать осаду, но не выказывая все-таки никакого расположения к нападению. Мы были теперь вблизи города и укрепления Хазар-Аспа, но силы наши были слишком незначительны чтобы можно было решиться на приступ. Полковник, уже давший знать в лагерь что он напал на неприятеля и ждет подкрепления решился выждать приказа для дальнейших действий.

Вид на оазис. Верещагин.

Итак, обе стороны стояли одна против другой почти в продолжение целого часа, и во все это время стрелковая цепь поддерживала беглый огонь по неприятелю. Меня удивляло что Хививцы не пускали в ход свою артиллерию, так как на расстоянии разделявшем нас теперь не только мелкия ядра, но даже выстрелы жеребейками и камнями произвели бы не малое действие; боялись ли они что мы завладеем их орудиями, или просто и сами на них не полагались, но ни одного из них они не вывезли вперед. Время уже близилось к вечеру, а мы были верстах в десяти от лагеря; полковник Чайковский решил что благоразумнее отступить. Хививцы следовали так близко за нами что арьергард все время принужден был поддерживать по ним огонь. Из числа неприятелей несколько человек попадали на землю, но товарищи тотчас же их подбирали. Из одного дома у дороги по нас дан был выстрел; пуля попала в одного офицера и так тяжело его ранила что он вскоре затем умер — единственная потеря которую мы имели в этот день.

[141] Пройдя верст пять обратно к лагерю, мы встретили Великаго Князя Николая Константиновича, который спешил к нам с подкреплением. Он очень огорчился видя что мы уже повернули к лагерю, и настаивал чтобы возвратиться назад и напасть тотчас же на Хазар-Асп. От этого его, однако отговорил полковник Чайковский, убедив его что в этот вечер слишком поздно идти на приступ укрепления.

Тем не менее, однако, мы поскакали еще раз к Хазар-Аспу, так как Великому Князю хотелось познакомиться с местностью и посмотреть расположен ли неприятель удерживать свою позицию. Дорогой мы наехали на тело убитого Туркмена, лежавшее у самой дороги. Он слишком близко подошел к отступающему арьергарду и ему прострелили голову. Падение его, должно-быть, не было замечено его товарищами, иначе его конечно увезли бы отсюда, так как у них считается постыдным оставлять своих убитых и раненых в руках неприятеля. Тело это лежало в грязи у дороги, пыльное, грязное и отвратительное.

V. Хазар-Асп.

Так как через реку было уже переправлено достаточное количество войска, то генерал Кауфман решил на следующий же день идти на Хазар-Асп. Этим же временем были наконец, получены известия о генерале Веревкине, командующем Оренбургским отрядом. он взял Кунград и подходил теперь к столице ханства.

Генерал фон-Кауфман рассказал мне прелюбопытную историю о том каким путем до него дошло письмо генерала Веревкина: случай этот служит весьма верною характеристикой туземных нравов. Трое киргизских джигитов, с которыми письмо это было послано, попались ханским войскам, и письмо было перехвачено вместе с небольшою суммой бумажными деньгами. Джигитов этих привели в Хиву на суд хана и главных сановников ханства. На вопрос, зачем ехали они к Русским, они отвечали что ехали не к ним, а в Бухару, чтобы собрать там деньги [142] за баранов, запроданных прежде. Но так как они не могли представить удовлетворительнаго объяснения каким образом к ним попали бумаги, то их самих отправили под стражу, а по делу о захваченных бумагах был созван большой военной совет.

Бумаг этих, конечно, никто не мог прочесть. Наконец призван был в качестве эксперта один бывший в России хивинский купец, для того чтобы хоть через него узнать о содержании этих бумаг. Купец оказался человеком сметливым. Хотя прочесть бумаг он также не мог, но тут же сообразил что в письме должны заключаться важныя сообщения, посылаемые от одной наступающей армии к

другой, и решился забрать его в свои руки. Осмотрев бумаги с большою тщательностию и вниманием купец серьезнейшим образом заявил совету что письмо было просто клочком бумаги, не имеющим ни малейшей цены и значения; но что 10-ти и 25-ти рублевые кредитные билеты суть весьма важные документы, которые надо старательно беречь до той поры пока найдется человек способный их прочесть. Когда ему удалось таким образом отвлечь внимание совета от письма, он стянул его под полу халата и унес с собою. Прежде чем успели хватиться письма, он отправил его с верным человеком генералу Кауфману, который тем временем переправлялся через реку

На следующее утро с солнечным восходом выступили мы к Хазар-Аспу. Идя по той же дороге как накануне, мы скоро подошли к месту действия предыдущаго дня. Тело мертваго Туркмена все еще лежало в грязи у дороги. Повидимому, неприятель сюда не возвращался они бы ни в каком случае не оставили тело товарища без погребения. На том месте где они толпились накануне в таком множестве, теперь мы не нашли никого. Предполагали что они отступили в крепость Хазар-Асп. По слухам, твердыня эта была очень крепка, стояла на острове посреди большаго озера и имела всего один вход. Надо было думать что если неприятель имеет желание сразиться, то он именно на этом пункте сосредоточил свое сопротивление.

На полупути к Хазар-Аспу попались нам два посла, высланные оттуда нам на встречу. Самыя фигуры их [143] выражали приниженную покорность, когда, съехавшись с авангардом они сошли с своих богато убранных коней и подходили к нам, сняв шапки и низко кланяясь. Их подвели к генералу Головачеву, который, выслушав что они имели сказать, переслал их в свою очередь к главнокомандующему, но продолжал свое движение. Послы эти высланы были Сеид-Эмир-Уль-Умаром, комендантом крепости и губернатором Хазар-Аспа, который приходился дядей хану, с заявлением о сдаче крепости. Сам комендант уехал уже в Хиву. Сдача крепости была принята, но все-таки главнокомандующий, привычный ко всем хитростям среднеазиатскаго образа ведения войны, не упустил из вида ни малейшей предосторожности на случай какой-нибудь предательской уловки.

Утро было ясное и теплое, ехали мы все время фруктовыми садами, где воздух был пропитан чудным запахом цветов; шествие наше гораздо более напоминало собою пикник, нежели поход в суровое военное время. По дороге попадалось несколько покинутых домов, но по большей части обыватели спокойно восседали у дверей на земле, поднимались при нашем появлении и с важностью отвечивали нам поклоны.

Около десяти часов мы уже были в виду крепости; из-за дерев она несколько напоминала собою Виндзорский замок: так величественны казались ее стены, искривленные и неправильные, подпертые тяжелыми быками и окруженные водой. Заметив несколько человек на стенах, мы немного приостановились; хотя крепость была уже сдана, но генерал Кауфман далеко еще не был уверен что тут не подготавливалось какой-нибудь изменнической проделки. Приняв необходимые предосторожности, армия тронулась опять и вошла в длинную, крытую и очень узкую улицу, обрамленную с обеих сторон одиноким рядом домов и лавок, образующую нечто в роде плотины над водою и служащую входом в крепость. Мы потянулись изогнутою улицей, все еще подозревая западню; круто повернув раза два-три вправо и влево, мы очутились пред главным входом. Это были тяжелые, массивные ворота с башнями по бокам из кирпича, обложенного глиной. В самых воротах виднелось несколько круглых отверстий, пробитых [144] вероятно пушечными ядрами во время какой-нибудь старинной осады.

Генерал Кауфман, в сопровождении своего штаба и небольшого числа пехоты, въехал в ворота, объехал внутреннюю сторону крепости и, повернув несколькими очень узкими, изогнутыми улицами, сошел с лошади в маленьком дворе. Пройдя целый ряд узких темных корридоров, мы очутились на главном дворцовом дворе Хазар-Аспа. Двор этот был всего футов тридцати шириной при пятидесяти длины, и южная его сторона была вся занята большою приемною залой, образованною просто высоким портиком, открытым с северной стороны, ко двору. Вокруг этого двора расположены были дворцовые покои, гарем и конюшни. Здесь генерал Кауфман принимал главных местных сановников и мулл, которые пришли для переговоров. Он объявил им что если они спо-

койно покорятся, не оказывая никакого сопротивления, то жизнь, собственность и жены их будут пощажены, так как Русские пришли не завоевывать Хиву, а наказывать хана. Заявление это встретили они с полным удовольствием и ушли успокоенные.

Таким-то образом сдался Хазар-Асп, пункт несравненно лучше укрепленный чем Хива. Большая часть офицеров были чрезвычайно раздосадованы подобным исходом дела, но все еще утешали себя надеждой что в самой Хиве встретится нам сопротивление отчаянное.

В Хазар-Аспе всего около пяти тысяч жителей. Это маленький, построенный из убитой глины город, весь окруженный крепостными стенами. Крепость почти вся окружена широким, но тинистым озером; она лежит верстах в 12—15ти от реки и в шестидесяти от Хивы. Пункт этот считается одним из самых значительных в ханстве. Обитатели были очень робки в начале, боясь что их все-таки всех перережут; скоро однако они ободрились и в тот же день открыли базар. Многие из окрестных Узбеков скрылись в стенах укрепления со всею своею движимостию, предполагая что место это станут отстаивать; теперь они начали разъезжаться по домам. Городские дома были очень бедны и не представляли и половины тех затей что находили мы в просторных сельских жилищах Узбеков.

[145] В крепости найдено было пять или шесть пушек — вероятно те самые что были в деле при Шейх-арыке; здесь оказалось также множество фалконетов и большое количество очень хорошаго пороха, сваленнаго по сторонам безо всякаго призора.

После двухчасоваго отдыха, генерал Кауфман оставил в Хазар-Аспе маленький гарнизон под начальством полковника Иванова, прибывшаго накануне с полковником Веймарном, а сам пошел назад и стал лагерем в садах, на полудороге к реке. Он предполагал здесь дожидаться прибытия всего отряда прежде чем идти на приступ столицы.

Лагерь наш расположился посреди фруктовых деревьев и вязов; вокруг нас по всем направлениям разбивались потоки воды; местность эта, после пустыни, казалась нам настоящим раем.

Соседние дома были все покинуты их обитателями, и мы не нашли в них ничего из домашнего добра, кроме небольшого количества кухонной посуды, да глиняных кувшинов. Но за то почти в каждом доме была одна или две комнаты наполненные шелковичными червями: многия тысячи этих несчастных прядильщиков, я думаю, погибли с голода, так как пищи им не было никакой.

Однажды я сел на коня и отправился в Хазар-Асп, где был радушно принят полковником Ивановым. Во время обеда ему доложили что пришла женщина с жалобой.

— Пойдемте со мной, сказал полковник, обращаясь ко мне: — Увидите любопытную вещь.

Так как обычный порядок судопроизводства был прерван бегством губернатора, то обыватели Хазар-Аспа стали приходиться для разбирательства своих ссор и с просьбами о защите к полковнику Иванову, который облечен был здесь высшею властью. Мы вышли в большой портик, который, как я уже говорил, служил приемною залой, возсели на ковре, и полковник вступил в роль судьи с приличным случаю выражением серьезности и даже важности на лице. Женщину ввели во двор, который был фута на три ниже портика где мы сидели. Просительница вошла держа за руку олуховатого на вид парня лет 14ти и, кланяясь на каждом шагу чуть не до земли, [146] обратилась к полковнику, принимая его за Кауфмана и называя его Ярым-падишахом; титул этот полковник принял с полным достоинством. Это была старуха прикрытая невзрачным хивинским халатом. Единственная принадлежность туалета отличающая костюм ея от мужского был высокий белый тюрбан который носится всеми хивинскими женщинами. Она с низкими поклонами подала полковнику небольшой подарок, состояний из хлеба и фруктов, и стала излагать свою жалобу.

Дело было в том, как объясняла она, что у сына ея — указывая на приведенного с собою неуклюжаго малаго, — украли невесту.

— Кто же украл? спрашивает полковник.

— Да вор собака - Персиянин; мой собственный раб; он свел моего же осла и на нем увез девчонку. Чтоб изчахнуть ему, окаянному!

— Так он, значит, совершил три кражи: украл осла, девушку и самого себя, перечел полковник с деловым видом. — Ну, как же он украл девушку? Силой ее увез?

— Уж конечно силой: разве она не была невестой моему сыну? Да разве какая девушка доброю волей убежит от своего жениха о собакою-рабом?

— А кто она? Как вы ее обручили с сыном?

— Она также Персиянка. Я купила ее у Туркмена который ее только-что привез из Астрабада, и заплатила за нее пятьдесят тилль. Должно-быть собака-раб приворожил ее, потому что как только она его увидела, так бросилась ему на шею, плача, рыдая и уверяя что он был ее товарищем и другом с самага детства. Я, конечно, побила ее хорошенько за эти бредни. Женить на ней сына я хотела через несколько дней; но как только подошли Русские, так хитрая девчонка и подговорила раба бежать с ней. Теперь уж они верно поженились.

— Ну так что же я могу для вас сделать?

— Разущите и отдайте жену моему сыну, а мне раба и осла. Полковник сказал ей с улыбкой что посмотрит что может для нея сделать, а теперь она может идти. Она ушла, пятась все время назад и кланяясь на каждом шагу до земли самым почтительным образом как при дворе. Видно было что не в первый раз пришлось ей приносить жалобу судье.

[147] Но сын ее не получил никогда обратно своей невесты, ни ей не разыскали ни раба, ни осла.

Во время нашей трехдневной стоянки близь Хазар-Аспа, генерал Кауфман деятельно занялся набором лошадей и телег для перевозки обоза и для замены верблюдов высланных войскам на Хала-Ату и Алты-Кудук. Этими днями подошел весь отряд; уже

известно было что генерал Веревкин взял Кунград и быстро продвигался к столице.

Мы поднялись с места 27го мая (6го июня), а к вечеру 28го (9го) были верстах в 15 от Хивы. По всему этому переходу на дорогу высыпал народ группами от 20 до 450 человек, заявляя главнокомандующему свою покорность, и принося в знак мира хлеб, абрикосы, а иногда ягнят и баранов.

Хан все это время не оставлял генерала Кауфмана без известий о своей особе. Главнокомандующий уже раза три или четыре, со времени переправы через реку, получал письма от хана, в которых этот последний выражал полнейшее удивление по поводу этого внезапного нашествия Русских на его владения. Затем он стал требовать объяснения этих враждебных действий, и наконец предлагал незванным гостям немедленно, по добру по здорову, убираться во-свояси.

Едва успели разбить палатки на вечерней стоянке 28го мая (9го июня), как пришло последнее послание струсившаго владыки, в котором он уже заявлял свою покорность, готовность сдаться на каких угодно условиях, и поручал себя великодушью генерала Кауфмана.

Теперь я должен немного приостановиться в этом разказе чтобы пояснить каким путем доведен был хан до такого смиренного образа мыслей.

Оросительное колесо

VI. Оренбургский и Киндерлинский отряды

Когда, в половине декабря, поход на Хиву был решен в Петербурге, то для обеспечения успеха предприятия, назначено было четыре отдельные экспедиции которыя должны были двинуться в ханство различными путями. Одному отряду назначено было выступить с Кавказа, под начальством полковника Моркозова, другому из Оренбурга [148] и начальство над ним было поручено генералу Крыжановскому, а этим последним передано генералу Веревкину; еще один отряд должен был идти от Киндерлинской

бухты, с полковником Ломакиным во главе; и наконец четвертый отряд из Туркестана, предводимый самим генералом Кауфманом.

Так как экспедиционный отряд Маркозова совсем не дошел до Хивы, то я сначала скажу несколько кратких слов о нем.

Исходным пунктом этого отряда был Чакишляр, в долине Атрека, а не Красноводск, как в начале было назначено. Эта линия была выбрана в том предположении что на ней легко будет набрать верблюдов; но перемена оказалась губельною для отряда, вследствие значительнаго увеличения перехода. Когда колонна подошла к колодцам Бала-Ишем, войска уже страдали неимоверно. Жара была ужасная, говорят, доходила до 149° по Фаренгейту; колодцы попадались редко, люди чуть не мерли от жажды. Наконец верблюды и лошади, вполне обезсиленные длинным переходом, стали падать целыми сотнями. А отряд все еще был в 180 верстах от Хивы—впереди предстояла самая тяжелая часть пути. Колодцы попадались чрезвычайно редко, а верблюды положительно не в силах были переносить достаточно воды для всего отряда. Итак 22го апреля (4го мая), именно когда генерал Кауфман был на Хала-Ате, а генерал Веревкин дошел до западнаго побережья Аральскаго моря, полковник Маркозов вынужден был вернуться назад.

Отчет о действиях Оренбургскаго и Киндерлинскаго отрядов будет тем боле уместен здесь что не только на их долю выпало наибольшее число стычек с неприятелем, но ими, собственно, и взята была Хива. Да и самую незначительность противодействия оказаннаго ханом Туркестанскому отряду надо приписать присутствию в то же время на его территории этих двух колонн, Киндерлинской и Оренбургской.

Отряды эти подошли к самым стенам Хивы, когда генерал Кауфман был в пятнадцати верстах от нея; и тот факт что различные колонны выступившия с противоположных пунктов, отделенныя почти полуторатысячным разстоянием одна от другой, все-таки сошлись [149] под Хивой чуть ли не в один день—составляет не последнюю любопытную особенность этой замечательной кампании.

Факты касающияся отрядов Оренбургскаго и Киндерлинскаго собраны мною из различных источников; частию сообщены мне

русскими офицерами, частью получены от поручика Штумма, пруссака офицера, сопровождавшего сначала Киндерлинскую колонну, а потом соединенный отряд Оренбургский и Киндерлинский. Это единственный иностранец который, кроме меня, добрался в эту компанию до Хивы. Появившейся уже в печати труд г. Штумма— отличающийся необычайною точностью и занимательностью— оказал мне большую помощь в некоторых справках.

Генерал Крыжановский, оренбургский генерал-губернатор, получил приказ снарядить Оренбургскую экспедицию только во второй половине декабря месяца; тот факт что все перевозочные средства, вооружение, фураж, провизия, палатки и достаточное количество теплой одежды на время самых трескучих морозов для перехода в 1.650 верст, по стране совершенно неведомой, что все это, говорю я, было готово к 15му (27му) февраля, может служить образцом той поспешности с какою Русские могут приготовиться к войне в случае необходимости.

Войска этого отряда собирались на трех различных пунктах, в Оренбурге, Уральске и Орске, и выступили в поход около 15го (27го) февраля, с тем чтобы стянуться у Эмбенского укрепления, при реке того же имени. Это укрепление составляет русский аванпост в Киргизских степях, и отстоит верст на 600 или около того от всех вышеупомянутых пунктов.

Трудности этой первой части перехода были ужасны; холода доходили до -25° по Реомюру; войска подвергались сильнейшим метелям, о силе которых можно иметь понятие только побывав в этих степях, где ветер, на расстоянии целых сотен верст, не встречает на пути своем ни малейшей преграды; нелегкою задачей было подвигаться вперед и в тихую погоду по снегу доходившему иногда до фута глубиною.

Несмотря однако на все эти препятствия — которые признаны были бы непреодолимыми всякою другою, не русскою, армией—три отряда сошлись в половине марта у Эмбенского [150] укрепления, с обозом, перевозочными средствами, аммуницией и провизией. Конечно, такой удачный переход не мог быть совершен на авось, без необходимых приготовлений. Солдаты были снабжены

полушубками и высокими теплыми сапогами; по всему пути разставлены были войлочные кибитки, на расстоянии одного дня пути; заранее набрано топливо, заготовлено сено для лошадей и верблюдов; словом, все предосторожности были приняты для того чтоб избежать несчастья какое постигло Перовскаго в 1840 году. И результат увенчал эти труды блистательным образом: все части отряда стянулись на Эмбе, не, потеряв на пути ни одного человека, хотя, вследствие страшных холодов, эта часть похода была самая тяжелая. На Эмбе таким образом собралось: девять рот пехоты—около 1.600 человек; девять казачьих сотен—1.200 человек при них восемь орудий легкой артиллерии, ракетная батарея и четыре мортиры, снабженные тройным против обыкновеннаго количеством снарядов. Обоз состоял из пяти тысяч верблюдов, нанятых у Киргизов по 15 рублей за каждого верблюда в зимние месяцы и по 12 рублей летом. Солдаты получали только обыкновенные порции: 2 фунта черного хлеба, ? фунта мяса на день, чай с сахаром поутру и вечером, два стакана водки в неделю, и кроме того овощи, сыр, уксус и другия противоцинготныя вещества. Запасы все разочтены на 2 ? месяца, и войлочные кибитки, достаточной величины для помещения в каждой 20 человек, были припасены для всего отряда. 26го марта (7го апреля) отряд вышел с Эмбы, направился к югу, подошел к Аральскому морю 20го апреля (2го мая) и продолжал идти по западному берегу его на юг к Айбугирскому заливу. Залив этот, обозначенный на всех картах, и действительно существовавший 15 лет тому назад, найден был отрядом генерала Веревкина совершенно пересохшим. Каракалпаки даже начали возделывать часть его бывшего дна. Поход генерала Веревкина был очень замечателен: это чуть ли не самый длинный переход из числа упоминаемых в истории—более 1.500 верст.

2го (14го) мая он подошел уже к Яны-Кале, в Хивинском ханстве, тогда как генерал фон-Кауфман все еще был на Алты-Кудуке, по ту сторону реки, и самый трудный переход предстоял еще ему впереди.

[151] 20го мая (1го июня) генерал Веревкин вошел в покинутый Хивинцами город Кунград.

Поход Киндерлинскаго отряда был также одним из самых замечательных из числа занесенных в историческия летописи.

Переход предстоял длинный; путь лежал пустынными песками, на которых колодцы попадались в очень дальнем друг от друга расстоянии, а перевозочные средства отряда были совершенно несоразмерны с предстоящими трудностями. Даже, по весьма странной непредусмотрительности, захвачено было очень мало турсуков и другой посуды для перевозки воды.

Эта колонна должна была сойтись с отрядом генерала Веревкина у Айбугирского залива. Оренбургский отряд был у же в походе целых 14 дней, когда колонна Киндерлинская тронулась с места. Помощниками полковника Ломакина, командующего отрядом, были, подполковник Пояров, капитан Али-Хан, по собственной охоте присоединившиеся к экспедиции, полковник Скобелев, майор Навроцкий и несколько других офицеров. Силы этого отряда состояли из 12ти сотен кавказских Горцев, в 120 человек каждая—всего около 1.800 человек. При них было 10 пушек и ракетная батарея.

По сделанному расчету для отряда требовалось 1.300 верблюдов, но число набранных животных далеко не достигало этой цифры. Мангышлакские Киргизы положительно отказывались ставить те шесть сотен верблюдов которые с них требовались, и майор Навроцкий выслан был с наказом захватить верблюдов силой. После нескольких дней гонки за Киргизами и небольшой перестрелки майору удалось захватить 380 верблюдов, 110 лошадей и около 3.000 коз и баранов. Переход по безводной пустыне с таким небольшим количеством вьючных животных, из которых еще ежедневно многия падали, казалось, должен был привести отряд к неминуемой гибели.

Уже в течение первых пяти дней перехода люди встретили на пути своем все ужасы пустыни. Жара была страшная: раскаленные пески палили ноги и ослепляли глаза. Ветер не только не приносил никакого облегчения, но еще увеличивал страдания, обдавая людей точно жаром какого-то адского горнила. От этих врагов не было спасения, песок и жара проникали и в палатки. Скоро стал [152] чувствоваться недостаток воды. Колодцы, изредка попадавшиеся, были все солоноваты, мутны и полны насекомыми. Солдаты бодро, даже весело переносили все невзгоды, и хотя верблюды и лошади

падали целыми сотнями, здоровье людей было в очень хорошем состоянии.

Первая продолжительная стоянка была сделана на Кунды, куда передовая часть отряда пришла 14го (26го) апреля. Переход отсюда до Сенека — расстояние 90 верст — был чрезвычайно мучителен для солдат; жара была ужасная, воды почти не было, и люди с жадностью накидывались на попадавшиеся несколько капель отвратительной, вонючей и черной как чернила воды. Появились и больные, преимущественно между пехотой. Кавалерия уступила лошадей больным: часто приходилось измученному казаку вести своего изнемогающего коня отягощенного больным пехотинцем. В один день, после полудня, отряд лишился 150 верблюдов, которые частью попадали, частью же совершенно обезсилели. Главные болезни которым подвергались люди были солнечный удар, диссентерия и общее изнеможение. Горячка сделалась вещью обыкновенною, на нее почти не обращали даже внимания. Некоторые из штабных офицеров подвергались трем и даже четырем горячечным припадкам во время перехода от Киндерли до Сенеки.

20го апреля (2го мая) дошли до Биш-Акты. Этот пункт отстоит верст на 135 от Каспийского моря, затерян в песках и окружен низкими известковыми холмами. На этом месте построено было маленькое укрепление таким образом что находящиеся тут шесть колодцев пришлись внутри форта.

Переход от Биш-Акты ко второму форту на Ильте-Идже, да и весь путь до Кунграда, был чрезвычайно затруднен песками и ветром. Раз даже случился такой ураган что на ночь оказалось невозможным разбить палатки. Порядок движения был следующий авангард состоял из казачьей сотни, а по обе стороны, на расстоянии около трех тысяч футов, шел патруль из двух всадников. Затем ехал штаб эскортируемый конницей, с патрулями из четырех конных солдат с каждой стороны. Далее казачья сотня, также защищенная боковыми патрулями. Ариергард был под прикрытием роты пехоты, которая в то же время вела 20 верблюдов, навьюченных [153] фуражем для штабных лошадей. Главная же часть отряда, следовала на некотором расстоянии. Таким образом проходили от 30 до 45 верст в день. С ночных стоянок снимались в пять и шесть часов

утра и шли до полудня. От двенадцати до трех часов делали привал, так как этим временем стояла такая жара что невыносимо было никакое движение, даже установка палатки. В три часа движение возобновлялось и продолжалось до десяти, одиннадцати, а иногда и до двух часов утра. Лошадей кормили и поили раз в сутки, иногда им приходилось даже быть часов по тридцати без воды.

Дни 27го (9го мая) и 28го апреля (10го мая) прошли в невообразимых страданиях. Одно время даже всему отряду грозила неминуемая гибель от жажды. Колодезь Коль-Кинир, к которому подошли вечером 27го апреля (9го мая), был так глубок что вода могла вытягиваться из него чрезвычайно медленно, и только весьма незначительная часть отряда могла напиться. С самого полудня войска не получали воды, да не откуда было ее и достать до прибытия в Алпай-Мас, лежащий слишком в 50 верстах дальше. Вечер 27го апреля (9го мая) и все утро 28го (10го мая) солдаты и лошади должны были обойтись без питья. При таких-то обстоятельствах пошли по направлению к Алпай-Масу. К полудню 28го апреля (10го мая), под самым сильным припеком, лошади стали изнемогать, люди выбились из сил и даже штабные офицеры стали терять всякую надежду на спасение, так как до Алпай-Маса все еще оставалось 23 версты, то-есть четырехчасовой переход.

Полковник Ломакин приказал сделать привал, и весь отряд — солдаты и офицеры — свалился в изнеможении на раскаленный песок. При колонне не оставалось уже ни капли воды; кругом, до самого горизонта, не видно было ничего, кроме белаго песку. Передавая мне эту сцену, поручик Штумм говорил что тут и у него голова закружилась, и он почувствовал приближение горячечного бреда. Тем временем как все тут лежали обезсиленные, показались вдаль, на песчаном холме, два Киргиза высланные полковником Ломакиным вперед; они напали на маленький колодезь, Курук, в расстоянии полуторы версты к северу, и теперь возвращались с радостною вестью к отряду.

Едва успели солдаты и офицеры несколько освежиться [154] как пришло известие что часть войска, оставление позади под командой поручика Гродикова, в пяти верстах от Ильте-Идже, не в силах идти дальше и полегла в изнеможении на песке. Тотчас выслали обратно всех животных могущих вынести переход,

навьючив их всею посудю способною держать в себе воду; когда и отставшие были таким образом напоены, пошли дальше едва избегнув лютой смерти.

Около часа пополудни 2го (14го) мая отряд дошел до Кизил-Агира, а так как следующим днем надеялись дойти в Бей-Шагир, к самым границам Хивы, то созван был военный совет. Решено было выслать вперед к озеру Айбугиру авангард под начальством полковника Скобелева, что и было немедленно приведено в исполнение. Но так как не думали чтобы генерал Веревкин подошел к этому месту раньше пяти-шести дней, то решено также было выслать небольшой рекогносцировочный отряд к югу до Куня-Ургенча и даже, если окажется необходимым, занять этот город. Главные же силы отряда должны были дожидаться генерала Веревкина у Айбугирского озера.

4го (16го) мая от генерала Веревкина получены были известия изменявшие весь этот план. Посланный из Оренбургского отряда сообщил что пятнадцать дней тому назад генерал Веревкин уже был всего в двух переходах от Айбугирского озера, и что 6го (18го) мая он надеялся дойти до мыса Урча, при Аральском море. Полковнику Ломакину присланы были инструкши идти не на юг к Айбугирскому озеру, а на север, чтобы сойтись с генералом Веревкиным на Урче. Оттуда же соединившимся отрядам предполагалось идти вместе на Айбугир, к укрепленному хивинскому городу Кунграду.

Сообразно с этими инструкциями, полковник Ломакин послал воротить Скобелева; но Скобелев получил приказ этот слишком поздно: 5го (17го) мая у него уже была схватка с большим туркменским отрядом. Туркмены эти направлялись в Хиву с большим караваном. В завязавшейся схватке несколько человек Туркмен было убито, пятнадцать ранено, захвачено полтораста верблюдов с большим количеством разнородных припасов. Но за то сам Скобелев, другой офицер и несколько казаков были ранены.

[155] Колонна направилась к Урче, на север; но 5го(17го) мая прибыл другой посланный от генерала Веревкина с известием что этот последний вышел с Урчи и шел уже в Кунград, куда приказывал следовать и полковнику Ломакину. Таким образом

дорога была еще раз совершенно изменена. Полковник Ломакин пришел теперь к заключению что надо идти очень скоро чтобы поспеть на встречу неприятеля в одно время с генералом Веревкиным. Потому он решил оставить главные силы отряда следовать за собою под начальством подполковника Поярова, а самому идти вперед к Кунграду с одним своим штабом и кавалерией ускоренным маршем, подвергаясь даже риску не встретить на пути ни одного колодца.

Следующий затем трехдневный переход был тяжелее всех предыдущих. Все время не было воды; единственный на дороге колодезь был отравлен Туркменами, бросившими туда разлагающееся трупы животных. Пытались было идти ночью 10го (22го) мая чтобы дойти до Кунграда днем раньше, но темнота была такая что войска, несмотря на множество факелов, постоянно сбивались с пути. Волей-неволей пришлось остановиться и провести ночь посреди песков без еды и без питья.

Утром 11го (23го) мая дошли до русла Айбугира, стали встречать кибитки кунградских Киргизов и впервые вступили на хивинскую территорию. Весело прошло утро 12го (24го) мая: этим днем впервые выехали на цветущие луга и зеленая пастбища, впервые после двухмесячного перехода набрали на свежую, хорошую воду.

В тот же день достигли Кунграда и застали там большую партию казаков, оставленную генералом Веревкиным, который накануне пошел на столицу ханства.

Город и крепость Кунград найдены были в самом печальном, разоренном состоянии, вследствие непрерывных почти войн, а в особенности вследствие выдержанной им осады лет 15 тому назад, когда город этот возстал против Хивы. Несколько раз Кунградцы ставили у себя собственных ханов, предписывали законы самой Хиве. Теперь же этот город совершенно опустошен, и едва ли когда-нибудь удастся ему собраться с силами для борьбы с торжествующим врагом.

До этого пункта ни генерал Веревкин, ни полковник [156] Ломакин ни разу еще не встречали сопротивления со стороны

Хивинцев. Они показывались несколько раз, но никогда не представляли серьезного сопротивления. Они ограничивались посылками в отряд дерзких посланий, советуя Русским удалиться во-свояси пока еще время и грозя им сильным гневом хана в случае послушания. По большей части генерал Веревкин отправлял послов обратно безо всякого ответа. Одно из этих посланий до того оригинально и так хорошо обрисовывает первобытную наивность Хивинцев что об нем стоит упомянуть. Накануне того дня в который генерал Веревкин занял Кунград, к нему прибыл посол от кунградского губернатора с самым необыкновенным требованием: пусть де Русские повременят три дня, пока привезут губернатору пушку для защиты города. Если же Русские, говорилось дальше, будут слепо настаивать на своем, пока он еще не приготовился, то он, губернатор просто откажется сражаться! Русские, конечно, слепо настояли на своем, а сановник, верный своему слову, бежал из Кунграда не дав по ним ни одного выстрела.

За Кунградом, однако, Туркмены стали показываться значительными массами, и уже не проходило ни одного дня без перестрелки, ни одной ночи без тревоги. Иногда они тревожили войска с флангов в течение целых дней, скача кругом с дикими криками и гиканьем, притворяясь нападающими, а иногда и действительно нападая на обоз, стреляя из-за стен и деревьев то по ариергарду, то по авангарду, не давая войскам передохнуть, мучая их с утра до ночи и с ночи до утра.

В особенности утомительны были ночные тревоги, благодаря которым войска ни на минуту не могли спокойно сомкнуть глаз и отдохнуть после дневных трудов. Во время кампании против Туркмен я сам увидел как невыносимы эти ночные нападения: весь ужас их может быть понятен только человеку который сам их испытал.

Около двух часов кавалерия выехала из Кунграда к югу, и наконец, к девяти часам того же вечера добралась до колонны генерала Веревкина, не сделав ни одного привала. Штаб ехал с пяти часов утра до девяти вечера, под палящими лучами солнца, не останавливаясь ни [157] поить ни кормить лошадей, не давая ни минуты отдыха людям.

Тем временем главные силы экспедиции, состоящая преимущественно из пехоты, под начальством подполковника Поярова, следовали за штабом и кавалерией, вынося подобныя же, а может-быть и сильнейшия невзгоды, все с тем же героическим терпением. Пояров разделил вверенных ему людей еще на два отряда, один из которых, под начальством майора Аварскаго, пошел тем же путем как и штаб. Сам же Пояров, отдохнув один день у колодца Алан, выступил дальше 8го (20го) мая в два часа утра. Первый день его людям пришлось пить солоноватую, почти негодную к употреблению воду. Все колодцы попадавшееся на следующий день были отравлены животными трупами, и войску пришлось довольствоваться тем количеством воды которое удалось захватить с собою. В два часа утра 10го (22го) мая отряд вышел из Кара-Кудука и к семи часам того же вечера подошел к западному берегу Айбугирскаго озера. На сорокапяти-верстном переходе ему не попалось ни одного колодца.

В два часа утра 11го (23го) мая он вышел с Айбугира и дошел до Ирали-Кочкан к трем часам пополудни. На этом тридцативерстном переходе также не было колодцев, и таким образом войска прошли около 75 верст в тридцать семь часов, оставаясь всю дорогу без воды. Запас воды, который могли захватить с собой, весь был истрачен в первые два дня этого пятисуточного перехода. Хотя и этим временем количество выдаваемой воды было крайне недостаточно, но все-таки героизм пехоты доходил до того что она решилась делиться ею с артиллерией.

Повторяю, это один из самых замечательных походов в истории.

VII. Движение соединенных колонн.

Пока происходили разказанныя события, капитан Ситников, командир Аральской флотилии — имя котораго, надеюсь, читатель припомнит — отплыл с флотилией из Казалы Аральским морем к устью Аму-Дарьи. Ему велено было подняться как можно выше по реке чтобы [158] действовать заодно с сухопутными войсками, если того потребуют обстоятельства.

В конце апреля флотилия напала на сильно укрепленный хивинский форт Ак-Кала, на Улкун-Дарье, одном из рукавов Аму-Дарьи, и разрушила его, потеряв при этом четырех человек убитыми и троих или четверых ранеными. После того она поднялась на 60 верст вверх по Аму. Тут пришел к капитану Ситникову Киргиз и сообщил что видел отряд генерала Веревкина и может служить проводником, если капитан Ситников желает иметь сообщение с армией. Киргиза взяли проводником и отправили с ним одного офицера и одиннадцать матросов с письмами к генералу Веревкину.

Утром 5го (17го) мая Оренбургский отряд напал под Кунградом на обнаженные и обезглавленные тела двенадцати русских моряков. Повидимому, вызвавшийся в проводники Киргиз был подослан неприятелем и завел Русских в западню. Этим оканчиваются действия флотилии в эту кампанию. Вследствие препятствий воздвигнутых Хивинцами по реке, капитан Ситников не мог достаточно далеко по ней подняться чтобы помогать войскам.

12го (24го) мая соединившиеся отряды генерала Веревкина и полковника Ломакина тронулись в дальнейший путь. В это время генерал Кауфман дошел до Учъ-Учака.

В 5 часов утра 14го (26го) мая соединенный отряд подошел к Кара-Баили, а около полудня сделал привал на берегу маленькой речки, намереваясь простоять часа два для завтрака. Не прошло однако и четверти часа как вдали раздалось несколько выстрелов. Тут же прискакал казак с известием что на офицера высланного на рекогносцировку с десятком казаков напала большая масса неприятелей. Две казачьих сотни стремительно бросились на выручку: но Туркмены уже исчезли с места действия, захватив нескольких лошадей, убив одного казака и ранив трех-четырех других. Как ни было поспешно их бегство, они успели отрубить голову убитому казаку. Казаки гнались с полчаса по направлению куда исчез неприятель, но его и след простыл. Едва успели они вернуться как раздалась выстрелы с фланга отряда, на который теперь напал возвратившийся неприятель. Здесь также Туркменам удалось убить двух верблюдов и двух [159] солдат. Преследование возобновилось. На этот раз однако неприятель собрался в кучу, выжидая нападения. Русскими захвачено было несколько лошадей, побито и ранено много Туркмен. Один из захваченных Туркмен,

который был ранен пятью пулями в бедро и со стоической твердостью переносил свои страдания, после долгих убеждений сообщил некоторые сведения. От него узнали что вокруг армии теперь разъезжало 400 или 500 человек Туркмен, принадлежащих к большому отряду конницы в 6.000 человек, высланному ханом для защиты Ходжейли. Большая часть отряда выжидала нападения у города, а сам хан решился защищаться до последней крайности.

Вскоре затем неприятель показался большою массой. Сначала было думали что они хотят напасть сами, но потом оказалось что они выжидают нападения. Выслана была вперед кавалерия с одной батареей ракет и после нескольких выстрелов неприятель рассеялся.

Около часа спустя он опять показался огромными толпами, которые подошли на 2.000 или 3.000 футов к Русским, остановились и, задумавшись, медленно стали отступать к Ходжейли. Четыре-пять посланных им вслед гранат заставили их несколько поспешить.

Началось наступление на город. Некоторое время неприятель продолжал разъезжать пред войсками, приближаясь иногда на очень близкое расстояние, но скоро последние его фланкеры скрылись за городскими садами и уже больше не показывались.

Когда отряд подошел на полверсты к городским воротам, оттуда выступила большая депутация местных старшин, прося пощады и обещая покориться всем требованиям Русских. Тут же выдан был задержанный по повелению хана Киргиз, которого генерал Веревкин послал еще месяц тому назад с депешами к генералу Кауфману.

Войска простояли два дня пред городом и завели самые дружеские сношения с обывателями. На второй день открыты были все лавки и базар и закипела торговля с солдатами.

Двинувшись далее этот отряд достиг берегов Аму-Дарьи 19го (31го) мая.

Утром 16го (28го) Хивинцы дали несколько выстрелов по армии, что и послужило началом общей схватки.

[160] Неприятель стянул свои силы в долине, поросшей тростником и высокою травой. Они заняли позиции на многочисленных песчаных холмах пред городом Мангитом к которому приближались русския войска. Когда показалась русская армия, массы их конницы бросились на нее с дикими криками. Развернувшись в линию верст в 10 — 12 длиною, они атаковали Русских со всех сторон главною целью нападения послужил обоз верблюдов назади.

Генерал Веревкин, занимавшей центр, направил на неприятеля четыре пушки и выслал три орудия на левый фланг. Но неприятель не переставал повторять отчаянныя нападения на кавалерию, и раз даже приблизился на какую-нибудь сотню сажень к самому штабу генерала Веревкина. Особенно сильно теснил он правый фланг, бывший под начальством полковника Леонтьева, и невозможно было остановить его движения вперед; заскакав кругом он сделал нападение с тылу, думая что все пушки выставлены во главе колонны и разчитывая напасть на слабую сторону отряда. Встреченное сопротивление несказанно их поразило; замешательство их еще более увеличилось когда они увидали что главные толпы их собственных сил отступали за холмы Мангита. Повредив сколько могли обозу, они последовали за бегущими товарищами.

Через несколько времени однако неприятель опять возобновил нападение. Тактика их была та же что и прежде, но скоро им пришлось отступить под метким огнем артиллерии и под сильным напором каваллерии. Они ушли за город Мангит и более не показывались. Тогда войска двинулись вперед и сожгли деревню, занятую пред тем неприятелем. После короткой стоянки, в 3 часа пополудни армия подошла к городу и немедленно заняла его. Когда Русские проходили по улицам, то несколько человек из неприятельскаго войска, скрывшиеся в домах, стали по ним стрелять; взбешенные этим солдаты обратили город в пепел. В этот день Русские потеряли убитыми—одного капитана и 8 рядовых; ранено же было 10 человек опасно, и несколько слегка.

Потеря неприятеля должна была быть очень велика; с этого времени он, казалось, потерял последнюю надежду на благоприятный для себя исход. Сопротивление Хивинцев стало

весьма слабо; действия их, потеряв всякое [161] единство плана, мало-по-малу свелись к простым разбойническим набегам. Если бы Хивинцы в состоянии были оценить собственные выгоды, то могли бы без большого труда и безо всяких потерь для себя представить Русским во время их движения неодолимые препятствия, они могли бы вероятно даже запереть самый проход в Хиву. Им легко было разрушить все мосты; а так как при колонне имелся всего один мост, то Русские никак не были бы в состоянии переправиться через каналы, которые были очень быстры и глубоки, и часто достигали от 40 до 100 футов ширины. А между тем по всему пути мосты не только нигде не были разрушены, но еще оказывались такими крепкими что под них требовалось не более двух-трех подпорок из древесных стволов чтобы переправлять самую тяжелую пушку. Теперь однако неприятель приступил к сожиганию мостов. На первое время это очень было затруднило движение Русских, но спустя некоторое время они стали высылать вперед кавалерию, которой удавалось почти всегда подъезжать вовремя к подожженным мостам и тушить огонь прежде чем он мог причинить значительные повреждения.

В следующие дни несколько раз завязывалась перестрелка с неприятелем, который, как всегда, нападал на верблюдов и обоз с фуражем.

Армия шла теперь чрезвычайно плодородною страной. Однажды, когда войска проходили сетью безчисленных ручьев, каналов, густых садов и глиняных построек, они внезапно были окружены со всех сторон. Положение их, посреди тесно застроенного узбекского селения, сначала казалось весьма критическим. Но пробили несколько глиняных стен, пехота установила пушки и неприятель был отбит и потерпел большую потерю. У Русских же был тяжело ранен один офицер и один солдат, да трое солдат легко ранены.

Во время дальнейшего следования отряда к нему выходили на встречу жители окрестных деревень, многие с окровавленными головами. Они говорили что их собственные земляки избили их и ограбили, и просили помощи и защиты Русских. По их словам, Хивинцы не только потерпели огромные потери, но многие из них, попрятавшиеся по домам в страхе от приближения пехоты, были

заживо [162] сожжены Русскими солдатами, не подозревавшими что Хивинцы засели внутри.

23го мая (4го июня) около полудня в отряде было получено послание от хана с предложением перемирия. Генерал Веревкин тотчас понял что единственною целью хана было выгадать время, и понятное дело, отверг это предложение.

Это ханское послание было чрезвычайно замечательным произведением, и возбудило не мало смеху в лагере Русских. Начиналось оно заявлением что и генералу фон-Кауфману выслан был документ такого же содержания. Далее, хан самым дружеским и наивным образом просил командующих русскими отрядами считать себя по вступлении в Хиву его гостями. Сам он, говорилось в любезном послании, всегда был очень дружески расположен к Русским войскам и почтет теперь за счастье принять их у себя и угостить их роскошнейшим образом в своей столице. Он просил дать ему только три или четыре дня срока чтоб устроить достаточно великолепный прием для дорогих гостей. Несколько раз в этом послании повторял хан уверенья в своем дружеском расположении к Русским начальникам, прося их отнюдь не судить об нем по действиям варваров и грабителей Туркмен, которые имели неслыханную дерзость препятствовать движению русскаго отряда. У него, хана, с этими разбойниками нет ничего общаго; напротив того, он даже считает их своими злейшими врагами.

26го мая (7го июня) колонна подошла к обширным садам ханскаго загороднаго дворца Шанах-Тчик, лежащим всего в четырех верстах от северных городских ворот. Здесь простояли Русские три дня и имели нисколько больших и малых стычек с хивинскими войсками. В одной из этих встреч неприятель потерял от четырехсот до пятисот человек.

Между тем о приближении генерала Кауфмана не получалось никаких известий; напротив того, еще ходили слухи что Туркестанский отряд принужден был, за недостатком провизии и подвод, возвратиться к реке, и был еще во ста верстах от Хивы. Этот факт вместе с утомительным действием на людей и лошадей ежечасных стычек с неприятелем, да наконец и распространившийся [163] слух что хан готовится дать большое

сражение под стенами города, довели генерала Веревкина до убеждения что неблагоприятно было бы еще дальше откладывать нападение на Хиву.

Итак, вечером 27го мая (8го июня) были сделаны необходимые распоряжения для рекогносцировки города на следующий день.

Утром 28го мая (9го июня) пошли к городу. Генерал Веревкин со штабом, по обыкновению, был во главе колонны. Неприятель высыпал большими толпами, но нападать не пытался. Наконец, войско вышло на узкую дорогу, не более двух сажень шириною. Она была огорожена стенами, и везде кругом раскинулись непроницаемой сетью дома, сады и каналы.

Стали тихо и осторожно подвигаться по этой узкой тропинке, поднимая на ходу такое густое облако пыли что ни один человек в отряде не был в состоянии рассмотреть своего соседа. Вдруг слух их был поражен, как громовым ударом, ружейными выстрелами и грохотом артиллерийских орудий; засвистали над головами ружейные пули и пронеслось тяжелое ядро, всевшее в глиняную стену тотчас за ними. Это была нечаянность, чуть ли не западня. Благодаря окружающим их стенам, деревьям и пыли, они подошли, сами того не заметив, на сотню шагов к городской стене, и Хивинцы открыли по ним огонь в упор.

Залпы следовали один за другим, но к счастью Русских, Хивинцы целились слишком высоко и большая часть пуль проносилась над головами отряда. Однако люди стали падать; приходилось действовать со всевозможною поспешностью.

Отступление становилось уже немыслимо если бы того и желали. Единственным исходом было идти к стенам под огнем, который с каждою минутой делался все смертоноснее.

Генерал Веревкин отдал войскам приказ подвигаться бегом. Через минуту они очутились на открытом месте против одних из городских ворот. Прямо перед ними, саженьях в пятидесяти и в таком же расстоянии от городских стен воздвигнуто было что-то в роде земляного укрепления, которое пересекало дорогу и было [164] защищено четырьмя пушками. Артиллерии дан приказ выдвинуться

вперед, но тем временем огонь неприятельской батареи до того усилился что генерал Веревкин решился сперва взять ее. На приступ посланы были две роты пехоты под начальством майора Буровцева. Минуту спустя люди с криком стремительно бросились вперед по пыльной дороге. Но не доходя несколько шагов до бруствера, они встретили глубокий и широкий канал с узким мостом перекинутым через него. Странное дело—неприятель не подумал уничтожить этот мост. Перебежали через него под градом неприятельских пуль, сыпавшихся на них с городских стен, ворот и самого бруствера, с криком перескочили через все препятствия и ударили в штыки на пушкарей. Русские уже завладели пушками; но на обратном пути было так много препятствий и так был смертоносен неприятельский огонь что оттащить их с места было задачей весьма трудной. Они принуждены были спрятаться за берегом канала и, присев тут, стали отвечать огнем на неприятельские выстрелы со стен. Их пули почти не имели никакого действия при неприятельской защищенной позиции. Если бы при них были лестницы, то безопаснее оказалось бы штурмовать стены нежели отступать. Артиллерия горячо принялась за дело, а маленькому отряду Русских, очутившемуся таким образом между двух огней, теперь оставалось только прислушиваться к свисту хивинских ядер и русских гранат, которые так близко пролетали над их головами что чуть-чуть их не задевали.

Так продолжалось с четверть часа; когда же русская артиллерия заставила неприятеля на минуту прекратить огонь, то и сама перестала стрелять, чтобы дать возможность людям ходившим на приступ батареи отступить. Эти последние поспешили воспользоваться представившимся случаем, схватили пушки и стали тянуть их с места. Но Хивинцы немедленно возобновили пальбу и Русские принуждены были под их огнем перетаскивать пушки одну за другою по узкому мосту и дороге, на расстоянии сотни сажень, прежде чем дошли до прикрытия. Им удалось оттащить только три пушки; одну пришлось оставить на месте.

Тем временем генерал Веревкин был ранен выстрелом прямо над левым глазом; рана эта едва не [165] оказалась смертельной. Дав приказ установить батарею чтобы сделать брешь в стене, он удалился, передав начальство полковнику Саранчеву.

Теперь открыта была правильная бомбардировка, под руководством полковника Скобелева, и продолжалась до четырех часов.

В это время прибыл от хана посланный, прося прекратить бомбардировку чтобы вступить в переговоры об условиях капитуляции.

Полковники Саранчев и Ломакин согласились приостановить неприязненные действия на несколько часов; но едва посланный удалился от Русских, как Хивинцы опять стали стрелять. Русские немедленно возобновили бомбардировку.

Опять явился посол от хана с уверением что он не был виноват в этой стрельбе, которая продолжалась вопреки его желанию и данным приказаниям, непокорными ослушниками Туркменами. Заявление это принято было за самое нахальное безстыдство со стороны хана, и бомбардировка продолжалась. После, однако, оказалось что хан говорил правду: он действительно не имел никакой власти над Туркменами.

Под вечер от генерала Кауфмана, с которым установлено было сообщеше, пришел приказ прекратить бомбардировку; хотя и неохотно, но приказу этому повиновались. Этим и закончились действия 28го мая (9го июня).

Вид на цитадель.

VIII. Вступление в город.

Как я уже говорил в одной из предыдущих глав, хан прислал генералу Кауфману письмо, в котором заявлял свою покорность и просил прекратить бомбардировку. Надо вспомнить что в это время генерал Кауфман стоял еще в пятнадцати верстах от города. Он немедленно послал курьера к генералу Веревкину с приказанием прекратить бомбардировку, а хану написал чтобы тот выезжал на следующее утро с сотней своих приближенных за городския ворота, и что там ему будут объявлены условия сдачи.

На следующее утро с восходом солнца выступили мы к городу. Ходили несообразнейшие слухи о том что произошло в Хиве за эту

ночь.

[166] Народ, высыпавший толпами на дорогу с своими приношениями в знак мира, сообщил нам что когда обыватели узнали о намерении хана сдать город неприятелю, то пришли в совершенное бешенство, прогнали своего властелина и поставили на его место брата его, решившись обороняться а outrance. Словом, это было другое 4е сентября, устроенное по последней французской моде. Радость распространившаяся в отряде при перспективе давно-желанной битвы не знала границ; но не долго суждено было ей длиться. Верстах в пяти под Хивой мы были встречены депутацией с Сеид-Эмир-Уль-Умаром, дядей хана, во главе, о котором я уже упоминал, как о губернаторе Хазар-Аспа. Он вышел сдавать город и сообщил генералу Кауфману что народ и не думал прогонять хана, но что последний бежал сам. Женам и рабам своим он оставил приказ следовать за собою, но народ не выпустил женщин из дворца, а содержал их под караулом в том же гареме, думая сделать в лице их приятный подарок на мировую генералу Кауфману. Бегство хана произошло следующим образом.

Как оказалось, Туркмены решились защищаться до последней возможности. Несмотря на запрещение хана, они продолжали стрелять по войскам генерала Веревкина, подошедшим к стенам. При ответном огне Русских битва возобновилась с перерывами. Наконец Русские принялись опять бомбардировать город: бомбардировка продолжалась, с некоторыми промежутками, целую ночь. Несколько гранат даже попадало во дворец; в последствии Русские нашли в ханских конюшнях одну не разорвавшуюся гранату. Эта постоянная бомбардировка так перепугала хана что он бежал в сопровождении сотен двух-трех Туркмен в Имукчир, близ Илиали. Городские же обыватели ни мало не желали продолжения битвы; напротив того рады были сдаться.

Сеид-Эмир-Уль-Умару было на вид лет семьдесят. Отвисшая нижняя челюсть и открытый рот—следствие употребления опиума, как объяснили мне, придавали лицу его совершенно идиотское выражение. Однако он вовсе не был так глуп; здравый разум его виден уже в том что он целые годы тому назад уговаривал хана согласиться [167] на требования Русских, в предупреждение их нападения. Долгое время находился он даже в опале, благодаря

своему миролюбивому расположению к Русским; вследствие этих же политических соображений, однако, был он послан ханом в настоящем случае чтобы сдать город и ходатайствовать пред неприятелем за провинившагося племянника. Одет он был в яркий зеленый халат, на голове у него была высокая хивинская баранья шапка, а на ногах большие сапоги из нечерненой кожи, загнутые вверх на носках и украшенные высокими и узкими каблуками.

Генерал фон-Кауфман рассказывал мне что когда Сеид-Эмир-Уль-Умар уговаривал настоящего хана согласиться на требования Русских, то в дело вмешался другой ханский советник, говоря: „Когда я был еще маленьким мальчиком, то помню все говорили что Русские на нас идут, но они не пришли. С тех пор чуть ли не каждый год слышал я что они идут. Вот я уже успел состариться, а Русские все еще не пришли, да я думаю никогда и не придут.“ Аргумент этот показался совершенно убедительным, и хан сознал его ошибочность только тогда когда Русские стали громить его столицу.

Меньшой брат хана, Ата-Джан, содержавшийся последние два года в заключении и только теперь освобожденный, сопровождал Сеид-Эмир-Уль-Умара и, как тут оказалось, был кандидатом на престол. Генерал Кауфман принял его ласково, но ханом обещал посадить его только в таком случае если старшей его брат не вернется. Ата-Джан был высокий, худощавый, немного олуховатый на вид юноша, вовсе, казалось, неспособный держать в руках своих кормило правления. Однако говорят что он гораздо умнее чем кажется с первого взгляда, и очень любим народом.

Было уже около девяти часов, и колонна двинулась дальше. Сеид-Эмир-Уль-Умар и Ата-Джан присоединились к штабу. День становился жарок, пыль была невообразимая; она поднималась вокруг нас таким густым столбом что минутами нельзя было различить ехавшаго рядом соседа. В десять часов, верстах в двух от Хивы, мы были встречены частью Оренбургскаго отряда, выехавшей нам на встречу в полной парадной форме. Весело сошлись здесь войска в первый раз по [168] выступлении своем чуть ли не с разных частей земнаго шара; но самого генерала Веревкина тут не было для встречи Кауфмана, оказалось что будучи ранен он не в состоянии был выйти из своей палатки.

Главнокомандующий свернул с дороги под деревья чтобы там выслушать донесение Оренбургского отряда. Этим временем опять раздалось со стороны города несколько выстрелов, что показалось мне несколько странным после того как город уже сдался на капитуляцию. Объяснить себе этого обстоятельства я не мог в течение всех последующих дней, так как, по какой-то непонятной причине, офицеры нашего отряда скрывали от меня правду на этот счет. До истины добрался я только тогда когда познакомился с офицерами Оренбургского отряда.

Вот в чем было дело. Туркмены, не довольные таким смиренным окончанием войны, решились продолжать сопротивление. Генерал фон-Кауфман подвигался по дороге от Хазар-Аспа к городским воротам того же имени, тогда как генералом Веревкиным накануне было произведено нападение на северные, Хазаватския ворота, лежащая верстах в двух дальше. Хотя Сеид-Эмир-Уль-Умар и вышел сдавать город со стороны Хазар-Аспа, но это не помешало Туркменам время от времени продолжать стрелять по войскам генерала Веревкина, против которых у них была какая-то злоба. Я не могу достаточно надивиться на этот народ и налюбоваться на него. Долгое время спустя после того как сам хан и остальные обитатели оазиса отказались от всякого сопротивления, они все продолжали сражаться; если бы все прочие хивинские народы выказали такую же отвагу и настойчивость как Туркмены, то результат кампании был бы совершенно другой. Русские, конечно, взяли бы город, но понесли бы такой урон что положение их в стране было бы чрезвычайно ненадежно.

Полковник Саранчев, которому пришлось после генерала Веревкина командовать отрядом, чуть ли не был также расположен сражаться как и сами Туркмены. Да и окружен он был молдыми, пылкими офицерами, подобными полковнику Скобелеву и графу Шувалову, которые с радостью схватывались за представившийся предлог для продолжения битвы.

[169] Хотя генерал Кауфман уже самым мирным образом входил в город с противоположной стороны, они, разгоряченные туркменским огнем, решились взять, с своей стороны, город приступом.

Направили несколько гранат на ворота Хазавата, пробили их, и полковник Скобелев с графом Шуваловым во главе тысячи человек солдат, бросились на приступ под градом выстрелов из ручных орудий, сыпавшихся на них с городских стен. Как только Русские овладели воротами, Туркмены сошли со стен и разбежались по улицам и домам, все еще продолжая стрелять. Русские же стали расчищать себе дорогу ракетами и шли, сражаясь все время на ходу, пока не достигли ханского дворца.

Не успели они здесь простоять и пяти минут, как пришло известие что Туркестанский отряд входит воротами Хазар-Аспа. Полковник Скобелев немедленно дал приказ отступить теми же воротами какими вошли. В деле этом граф Шувалов был так сильно контужен упавшим бревном что не совсем еще оправился и уезжая из Хивы; ранено было 14 солдат.

Мы же тем временем стояли с другой стороны города, выжидая результата переговоров с Сеид-Эмир-Уль-Умаром. Когда все было устроено по обоюдному соглашению, генерал Головачов двинулся дальше. Впереди колонны выступали две роты пехоты сопровождаемая четырьмя полевыми орудиями; за ними следовали еще две роты и 200 казаков.

Время уже близилось к полудню когда впервые открылся пред нами знаменитый город. Завидели мы его всего за полверсты, благодаря массам деревьев которые совершенно заслоняли его от нас. Наконец мы различили его в облаке поднятой нами пыли. Высокия, зубчатая стены из убитой глины с массивными круглыми контрафорсами, окруженная рвом, частью пересохшим, частью еще наполненным водою, с видневшимися за ними верхушками деревьев, высокими минаретами, куполами мечетей и, посреди всего этого, огромная круглая башня, как фарфор отражающая солнечные лучи. Мы были пред воротами Хазар-Аспа. Крытый ход десяти футов ширины при двадцати вышины, с выложенными кирпичом сводами; по бокам две тяжелыя башни с бойницами; таковы были ворота [170] открытыя теперь пред нами и сами по себе представлявшия маленькое укрепление. Мы вошли в город в таком густом облаке пыли что я не мог различить головы моей собственной лошади; знамена развевались высоко над головами, а

военный оркестр Оренбургского отряда играл русский национальный гимн: Боже Царя храни. Пройдя ворота, мы оставили пыль за собою и увидели наконец самый город.

Я думаю, каждый из нас испытал некоторое чувство разочарования в эту первую минуту. Мы, конечно, не надеялись встретить в Хиве величественных архитектурных красот, но все-таки думали увидеть что-нибудь поразительное, живописное; ожидания наши были жестоко обмануты. Хива представляет очень живописный вид, но не с той стороны с которой мы вошли в нее; когда мы подошли ближе, то даже самый оригинальный ее пункт— большая изразцовая башня — скрылся за ближайшими деревьями и стенами. Прямо пред нами, вдоль внутренней части стены, разстилалось большое открытое место с разбросанными по нем деревьями, глиняными домами и сараями, не более десяти-пятнадцати футов вышины; немного вправо, множество круглых, полусферических, гробниц — кладбище находится почти в центре города,—дальше опять дома из глины, повыше и с большими претензиями, с высокими портиками и разбросанными между ними деревьями; затем глиняные стены цитадели, из-за которых виднелись верхи минаретов. При входе не встретилось нам ни одной живой души, но когда мы въехали в длинную, узкую, изогнутую улицу, обнесенную безобразными, голыми стенами, то стали различать в боковых улицах людей в грязных, оборванных халатах, которые снимали шапки и робко отвешивали нам поклоны. Это были городские обыватели не знавшие еще перережут их всех поголовно или помилюют. С каким, должно-быть, чувством страха и даже суеверного ужаса смотрели они нам вслед, когда мы тут проходили пыльные и грязные, после девятисот-верстного перехода пустыней, считавшейся ими непроходимую для войска. Суровыми, грозными и непобедимыми должны мы были казаться им, как какие-то странные, могущественные обитатели неведомаго им мира.

Затем мы проехали мимо толпы рабов-Персиян, [171] которые встретили нас ликующими криками, со слезами радости. Они положительно обезумели от счастья. И сюда дошел слух что куда ни проникали Русские, оттуда всегда исчезало рабство, и они не сомневались что так будет и здесь. Некоторые уже сами освободились, и теперь сшибали цепи с нескольких других

несчастных, крича, смеясь и плача в одно и то же время самым диким образом.

Я воспользуюсь этим случаем чтобы досказать начатую мною прежде историю одного из хивинских рабов. Людям моим посчастливилось встретить молодого Киргиза мать которого приходила в кибитку Бей-Табука просить меня освободить ее сына захваченного в рабство. Его нашли закованным в тяжелыя цепи за попытку к бегству, и немедленно освободили. Я после встретил его совершенным щеголем, в красном халате, с мечом и ружьем, на хорошей лошади, по всей вероятности захваченной им у прежнего хозяина.

Узкая, пыльная и кривая улица привела нас к цитадели, в которую вход был длинными кирпичными воротами со сводом. Когда вступили за ворота, то могли ближе рассмотреть большую башню, выступившую теперь пред нами во всем блеске своих ярких, разноцветных узоров. Повернув прямо на башню в узкую улицу не более десяти футов шириною, мы скоро выехали на четырехугольное открытое место, сажень в двадцать пять шириною, при сорока длины, которое и оказалось большою городскою площадью пред ханским дворцом. Одна сторона этой площади была занята дворцом, состоящим из тяжелых, растянутых строений с зубчатыми глиняными стенами около двадцати футов вышины; на противоположной стороне стояла новая, еще неотстроенная медресе; две остальные стороны окружены были сараями и частными домами, у юго-восточного же угла дворца возвышалась, красивая и величественная, знаменитая хивинская башня.

Она была футов тридцати в диаметре при основании и, постепенно суживаясь к вершине, казалось, была там, на высоте 125 футов, всего футов пятнадцати в диаметре. Она не имела ни пьедестала, ни капители, ни какого другаго украшения, стояла на земле безо всяких затей—простая круглая башня—но поверхность ее вся была покрыта изразцами голубаго, зеленаго, пурпураваго и бураго цветов, [172] выложенными по снежно-белому грунту самыми разнообразными полосами и фигурами; в целом это производило самый блестящий и прекрасный эффект. Башня эта испещрена изречениями из Корана и пользуется большим почетом Хивинцев; с вершины ее ежедневно на закате солнца раздается

резкий, пронзительный голос муллы, призывающего правоверных к молитве.

Вершины двух боковых башен у дворцовых ворот были обделаны подобно большой башне, также часть фасада новой, еще не оконченной медресе предполагалось, повидимому, изукрасить таким же образом. Почти по середине площади был четырехугольник, футов десяти в квадрате и углубленный футов на шесть в землю, что, как я узнал после, было местом казни преступников.

Выехав на эту площадь, мы разместились вокруг нея, в ожидании прибытия генерала Кауфмана. Он въехал сопровождаемый Великим Князем Николаем Константиновичем, Князем Лейхтенбергским, всем штабом, и был встречен громким ура. Мы все сошли с коней и вошли в дворцовые ворота, частью заслоненные тяжелою медною пушкой. Ими прошли мы в длинный, узкий, неправильный двор. Влево от него шла ветвь ведущая к конюшням; направо были две высокия тяжелыя деревянные двери гарема, а прямо пред нами возвышалась масса низких, неправильных глиняных строений. В них-то теперь направляемся мы темным узким корридором и входим в полутемную комнату футов восьми ширины при шестнадцати длины, в которую свет проникал всего чрез одно отверстие в потолке; отсюда переходим в другой темный корридор и выходим на главный дворцовый двор. Он около сорока футов в квадрате, вымощен кирпичом, осенен тенью одного вяза и окружен стенами футов двадцати вышиною, над которыми, с северной стороны высилась четырехугольная башня гарема. На южной же стороне расположена была большая приемная зала, где хан давал свои аудиенции.

Представьте себе род портика, совершенно открытый ко двору, тридцати футов вышины, двадцати ширины, десяти в глубину, с башнями по бокам, изукрашенными подобно большой башне на площади; пол, возвышенный футов на шесть над двором; потолок, подпертый двумя высокими [173] деревянными разными столбами —общий вид весьма напоминающий театральные подмостки — и вы будете иметь весьма верное понятие о большой приемной зале, в которой возседает Хивинский хан, изрекая свои приговоры, казня и милуя народ. Мы все поднялись по ступенькам на это подобие

сцены—генерал Кауфман, генерал Головачов, Великий Князь Николай Константинович, Князь Лейхтенбергский, офицеры штаба и все остальные, и расселись на ней отдыхать; в это время военный оркестр играл разные пьесы. Когда раздались в ушах наших старые, давно известные мотивы присутствующая молодежь подняла дружный крик восторга, который раздался по всему дворцу.

Старый Якуб-Бек, один из ханских министров, принес нам воды со льдом, чего мы никогда и не воображали найти в Хиве, пшеничных лепешек, абрикосов, вишен, и мы весело приступили к этому угощению. Сам хивинский властелин, Сеид - Мохамед - Рахим-Богадур-Хан, бежал, его дворец и гарем были теперь во власти Русских. Так-то пала великая твердыня ислама в Центральной Азии, славная Хива, после целого ряда направленных против нея несчастных экспедиций, обнимающих собою, с промежутками, период в двести лет.

Трофей. Верещагин.

IX. Предшествовавшие экспедиции против Хивы.

Не безынтересно теперь будет бросить беглый взгляд на прежние экспедиции направленные против Хивы.

Первая из них была предпринята Яикскими или Уральскими казаками. Она была задумана, подготовлена и приведена в действие одним знаменитым казацким атаманом и, в сущности, была не более как грабительским набегом, организованным в обширных размерах. Атаману этому действительно удалось завоевать ханство. Захватив хана врасплох, не подготовленным к войне, он самого его прогнал, занял его столицу, захватил его казну и его жен. Затем объявил себя ханом и, говорят, правил страной два или три месяца, обратил этим временем ханскую жену в христианство и женился на ней. Наконец, убедившись что ему долее в Хиве не продержаться, [174] он забрал всю награбленную добычу и пошел обратно на Урал.

Тем временем хан успел собрать большое войско и пустился преследовать казаков, замышляя кровавую месть и наконец нагнал их. Завязалась страшная битва, в которой казаки потерпели решительное поражение и были перерезаны. Спаслось их всего пять или шесть человек, которые возвратясь домой и рассказали о

происшедшем. Видя что нет спасения, казачий атаман убил, свою молодую обращенную в христианство жену, чтобы ей не пасть жертвою взбешенного хана, а затем умер сам с мечом в руках, окруженный гекатомбой перебитых мусульман.

Несколько лет спустя, другая казачья экспедиция напала на Куня-Ургенч, захватила около 1.000 женщин себе в жены и пошла назад с богатою добычей. Хан преследовал их, нагнал и перебил почти до последнего человека. Еще одна казачья экспедиция была также несчастлива. Эти даже и не дошли до оазиса, но были на полдороге встречены и разбиты толпами Хививцев, значительно превосходившими их численностию.

Следовавшая затем действия Русских против Хивы состояли из экспедиции Бековича-Черкасского, в 1717 году, в царствование Петра Великого. В 1700 году к Петру явился посол от хивинского хана Шах-Ниаза, который, не будучи в состоянии справиться со своими возставшими подданными, прибежал под могущественную защиту Русского монарха. Шах-Ниаз просил Петра принять ханство в свое подданство. Так как Петр, несмотря на непрестанные свои заботы связать Россию с остальною Европой, никогда не упускал также и случая усилить торговые сношения своего государства с Азией, то он письмом ответил хану что принимает подданство Хивы.

Но никаких других мер не было принято для скрепления этого добровольного соглашения. Наконец, в 1714 году, один Туркмен по имени Хофа-Нефет, бывший в Хиве, доложил раз Петру, при личном свидании с монархом, что в стране лежащей по течению Аму-Дарьи находится золото; и что река, впадавшая прежде в Каспийское море, переведена Хивинцами, из страха пред Русскими, в море Аральское, но легко может опять быть проведена в старое [175] русло, если разрушить всего одну дамбу. В этом же последнем деле, говорил Туркмен, народы его племени охотно помогут Русским.

Чтобы проверить это известие, Петр Великий послал князя Бековича-Черкасского исследовать берега Каспийского моря, а также и посмотреть какия могут предстоять шансы успеха если направить экспедицию по берегам предполагаемого старого русла Аму к Хиве. Бекович провел три года над этою задачей, расследуя

восточное побережье Каспийского моря и строя форты для защиты страны занятой здесь Русскими, убедился в справедливости слов Туркмена что Аму-Дарья первоначально текла в Каспийское море. Вернувшись, Бекович доложил о результате своих исследований Петру, и император послал в Хиву экспедицию, чтобы водворить там свою власть, основываясь на выраженной ханом Шах-Ниязом 17 лет тому назад покорности. Бековичем была немедленно снаряжена для этой экспедиции армия из 4.000 человек регулярных и иррегулярных войск.

Экспедиция вышла из Гурьева, при устья Урала, в начале июня. Обогнула Каспийское море по северным его берегам, напала на старый караванный путь к Хиве и пошла на перерез пустыне. Поход этот, предпринятый во время летних жаров, был ужасен. Пока отряд дошел до Хивы, одна четверть людей уже вымерла. Прошли они в 65 дней 1.350 верст по голой, безводной пустыне, в самую жаркую пору года, и вышли в половине августа к дельте, Оксуса, в 150 верстах от Хивы.

Не доходя еще до этого места, Бекович отправил хану письмо, уверяя его что он пришел не воевать, а с дружеским посланием от Русского государя, сущность же дела объяснит при свидании. Этим временем, однако, прежний хан, Шах-Нияз, скончался, и его место занял хан Шир-Гази, взгляд которого на Русских совершенно расходился со взглядом его предшественника. Посланные от Бековича, по прибытии в Хиву, брошены были в темницу, хан поспешно собрал большую армию из Хививцев, Туркмен, Киргизов, Кара-Калпаков, и решился встретить Русских с оружием в руках.

В тот день как Русские вступили в пределы оазиса, их встретила хивинская конница и, не пускаясь ни в [176] какие переговоры, бросилась на русский лагерь. Битва, завязавшаяся таким образом, продолжалась до самой ночи; тогда Хивинцы отступили. Предвидя новое нападение, Бекович в течение ночи укрепил свой лагерь и выставил в позиции свои шесть полевых орудий. На следующее утро битва возобновилась и длилась целых два дня, по прошествии которых Хивинцы, видя что им не отбить Русских, прибегли к переговорам. Прибыл от хана посол с заявлением что нападение на Русских произведено было без его ведома и что, если Бекович действительно прибыл в Хиву в качестве

дружеского посла, то ему нечего бояться вражды Хивинцев. Вступили в личные переговоры и пришли к соглашению, которое и было изложено в предварительном договоре и скреплено присягой: хан поцеловал Коран, а Бекович крест.

Затем Бекович принял предложение хана идти с ним в его столицу; оставляя главные силы отряда позади, под начальством полковника Франкенбурга, он велел этому последнему следовать за собою в некотором разстоянии, а сам пошел вперед, всего с одной тысячею солдат. Когда до столицы оставалось дня два пути Бекович остановился и имел продолжительный разговор с ханом. Ссылаясь на трудность снабжения такого большого Русского отряда квартирами и провизией в самой столице, хан стал при этом свидании уговаривать Бековича разделить состоявший при нем конвой и колонну оставленную позади на несколько небольших отрядов, которые легко бы было разместить по ближним к столице городам.

Такое необыкновенное предложение не могло бы не возбудить подозрения всякаго другаго человека; но Бекович очевидно, уже не был этим временем в своем уме. В самый день его выступления из Астрахани утонула его жена с двумя дочерьми, и это, вместе с тяжелым переходом, по пустыне, потерей такого количества людей и сознанием страшной ответственности лежащей на нем, довело его почти до сумасшествия. Он не только не обнаруживал никакой подозрительности относительно чистосердечия ханскаго предложения, но, ни мало не медля, отправил полковнику Франкенбургу приказ разделить войска; когда тот три раза отказывался исполнить этот приказ, Бекович послал к нему четвертый раз, грозя [177] ему военным судом в случае ослушания. Тогда Франкенбург разделил все войско на пять частей, которыя и разставили по городам сообразно инструкциям хана. Свой собственный конвой Бекович сократил до двухсот челове.

Едва все это было приведено в исполнение, как Хивинцы напали на Бековича. Часть его людей была перерезана, часть взята в плен. Самого его с состоявшими при нем офицерами бросили в темницу, подвергли жесточайшим пыткам и наконец обезглавили. В то же время, по данному сигналу, поднялось все хивинское население и перерезало разбросанные по стране маленькие Русские

отряды, из четырех тысяч войска что выступили в эту экспедицию, спаслось всего 40 человек. Продержав долгое время этих последних в плену, Хивинцы наконец выпустили их на свободу, взяв за них большой выкуп. Любопытно что в числе выпущенных пленных были два брата Бековича. Таков был конец четвертой экспедиции против Хивы.

В течение следовавших за тем 120 лет Хивинцы поменялись ролями с казаками. Прежде казаки нападали на Хивинцев и грабили их—теперь же Хивинцы стали нападать на казаков. Ежедневно почти производились Хивинцами нападения на Русские торговые караваны, проходившие по Центральной Азии, причем захватывали целыя тысячи казаков и других Русских и уводили в рабство в Хиву.

В 1839 году разбойничество это дошло до невозможных размеров. Много было сделано попыток чтобы мирным путем заставить хана положить конец этому грабительству. Но, не добившись ничего этим путем, Русские опять принуждены были послать свои войска на Хиву.

Эта экспедиция была снаряжена в Оренбурге генералом Перовским. Приготовления к ней длились целый год; наконец, в начале декабря 1839 года вышел из Оренбурга отряд из пяти тысяч человек с 22 полевыми орудиями и обозом из 10.000 верблюдов. Перейти пустыню летом считалось невозможным, по недостатку воды, потому и решились выступить в поход зимой.

В половине декабря термометр Реомюра стоял на 32° ниже точки замерзания, и самая ртуть наконец, замерзла в трубке. Несмотря на это, однако, войска добрались до Эмбы [178] в хорошем состоянии; ни одного человек не замерзло и не умерло. Но зима эта оказалась необыкновенно суровою. Снег дошел до глубины невиданной до тех пор даже в степи. Начиная с этого времени верблюды стали падать в таком множестве что не доходя полупути к Хиве при войске осталось всего 5.000 верблюдов из тех десяти тысяч что выступили в поход: целая половина их попадала в изнеможении на снегу. Страдания выпавшая на долю солдат были ужасны. Чтоб облегчить насколько возможно оставшихся животных, пехоте пришлось подвигаться вперед четырьмя рядами чтобы протоптать дорогу верблюдам. Когда снег был уже слишком глубок,

кавалерия проезжала несколько раз взад и вперед по одному месту; а в других местах пехоте приходилось лопатами разгрести снег. Несмотря однако на все эти предосторожности, верблюды продолжали падать по множеству.

Потеря всякого верблюда причиняла не мало затруднений людям. Надо было перетаскивать вьюк с павшего животного и распределять его между другими, а затем и самого его оттаскивать с дороги чтобы дать проход всему отряду. Люди доводились до изнеможения подобными работами, при которых сами уходили по колена, а иногда и по пояс в снег. Местами снег был тверд как лед и способен выдерживать всякую тяжесть; в других же местах он был совершенно рыхлый, и людям стоило невероятных трудов вытаскивать из него лошадей, верблюдов и орудия. В иные дни, после всей этой усталости, всей этой борьбы с препятствиями, оказывалось что подвинулись вперед всего на каких-нибудь три, четыре версты.

Во время ужасных степных буранов не было уже никакой возможности идти вперед; приходилось останавливаться и на месте ждать пока утихнет метель. Морозы с каждым днем усиливались. Даже на ночных стоянках войска почти не знали отдыха: при каждой остановке приходилось разбирать 19.000 тюков и надо было выкапывать из жесткой, мерзлой почвы топливо для костров. Затем приходилось разчищать от снега место для лошадей и верблюдов, и бедным солдатам не приходилось никогда остановиться самим на отдых раньше восьми или девяти часов вечера. В два, три часа следующим утром [179] приходилось опять выступать в путь. В такие морозы не было никакой возможности стирать белье и поддерживать какую-нибудь чистоплотность. Многие не только не меняли белья, но и платья не снимали в течение всей кампании. Наконец обезсиленные работами и голодом, покрытые грязью и всякого рода гадами, солдаты стали подвергаться болезням.

К 1му февраля отряд дошел до источника Ак-Булак, на окраине возвышенного плоскогорья Усть-Урта, почти на полупути к Хиве. Тут оказалось что число падавших в день верблюдов доходило до целой сотни; их оставалось даже меньше пяти тысяч, а те что могли подвигаться вперед не были в состоянии вести более четверти обыкновенного вьюка. Число же больных при отряде возрастало с

быстротой ужасающею. 236 человек уже умерли; 528 было больных, тогда как много также людей было оставлено гарнизоном на Эмбе. За вычетом всего этого действительныя силы отряда сводились всего к 2.000 человек. А впереди оставалось еще перейти целых 500 миль до вступления в обитаемую часть Хивы. Генерал Перовский решился отступить.

На возвратном пути пришлось бороться с теми же препятствиями; морозы продолжались, термометр колебался между 15 и 20 градусами Реомюра. Кроме того снежные вихри сделались чаще, воды было мало, топливо же как и прежде приходилось выкапывать из мерзлаго грунта. Обратный поход был также тяжел как и движение вперед; да кроме того и люди пали духом при отступлении. Весь путь был усеян трупами верблюдов оставленными войском позади, и кости этих животных были обступлены стаями алчных волков и лисиц.

Число больных все увеличивалось, цынготная болезнь распространилась как между солдатами, так и в среде офицеров. Павшая духом и вполне изнеможенные войска дошли 20го февраля до Эмбенскаго укрепления и здесь стали дожидаться возвращения весны.

Такова-то была печальная судьба пятой экспедиции против Хивы. Снаряженная генералом фон-Кауфманом была по счету шестою.

[180] X. Во дворце.

Главнокомандующий пробыл в ханском дворце около двух часов, а затем отправился вместе с Великими Князьями в лагерь Оренбургскаго отряда навестить генерала Веревкина, который, надо вспомнить, был ранен в деле предыдущаго дня.

Во дворце остался генерал Головачов с тремя или четырьмя ротами солдат, которые частью расположились но дворе, а частью на площади пред ханским дворцом.

Соснув часа два на полу в большой приемной зале, я выпил стакан чая с пшеничными лепешками и пошел осматривать дворец.

Время близилось к вечеру, и удушливый дневной жар начинал понемногу спадать. Дворец, как я уже заметил прежде, состоял из множества глиняных построек, сгруппированных в одно большое неправильное здание, окруженное тяжелою глиняною стеной, футов около двадцати в высоту, с довольно красивыми воротами и несколькими сторожевыми башнями. Слева, при входе, были конюшни, которые мы застали уже пустыми; на той же стороне множество маленьких комнат или жилых отделений, а при каждом отделении свой маленький дворик, обнесенный стенами 10ти — 15ти футов высотой, на который и выходили эти комнаты. На одной стороне дворов был всегда устроен портик, очень высокий, воздушный и открытый с северной стороны — особенность хивинской архитектуры. Комнаты были полутемные, получавшие весь свет через дверь или через маленькое квадратное отверстие прорубленное в стене, у потолка; они, может-быть, были даже комфортабельны, когда были убраны яркими коврами, одеялами и подушками, но теперь, пустые и оголенные, с глиняными стенами, они более походили на коровьи стойла, чем на покои ханского дворца. Были комнаты в которых нам, однако, попадались некоторые вещи, как-то: одеяла, ковры, кухонная посуда, разбросанный повсюду при поспешном бегстве. Я, впрочем, не могу сказать наверное сами ли обитатели этой части дворца нашли время при бегстве [181] захватить с собою самые ценные свои вещи, или народ по отъезде хана ворвался во дворец и ограбил его.

Прямо против главного входа была высокая и тяжелая двойная дверь, ведущая в гарем, а немного влево низким корридорм шел ход в главный дворцовый двор. В комнатах окружающих этот двор жили главные сановники ханской свиты; та же комната что непосредственно следовала за большим портиком или приемною залой, которая, как я говорил, напоминала театральные подмости, была ханскою сокровищницей.

В течение дня генерал Головачов приказал отпереть эту комнату; она оказалась низкою, со сводами, и одного размера с портиком; стены и потолок были покрыты фресками, изображающими, по большей части, цветы и виноградные лозы самых грубых и несообразных оттенков, какие только можно себе представить. В одном конце этой комнаты, на квадратном возвышении в роде платформы, помещался трон—широкое кожаное

кресло с низкой спинкой, хорошей работы и, повидимому, не хивинского производства. На верхней части спинки этого кресла была овальная серебряная пластинка с надписью: „Во времена Магомед-Рахима, шаха Харезма, в 1231 году. Изделие недостойного Магомета". В другом конце комнаты стояло несколько огромных сундуков окованных железом, с тяжелыми висячими замками; сундуки эти были открыты и совершенно пусты, кроме двух, из которых в одном найдено рублей на 250 хивинского серебра, а в другом — седло, уздечка и сбруя, почти сплошь покрытая золотыми бляхами, изумрудами, рубинами и бирюзой, по большей части низкаго достоинства, но которья тем не менее должны были на солнце производить большой эффект.

Насколько я мог заметить во время моего пребывания в Хиве, в этой стране попадаются очень крупные драгоценные камни, но почти все с изъяном: или вся поверхность изрыта маленькими дырочками, или самый цвет камня так бледен что отнимает большую половину его цены.

У стены и на полу лежало кучами всякаго рода оружие — мечи, кинжалы, ружья, пистолеты, револьверы всевозможных цен и размеров. Здесь было несколько [182] великолепных старых фитильных ружей с изогнутыми рукоятками, длинными тонкими стволами, постепенно суживающимися к концу, богато выложенные золотом; также много было ружей более современного образца и одна великолепная английская охотничья двуствольная винтовка, заряжающаяся с казенной части, номер 12 или 16, с большим запасом патронов и капсюлей, при ней формы для круглых пуль все инструменты для наполнения патронов. Винтовка эта, как мы потом узнали, была подарком Лорда Нортбрука, сопровождавшим его ответное послание хану на просьбу этого последняго о помощи против Русских. Кроме того тут была еще полевая зрительная труба, табатертка с музыкой и еще несколько безделиц — все подарки Ост-Индскаго вице-короля, и его письмо, от сентября 1872 года. Кажется, письмо это было опубликовано в английских газетах. Пистолеты были здесь всевозможных родов, начиная самыми старинными с кремневыми замками и кончая чем-то напоминающим револьвер Кольта; тут же нашлась весьма плохая русская подделка револьвера Смита и Вестона, что показывало что хан имел уже понятие о новейшем усовершенствованном оружии.

Мечи также были самые разнородные: две или три сабли английского произведения; широкие, красивые, слегка изогнутые хорасанские клинки, выложенные золотом, несколько тонких, изогнутых персидских сабель, в ножнах изукрашенных изумрудами и бирюзой, короткие, толстые, изогнутые авганистанские кинжалы и ножи, все богато обделанные и вложенные в ножны почти сплошь покрыты драгоценными камнями. Тут же найдены были великолепные ковры, шелковые одеяла самых ярких цветов, подушки, халаты и множество кашмирских шалей, разбросанные в величайшем беспорядке, свидетельствовавшим о поспешности ханского бегства.

В конце этой комнаты было несколько ступенек ведущих в другую. Эта последняя была низкая и маленькая комната, служившая хану и библиотекой и кладовой вместе. Здесь свалено было около трехсот томов книг, посреди всякаго хлама, кольчуги и латы, пыльные и заржавленные, с полдюжиной никуда негодных телескопов, из которых один очень большого размера, луки и стрелы; немало там также было старой посуды, ломаного железа и свинца.

Многие из книг, как я слышал от г. Куна, [183] ориенталиста экспедиции, были очень любопытны и ценны; все оне были в рукописях, некоторые даже писаны с артистическим изяществом, и в кожаных переплетах. В числе этих книг была одна—Всемирная История, и одна—История Хивы, начиная с древнейших времен. Все оне были отправлены в С.-Петербургскую Императорскую Публичную Библиотеку.

Между воинскими доспехами попадались некоторые с великолепным золотым набором; оне вероятно перешли сюда от крестоносцев через Сарацинов. На одной паре великолепных рыцарских перчаток, например, была начертана золотом лилия, а подле нея полумесяц, уже позднейшаго и много грубейшаго изделия. Эти перчатки, повидимому, потеряны были в отчаянном единоборстве, где какой-нибудь благородный французский рыцарь пал под острым кинжалом Сарацина.

Во время осмотра внутренних покоев дворца, мне пришлось быть свидетелем любопытнаго примера проворства рабов Персиян в

воровстве. Двое ила трое из этих рабов, помогавших открывать двери, вошли за нами, никем не замеченные. В ту минуту как мы готовились выйти и запереть комнату, я заметил что один из Персиян проворно стянул кинжал и сунул его под полу своего халата. Никто из присутствующих, кроме меня, не заметил этой проделки, хотя в комнате толпились с полдюжины офицеров; я же продолжал наблюдать за Персиянином.

Немного спустя он вышел во двор, несколько минут походил там, а потом преспокойно пошел своею дорогой. Я следовал за ним пока он не вошел в другой двор, где не было офицеров, тут я его остановил выразительным жестом со словом бир! — отдай. Первым его делом было притвориться ничего не понимающим, и он распахнул халат, показывая что у него ничего нет; но лишь только я ему пригрозил револьвером, он немедленно вытащил кинжал из своего рукава. Я взял кинжал, а ему сделал знак убираться. Он ускользнул как вьюн, с перекривленным еще от страха лицом, но вполне довольный что так дешево отделался. Две причины побудили меня отпустить его вместо того чтобы выдать русским офицерам. Впервых , я не хотел [184] чтоб его разстреляли, что неминуемо случилось бы еслиб я на него донес, а вовторых, меня самого прельстил этот кинжал. Впрочем, мне на этом же кинжале пришлось убедиться в справедливости поговорки что грехом нажитое—в прок нейдет: не прошло и двух недель, как этот злополучный кинжал был у меня украден вместе с лучшею моею лошадью, и, как я полагаю, тою же искусною рукой. Единственное мщение оставшееся мне было искренно пожелать чтоб этот Персиянин находился в числе тех несчастных которые, на возвратном пути в свою страну, были захвачены и перерезаны туркменами.

Начинало смеркаться, и я стал поглядывать, не покажется ли кто из моих людей, которых я не видал еще со вступления в город. Не находя никого из них, я начинал уже беспокоиться, когда внимание мое было привлечено совершенно посторонним обстоятельством, которое оказалось настолько занимательным что тут же заставило меня позабыть свои поиски. Двери в гарем, у котораго было выставлено двое часовых, были приотворены, а за ними виднелась толпа женщин и детей, которая кричала, плакала и вопила, точно ожидая что вот-вот сейчас их поведут на смертную

казнь. Старья и молодья, хорошенькия и безобразныя, дети и взрослые, молоденькия пятнадцатилетния девушки и беззубья старухи чуть ли не полутора ста лет от роду—все оне ломали себе руки и рыдали самым отчаянным образом. Так как невозможно было понять чего они требовали, то доложили офицеру поставленному начальником над ханским дворцом и привели его на место в сопровождении переводчика. Оказалось что женщины просто желали выбраться из гарема в город, уверяя что им страшно тут оставаться. В этом им, впрочем, было решительно отказано. Тогда оне стали жаловаться что им нечего есть и нет даже воды для питья. Офицер немедленно приказал приготовить огромное количество пилава и сказал чтоб оне выставили у дверей свои кувшины и кружки и вода будет им принесена. Этим оне, повидимому, удовольствовались, пилав был принесен, вода также, оне возвратились во двор, и двери за ними были заперты. Офицер приказал никого в гарем не впускать, и ушел чтобы выслать сюда ночной караул.

Присутствие женщин во дворце очень меня удивило, так [185] как я предполагал что оне последовали за ханом. Впрочем, как оказалось в последствии, ханом был дан приказ гарему следовать за ним в его бегстве; но те самые Хивинцы которые освободили его брата, не допустили исполнения этого приказания, а удержали женщин силой во дворце, думая сделать в лице их приятный подарок победителю.

Я сказал что женщины все плакали, но это не совсем верно: вскоре я заметил что между ними была одна которая оставалась совершенно спокойна; другия относились к ней с почтением и послушанием, точно становясь под ея покровительство. На вид ей было лет 18; белая кожа изобличала ея кавказское происхождение; она была средняго роста; круглолицая, с низким лбом и темными волосами; главная же прелесть ея лица заключалась в глубоких, темных с поволокою глазах. Все ея движения были проникнуты какою-то спокойною твердостью; к другим она обращалась с таким спокойным видом власти и благородства, все остальные женщины относились к ней с таким уважением что нельзя было не узнать в ней владычицу ханскаго гарема, несмотря на старый истасканный халат, накинутый на ея плеча и голову. Она не плакала и не визжала подобно прочим, а вела переговоры с офицером таким смышленным

и разсудительным образом что сразу завоевала наше общее расположение. Ко мне она повертывалась несколько раз с каким-то полумолящим взором, точно подозревая что я не Русский, и собираясь меня о чем-то просить. Никогда, кажется, в жизнь мою не досадовал я так на свое непонимание чужаго языка как в эту минуту. Я стал опять посматривать, не покажется ли где Ак-Маматов, с намерением привести его к ней и через него узнать что могу я для нея сделать. Но старый Ак-Маматов положительно исчез; как после оказалось, он последовал за генералом Кауфманом в Оренбургский лагерь, предполагая что и я туда отправился.

Между тем я не мог отвязаться от преследующаго меня молящаго взгляда ханской жены даже после того как она скрылась за дверьми гарема; не мог забыть я ея лица, проникнутаго такою жевственностью посреди врагов ея племени и религии и всех этих женщин и детей, от нея одной, как видно, ожидающих помощи и совета. Я [186] решился свидеться с нею опять и, если возможно, ей помочь. На горе мое, я никогда до тех пор не видал офицера которому был поручен присмотр за дворцом, и не мог пуститься в разспросы невозбуждая его подозрений. Искренно проклинал я Ак-Маматова, который не следовал за мною, как ему было приказано; но так как ясно было что его нет нигде ни во дворце ни по близости, то я решился действовать один.

Вид внутри ограды..

ХІ. Приключение в гареме.

Первою заботой моею было отыскать другой вход в гарем. Я знал что был еще вход с главнаго двора, но и там стояли часовые.

Побродив некоторое время кругом, пройдя двумя маленькими дворами и целым рядом комнат, непосредственно за главным двором, я наконец набрел на узкую, крутую и темную лестницу, ведущую вверх. Я поднялся по ней и очутился на вершине наружной дворцовой стены. Дворец, оказалось, примыкал прямо ко внутренней стороне стены цитадели; посмотрев вниз между зубцов стены, я увидел что вышина ея тут была от 40 до 50 футовт. Я направился к большой четырехугольной башни, зная что в той стороне должен быть гарем.

Скоро дошел я до места с которого открывался вид на главный двор где генерал Головачов спал сном усталого воина. Я был на крыше башни, образуящем, здесь платформу футов в десять вышины, почти на одном уровне с высокими стенами цитадели.

Внимательно прислушавшись, я различил неясный говор человеческих голосов, долетавший ко мне сверху. В башне были часовые.

Время близилось к полуночи, и город лежал в тихом, сонном спокойствии, весь залитый ярким потоком лунного света. Вся местность преобразилась. Плоская глиняная крыша казались мраморными; точно великаны часовые поднялись над городом неясны очертания высоких, стройных минаретов. Местами разстилались черными пятнами маленькие дворы и густые сады, из которых высились тенистые массы вязов, да тянулись к небу [187] стройные тополи. Вдали обрисовывались неясны очертания наружных городских стен с их зубцами и башнями, совсем казалось уходящими в небо и сливающимися с туманным горизонтом. Это уже не был действительный, обитаемый город, а скорее место действия волшебных арабских сказок из Тысячи и одной ночи.

Большой двор гарема, лежавший у моих ног, был на половину освещен месяцем, тогда как остальная его часть была покрыта густою зубчатою тенью стены. Из этого мрака повременам выбегала женская фигура и промелькнув на дворе быстро исчезала в другой стороне, а в покоях, расположенных вокруг двора, изредка мелькали огни. Я вошел в башню и напал на дверь запертую висячим замком; впрочем, косяки так слабо держались у стен что оказалось весьма не трудным снять ее не производя почти никакого шума. За дверью оказалась каменная лестница без перил, ведущая в освещенный месяцем двор; одна только стена гарема и отделяла его от двора где расположился генерал Головачов. Спустившись в этот двор, я увидел пред собою два выхода, один—ведущий к главному входу, у которого стояли часовые, а другой—по всей вероятности, во внутренния комнаты гарема. Подумав немного и прислушавшись, я направился к этому последнему. Не могу, впрочем, сказать чтоб я вошел совершенно спокойно. Темнота была непроницаемая, я же не имел нисколько понятия о том куда попаду, какие могут представиться мне препятствия, на какие западни я могу наткнуться

в этом мраке; я мог встретиться и с вооруженными людьми, которым легко еще было здесь скрываться, или с охранителями гарема, и знал чего могу ожидать в таком случае; мог, наконец, просто заблудиться в этом лабиринте корридоров, не найти до утра дороги обратно, а быть найденным здесь Русскими вовсе не представлялось мне приятным окончанием моих походов.

Теперь, впрочем, было уже слишком поздно отступать, и взяв револьвер в одну руку, и ощупывая дорогу другой, я вступил в корридор, который, казалось мне, должен был идти по направлению того двора где я видел пред тем мелькавшая в лунном свете женская фигуры.

Ощупывая дорогу по стене, так как часто [188] зажигать спички я избегал, боясь привлечь чье бы то ни было внимание, я скоро набрел на дверь, которая подалась при первом прикосновении, и вышел на открытое, освещенное луною место; первую мою мыслью было что я опять вышел на прежний двор, но осмотревшись кругом я увидел что это совсем не то. Двор этот был гораздо меньше, корридор продолжался у стен, отделенный от двора низкою перегородкой, тогда как на высоте футов пятнадцати выдавалась над ним дворцовая крыша, что и образовало таким образом нечто в роде высокаго портика. Осторожно обхожу я вокруг двора, стараясь, насколько возможно, держаться в тени, пока не подхожу к другому корридору. Здесь опять приходилось подвигаться но тьме крошечной, пока я не вошел в высокую комнату, слабо освещенную месяцем через маленькия квадратныя отверстия у потолка. Из этой комнаты нашел я не один выход, а целых пять или даже шесть, ведущих по разным направлениям; припоминая впрочем, насколько мог, положение большаго двора, я выбрал ту дверь которая, по моим соображениям, всего вероятнее могла привести меня в его сторону. Но должно-быть частые повороты и темнота совершенно сбили меня с толку, так как я попал в совершенный лабиринт самых запутанных проходов и крошечных комнат, которым не предвиделось конца. Я захватил с собой на всякий случай огарок свечи и коробку спичек. Чаше и чаще стал я теперь зажигать спички, думая что при свете их найду какое-нибудь указание настоящей дороги; но и это не привело ни к чему: я окружен был одними голыми стенами и ничто не изобличало недавняго пребывавия здесь мушкетеров или женщин. Клетушки эти

были величиной от восьми до пятнадцати квадратных футов и должны были быть совершенно темны даже днем, так как мне не попадалось в них ни одного отверстия через которое мог бы проходить свет. Можно бы принять их за темницы, если бы не глиняные стены, не допускавшие этой мысли. Как после оказалось из обыска произведенного по распоряжению генерала Кауфмана, в ханском дворце вовсе не существовало темниц. В сущности, темничное заключение есть уже наказание изобретенное утонченною жестокостью, неизвестною в Хиве. Там людям режут носы, уши или головы, полосуют бичами, [189] побивают камнями, но в темницы не запирают никогда; во всей Хиве нет даже ни одного здания где бы и неделю можно было продержать заключенного.

Спустя немного времени, я попадаю в большую низкую комнату с несколькими старомодными глиняными печами, в роде тех что можно встретить в доме почти каждого американского фермера, на каждой печи было по большому чугунному котлу, а кругом были разбросаны всякаго рода кухонные принадлежности. Это была, повидимому, дворцовая кухня.

Еще несколько шагов и я очутился в комнате с таким мокрым и грязным полом что я стал жечь спичку за спичкой чтобы хорошенько оглядеться. Каков же был мой ужас когда я увидел что стою на самом краю колодца, огороженного одною низкою закраиной.

Сильно перепуганный, я зажег имевшийся при мне огарок и решился лучше встретиться лицом к лицу со всеми Хивинцами которые могли здесь скрываться, нежели еще далее подвергаться риску попасть в воду или в какую-нибудь ужасную яму. Колодезь находился в маленькой, закрытой и низкой комнате, проникнутой особенным запахом, присущим склепам, и никак не мог я сообразить почему такое необыкновенное место было выбрано для колодца. Вода в нем должна была отстоять футов на 50 от поверхности, насколько я мог заключить бросив туда ком земли.

Опять стал я внимательно прислушиваться—и опять безо всякаго результата. Это безмолвие начинало уже меня тяготить; неестественность всего окружающего возбуждала какое-то жуткое, неприятное чувство. Повидимому, я был теперь далеко от жилой

половины гарема, и не мог даже сообразить в какой стороне она может находиться. Впрочем, делать было нечего, и я пустился на дальнейшие поиски, но уже с зажженою свечей. Скоро, однако, пришлось мне убедиться что свеча могла быть еще опаснее для меня, чем темнота. Войдя в маленькую и низкую комнату, я заметил в одном из углов большую кучу черной земля. Повинуясь какому-то непонятному побуждению, котораго теперь я не могу себе объяснить, я наклонился чтобы захватить в горсть немного этой земли, но едва успел я к ней прикоснуться, как отдернул руку и отскочил в ужасе.

[190] Это был порох. Пробежав две-три комнаты, я прислонился к стене, еще весь дрожа от страха.

Этот пример безопасности Туркмен в обращении с порохом был уже не первый на моих глазах; во дворце Хазар-Аспа точно также нашли мы порох разсыпанным во многих местах безо всякаго призора. В этой одной маленькой комнате его было достаточно чтобы взорвать весь ханский дворец, а я уже в продолжении целаго часа расхаживал по соседству, зажигая спички и бросая по сторонам тлевшие еще остатки их. Может-быть, думалось мне, хан и нарочно наложил этот порох чтобы взорвать все это место, как часто делается в этих странах. Мне припомнился ужасный разказ о гибели китайскаго правителя Кульджи. Предвидя что магометане скоро возьмут город, он собрал весь свой штат, советников, министров, жен и детей, как бы для переговоров о том что лучше предпринять. Во время заседания этого совета слышались крики входящих в город победителей; не долго думая, правитель потихоньку опустил свою трубку с огнем около себя на пол, куда была проведена дорожка пороха от пороховаго магазина, находившагося внизу, и тем разом положил конец всем своим заботам и недоразумениям. История эта, пришедшая на ум в подобную минуту, не могла быть очень успокоительною. Все это похождение мое начало мне представляться несообразным и глупым до нельзя; я даже не мог и понять каким путем дошел я до такого идиотизма чтобы предпринять его.

Однако, у меня не было лишняго времени на раскаяние, я взял свечу чтобы возвратиться назад, решаясь предоставить гаремной царице самой, как знает, распутываться со своими делами. Я уже

два раза каким-то чудом избежал, казалось, неминуемой смерти, и этого было для меня слишком достаточно.

На деле, впрочем, оказалось что выбраться отсюда не так-то легко. Проходив более получаса по этому лабиринту комнат и не находя никакого выхода, я уже начинал думать что заблудился окончательно, когда судьба сжалилась надо мною, и я очутился в широком корридоре. Не имея ни малейшаго понятия в которой стороне может быть выход, я повернул наугад направо, решившись, впрочем, немедленно возвратиться, если не найду его в этой стороне, [191] искать с другой, но ни в каком случае не углубляться опять в эти запутанные каморки.

У конца корридора нашел я запертую дверь. Думая что мне посчастливилось напасть на выход, я уже собирался толкнуть ее, когда меня внезапно поразил звук голосов, долетавших из-за нея. Поспешно задул я свечу и, притаив дыхание, стал внимательно прислушиваться. Одного момента достаточно было чтобы разпознать что голоса были женские, а через несколько минут я уже почти был убежден что мужчин в этой комнате не было.

Повидимому, я подошел к гарему именно в ту минуту когда меньше всего об нем думал, и теперь меня отделяла от него одна деревянная дверь. К удивлению моему, доносившиеся до меня голоса болтали и смеялись самым веселым и беззаботным образом, хотя и в несколько сдержанном тоне. Из-за двери можао было принять их за голоса толпы пансионерок, устроивших себе ночной пир вопреки всем пансионским уставам и под самым носом беззаботно почивающей начальницы; женщины же, виденныя мною в начале вечера у дверей, все ломали себе в отчаянии руки и плакали самым неутешным образом; да и повод имели оне к тому настолько основательный что мне в голову не приходило заподозрить искренность их горя. Обстоятельство это несколько сбивало меня с толку, но сообразив что в начале оне готовились к тому что Русские по меньшей мере порубят им головы, а теперь убедились что никто и не думает им делать никакого вреда, я понял их веселость, и уже не находил ее странною.

Я повернул ручку двери, но она не подавалась; толкнул ее также без успеха: повидимому она была приперта изнутри.

Я решился наконец постучаться. Но находиншаяся за дверью были, повидимому, так заняты своим делом что не услышали стука в дверь; я принужден был повторить его несколько раз прежде нежели он привлек их внимание. Тогда, вдруг, все голоса смолкли и воцарилась мертвая тишина.

Я тихо постучался опять.

Через минуту у самых дверей послышался шопот и сдержанное хихиканье. Я опять постучался, и на этот [192] раз из-за двери раздался мягкий женский голос и сказал мне что-то на татарском наречии, напоминавшем нечто среднее между щебетом птицы и журчаньем воды. Я, конечно, не понял ни слова, но не трудно было догадаться что она спрашивает „кто там“. Я отвечал «аман» что значит «мир вам», обыкновенное приветствие в подобных случаях, и опять мысленно отправил Ак-Маматова в преисподнюю за его способность исчезать именно в ту минуту когда я всего более в нем нуждался. Послышался тот же сдержанный хохот, а затем те же слова „аман, амая“ повторяются из-за двери несколько раз вопросительным тоном, точно с требованием подтверждения моих миролюбивых намерений. Я не замедлил повторить заветное слово; послышался стук задвижки, дверь распаивается и меня приветствуют взрывом самого веселаго хохота.

Сознаюсь, никогда не был я более удивлен во всю свою жизнь. Я готовился к тому что все в страхе разбегутся увидав кто я такой, что мне будет стоить величайшего труда их уговорить и успокоить, оне же не только не выказывали никакого страха, но как будто бы ждали меня как приглашеннаго гостя. Их было человек восемь — некоторые старья и уродливыя, другия молодья и хорошенькия. Одетыя в свои странные костюмы, они все столпились у двери, и я тут же распознал между ними ту что привлекла мое внимание еще в начала вечера. Она сама отпирала задвижку, и теперь стояла держась одною рукой за дверь, а другою держа немного над головой каменную лампу от которой падал мерцающий свет на всю эту сцену. Она пристально всматривалась в меня своими глубокими глазами, и только сдержанно улыбалась, тогда как другия продолжали хохотать.

Придя немного в себя, я также не мог не разсмеяться, проговорил: „салам“, и попросил у них чаю. Это она поняли немедленно, и та которую я еще прежде назвал их повелительницей выступила вперед, взяла меня за руку и вывела сначала на крошечный дворик, в восемнадцать квадратных футов, а оттуда уже на большой двор, освещенный месяцем. Остальные следовали за ними, болтая самым оживленным образом.

Это был главный двор гарема; для Хивы он был очень [193] велик: футов сто пятьдесят в длину и пятьдесят в ширину; на одной из сторон в нескольких местах устроены были больше, высокие портики, подобные тем что я уже описывал, а в середине двора раскинуты три или четыре большие кибитки на круглых кирпичных подмостках. Обстановка эта казалась чрезвычайно оригинальной и красивою при лунном свете.

На все это я бросил тогда только беглый взгляд, так как моя красавица быстро обогнула со мною выступ стены, ввела меня в тень портика, а оттуда в большую комнату позади. Пригласив меня жестом садиться на груды подушек, она сама зажгла еще пять, шесть ламп, подобных той что была у нея в руках, и разставила их вокруг стены; потом схватила чайник и выбежала с ним, отдавая в то же время приказания другим женщинам, из которых некоторые вышли за нею; а затем вошли другие женщины, уселись и стали смотреть на меня и обмениваться замечаниями— о моей наружности, повидимому.

Я же тем временем сидел и оглядывался в полнейшем изумлении. Комната в которой я находился была футов в десять шириной при двадцати футах длины; стены и потолок были местами изукрашены множеством первобытных рисунков самых грубых колоритов, подобно ханской сокровищнице. Одна стена сверху до низу была покрыта деревянными полками какой-то странной отделки, и на них были уставлены фаянсовою посудой, чашками, кубками всех размеров и цветов, горшками, чайниками и вазами. Здесь было множество чашек старинного китайского фарфора, очень ценных, а разставлены они были в перемежку с дешевыми чайниками русского изделия, ярко изукрашенными, и, повидимому, на глаза Хивинцев между этими вещами не было никакой разницы.

В комнате царил величайший беспорядок. На полу навалены были ковры, подушки, одеяла, шали, халаты, перемешанные в страшном хаосе со всякаго рода домашними принадлежностями, оружием, в котором попалась мне еще двуствольная английская винтовка с пустыми патронами, капсюлями, несколько гитар, все это так и бросалось в глаза при свете ламп по стенам. Во всем виднелись [194] приготовления к бегству, и самая ценная вещь, повидимому, были уже отобраны.

Пока я оглядывался таким образом и старался убедить себя что все это происходит со мною не по снe, возвратилась хозяйка с чайником, от котораго шел пар, и поставила его предо мною на пол, тогда как другия женщины внесли хлеб, фрукты и всякия сласти. Затем она знаком спросила меня не хочу ли я вымыть руки, и на мой утвердительный ответ повела меня на другой конец комнаты, где в полу было четырехугольное углубление, в роде таза, а сама взяла в руки красивой формы медный кувшин, без ручки и с тонким изогнутым носиком, полила мне на руки воды и дала полотенце, все с самым ласковым и услужливым видом. Покончив с этим, она сняла с полок чашки, налила чаю сперва мне, а потом всем остальным и себе самой, и принялась следить за мной, пока я его пил, с каким-то странным, испытующим любопытством. Мне опять пришло в голову прежнее мое предположение что у нея есть до меня какая-то просьба. Последствия показали что я не ошибался.

Из восьми окружавших меня женщин три были до того стары и уродливы что больше напоминали ведьм, нежели женщин; три были наделены лицами ничем незамечательными, одна была очень молода и очень красива, тогда как сама хозяйка и не была красавицей, но положительно была интереснее всех других, благодаря своему умственному превосходству и еще чему-то особенному, что резко выделяло ея фигуру от окружавших ее простых женщин. На ней была надета короткая зеленая шелковая куртка вся расшитая золотом; длинная, шелковая же, красная рубашка, застегнутая у подбородка одним изумрудом, распахивалась на груди и спускалась ниже колен; широкие шаровары и красные сапоги; тюрбана на ней не было, а волосы были уложены на голове тяжелыми блестящими косами; в уши были вдеты странной формы серги, состоявпия из множества маленьких

подвесок, а на руки надеты неразгибавшиеся, без застежек, браслеты очень оригинального образца, попадавшего мне в первый раз. Они были из серебра с золотым узором, около дюйма шириной и в четверть дюйма толщиной, формой напоминали букву С, с пустым пространством около полдюйма между обоими [195] концами; как я видел после, в это пространство втискивают руку у кисти боком.

Сама она теперь полусидела, полустояла на коленях на полу против меня, не спуская с меня пристального взгляда своих больших черных глаз, что меня наконец начинало уже смущать, хотя и не мешало после моей прогулки выпить две чашки чаю и истребить значительное количество сладостей. В голове же у меня тем временем неотступно вертелись вопросы: что будем мы делать потом? как буду я с ними объясняться, не зная почти ни слова, из их языка? Повелительница гарема вероятно думала о том же самом, судя по ее беспокоящему испытующему взгляду, точно будто обдумывая какое-нибудь средство облегчить наши переговоры, тогда как остальные следили за нами в каком-то выжидательном положении, точно вот-вот должны мы вступить в интересную и дружескую беседу.

Чтобы завязать как-нибудь разговор, я стал спрашивать их имена: „Фатима?" спросил я наугад повелительницу гарема—первое татарское имя которое мог припомнить. Она поняла мой вопрос и, покачав отрицательно головой, указала на одну из старух, из чего я заключил что Фатимой звали эту последнюю. Указывая затем на себя произнесла „Зулейка", и таким образом назвала мне всех поочереди.

Довольный таким успешным началом, я решился не упустить благоприятного случая и пуститься в общий разговор. „Урус ма якши?" спрашиваю я, то-есть Русские добры?—„Иок, иок", посыпалось со всех сторон, и все оне неприязненно замотали руками.

Это меня несколько ошеломило, так как я, конечно, предполагал что оне во мне самом должны видеть Руссаго, а принимая во внимание что я был их гостем, это было немного черезчур откровенно.

Чтобы выгородить себя из этой национальной неприязни «мин Урус иок»,—«я не Русский», сказал я, на что оне поспешно закивали головами, точно говоря „знаем, знаем“.

Это очень поразило меня, тем более что в эту минуту я решительно не знал чем себе это объяснить. В последствии я впрочем имел возможность убедиться что весть о моем нерусском происхождении быстро разнеслась между Хивинцами и, как мне потом объясняли, они [196] подозревали во мне агента высланнаго английским правительством, подобно Шекспиру в 1840 году, во время бедственной экспедиции Перовскаго.

Этим фактом объяснялся и весь прием который мне сделан был этой ночью. Хан бежал, их же не допустили бежать их собственные слуги, и бедняжки теперь полагались на помощь иностранца.

Я объяснил им как умел что Русских бояться нечего. Хотя разговор наш велся более знаками, однако визит мой все-таки продолжался более двух часов. Прощаясь с ними, я роздал им какия оказались у меня в карманах безделушки. Оне довели меня до двери у которой я постучался, но когда я объяснил что и отсюда не найду дороги, Зулейка проводила меня до маленькаго двора, в который я сперва попал из большой башни. Здесь я ее оставил и поднялся по каменной лестнице. Будучи уже на верху, я обернулся на нее еще раз; она на прощанье послала мне воздушный поцелуй и исчезла в темном корридоре, я же благополучно добрался до двора занятаго генералом Головачовым, растянулся на ковре подле одного из офицеров и тут же уснул мертвым сном.

Когда на другое утро послали в гарем пищу, его нашли пустым: все женщины бежали!

Узбекские женщины. Верещагин.

ХII. Гарем при дневном свете.

Конечно, я не счел нужным на следующей день доносить о своих ночных похождениях генералу Кауфману, и он теперь, вероятно, услышит об них в первый раз. Я надеюсь что в виду

совершенно особенных обстоятельств этого дела он извинит что я не сообщил ему о том раньше.

„Женщины бежали" были первыя слова которыя я услышал просыпаясь на следующее утро. Капитан Рейсве, поставленный начальником над дворцом, узвал об этом бегстве только тогда когда послал в гарем приготовленный на завтрак женщинам пилав. Цепь русских солдат разставлена была кругом, у всех дверей были часовые; каким же образом, спрашивали все, умудрились женщины [197] бежать? Предположений было множество; конечно, и я не больше других был способен дать верный ответ на эту загадку. В рапорте представленном генералу Кауфману об этом деле говорилось что оне спустились по водосточной трубе, предприятие с их стороны довольно рискованное, особенно в виду того что в Хиве и понятая не существует о таком предмете как водосточная труба.

В течение дня старый дядя хана, Сеид-Эмир-Уль-Умар, донес что женщины у него, а так как не было никакой необходимости беречь их под караулом, то генерал Кауфман и дозволил им там оставаться.

Теперь мы в числе нескольких человек отправились осматривать гарем. Тяжелыми воротами, о которых уже было упомянуто, входим мы в высокий и широкий корридор и после многочисленных поворотов выходим на большой гаремный двор. Теперь, при дневном свете, он нимало не напоминает тот двор что представился мне прошлою ночью при лунном освещении. Тогда он был картиной которая могла бы возникнуть в воображении при чтении Лалла-Рукк; теперь же пред нами открывался безобразный, грязный двор, обнесенный полуразрушенными глиняными стенами, от которых, после одного хорошаго хивинскаго ливня, не осталось бы ничего кроме груды земли.

Входим в комнату в которой меня так хорошо угощали прошедшею ночью. Почти все вещи находятся еще в том же порядка в каком я их застал в первый раз. Мы проходим затем по другим комнатам: оне все очень похожи на первую, только в них меньше претензий. Груды халатов, одеял, женской одежды, кухонная посуда, домашняя утварь, кружки, медные кувшины весьма изящной

формы, гитары с медными струнами, две, три самопрядки — все это наваленное на полу в полнейшем беспорядке — вот картина которая везде представлялась нашим глазам.

При более внимательном розыске, мы нашли много женских туалетных принадлежностей и безделушек, хотя большую часть подобных вещей обитательницы гарема вероятно захватили с собой. Тут были маленькие зеркальца с полустертой амальгамой; деревянные гребни весьма грубой отделки, маленькие стклянки духов какого-то особенного [198] пронизательного запаха, вовсе не похожие на те что употребляются в Европе, и баночки хашиша. Проходили мы и по кладовым, где все эти вещи были свалены в громадном количестве; в одной из кладовых было несколько маленьких железных ящиков с тяжелыми замками в которых, повидимому, хранились драгоценности женщин. Ящики, однако, все были открыты и пусты. По всему было видно что все ценное было повывезено. Должно-быть хан за несколько дней до падения своей столицы предвидел что события этого не миновать, и потому имел время перевезти и припрятать свои деньги и драгоценности. Я только удивляюсь что он еще оставил на месте столько ценных вещей. Так, например, нам попались две хорошия английския двуствольныя охотничьи винтовки, несколько табатерок с музыкой, вероятно очень ценимых женщинами, один из этих инструментов даже играл арию из Belle Helene. Эту видимую оплошность хана, а также и то что он оставил женщин в гареме на жертву победителю, я могу объяснить себе только тем предположением что он решился, было, остаться во дворце, полагаясь на милость генерала Кауфмана, пока бомбардировка начатая отрядом генерала Веревкина не нагнала на него панический страх и не заставила его поспешно бежать, оставляя все на произвол судьбы.

Самыми ценными вещами что нам попадались, за исключением кашмирских шалей, была великолепная коллекция старого китайскаго фарфора, в которой насчитали не менее тысячи вещей. Тут были чаши и чашки всех размеров, начиная маленькими чайными чашками и кончая большими чашами, вмещающими чуть ли не целый галлон воды. Большею частью оне были белыя и синия, но некоторыя были также прекрасных ярких цветов—красныя, коричневыя, зеленыя. Все это без разбора было разставлено бок о бок с дешевою, но ярко-вызолоченною посудой русскаго изделия.

Жаль было смотреть как этот чудный фарфор — утешение и гордость гаремных женщин, накопленный заботами не одного поколения — был весь переворочен солдатами, которые способны были его перебить и растерять. Много из этих вещей, конечно, попало в руки офицеров, которые знали им цену, да и я должен сознаться что [199] перекупил несколько прекрасных вещей, найденных Ак-Маматовым, но большею частью все эти вещи были затеряны и разрознены.

Сделана была опись всем прочим вещам; затем захвачены были ковры, халаты, одеяла, одежда, все что имело хоть какую-нибудь цену, чтобы продать в пользу солдат. Оставлена была только часть старых ковров, одеял, негодной одежды разбросанной в беспорядке во дворе, а затем двери были заперты, и мы вышли из опустошенного гарема.

Дня через два войска выступили из города; оставлен был всего небольшой отряд для охраны дворца и для поддержания порядка.

Генерал Кауфман расположил свой лагерь в большом саду, версты за полторы от города. Сад этот принадлежал летней резиденции хана. Занимает он около шести акров земли и окружен толстою глиняною стеной футов пятнадцати в вышину; он засажен абрикосовыми, персиковыми и сливовыми деревьями, но главную его красу составляют великолепные вязы и две прекрасныя аллеи молодых тополей; извивающиеся по всем направлениям маленькие каналы орошают почву, доставляют воду для поливки дерев и наполняют несколько маленьких бассейнов под вязами. Летний дворец хана стоит в одном углу этого сада и гораздо комфортабельнее устроен чем городская его резиденция.

Представьте себе большое прямоугольное здание ста ярдов в длину при пятидесяти в ширину, с зубчатыми стенами, как у феодальных замков. Через узкую дверь, прорубленную в стене, входите вы из сада в большой двор; посреди его растут четыре больше вяза, под которыми устроен маленький бассейн. С правой стороны высокий портик, открытый к северу, за которым, как и всегда, находится темная, прохладная комната, очень удобная во

время жаров. Над первым портиком устроен другой, а над вторым еще третий, в который вязаы простирают свои длинные ветви.

За этими рядами портиков и комнат находится другой небольшой двор, также с маленьким бассейном и двумя большими вязами. Это двор гарема: с трех сторон его лепятся ряды маленьких комнат; а над четвертою, солнечною стороною, свешиваются густыя, тяжелыя ветви [200] вязов, растущие у самой стены снаружи двора, представляя чудную тень и прохладу. Каждое жилое отделение соотойт из одной комнаты внизу и двух наверху, с маленьким портиком или балконом выходящим во двор; в решетках и деревянной отделке этих балконов видно было дело рук пленных Русских, которые преимущественно употреблялись на дворцовыя и садовыя работы.

Великий Князь Николай Константинович расположился с одной стороны этого двора, а Князь Евгений Максимилианович с другой. За дворцом в саду были два летние дома, осененные тенью вязов; в них-то поместился генерал фон-Кауфман и генерал Головачов, остальные же офицеры раскинули свои палатки где только находилось для них место под фруктовыми деревьями.

Мы с Чертковым решились поместиться в самом дворце, в портике втораго этажа, при котором нашлись две очень темныя, прохладныя комнаты; сам же портик был осенен густою листвою вязов. Здесь раскинули мы свои ковры и войлоки, устроили себе постели из одеял, которыя наши люди нашли в другом дворце, и расположились как дома. На этой квартире мы пользовались всеми выгодами открытаго места и в то же время были защищены от солнца густою тенью вязов. Стоило нам только подняться на верхний портик, футов на тридцать над землею, и пред нами открывался великолепный вид на город и окружающий оазис, за которым виднелись желтые пески пустыни.

Единственным недостатком этого великолепнаго помещения была лестница. Я не думаю даже чтобы в самые славные дни своего существования она могла с честью выдержать сравнение с лестницами Тюилерийскаго или Сент-Джемскаго дворцов. Она была просто-на-просто слеплена из грязной глины; а всем известно что каковы бы ни были другия качества этого прекраснаго

материала, он никак не отличается прочностью, в особенности для места которое вечно утаптывается множеством народа. Ступенки почти все были разрушены, а некоторые даже совсем сглажены, когда мы завладели комнатами, а через несколько дней от них не осталось почти и следов, и спуск из наших покоев представлял весьма трудную и рискованную задачу.

[201] Что касается стола, то Ак-Маматов был нашим поваром, а цыплят, баранов, арбузов, дынь, абрикосов, винограда и персиков было полно. Каждое утро не только доставлялись нам горячие пшеничные лепешки со свежим молоком, но даже и лед. Хивинцы заготавливают большой запас льда ежегодно и ценят его весьма высоко, судя по деньгам которые они за него требовали. Как читатель видит, житье нам в Хиве выпало вовсе не такое плохое, как бы можно было предполагать.

В первые дни генерал Кауфман не имел никаких известий о хане. Наконец, стало известно что он бежал в Имукчир, сопровождаемый своими верными Туркменами. Генерал Кауфман немедленно послал ему письмо с заявлением что если он вернется в Хиву и сдастся Русским, то ему будут оказываться все подобающие его положению почести; если же он откажется это исполнить, то на его место посадят ханом кого-нибудь другого. Так как генерал Кауфман не имел в виду окончательного занятия страны, то желал возможно скорее возстановить в ней порядок и спокойствие.

Ата-Джан, меньшей брат хана, который содержался в последнее время в заключении, считался кандидатом на престол, и уже заявил о своих притязаниях генералу Кауфману. Если бы хан не послушался вразумлений, заключенных в письме, то без сомнения был бы низложен русским генералом.

ХIII. Генерал фон -Кауфман и хан.

2го (14го) июня хан вернулся в Хиву и явился к победителю.

Генерал фон-Кауфман принял его под вязами, пред своею палаткой. Здесь была платформа из кирпичей, устланная теперь коврами и уставленная стульями и столами. На этой-то платформе произошло первое свидание генерала Кауфмана с ханом.

Едва разнесся слух о приезде последнего, мы все собрались вокруг генерала Кауфмана, интересуясь видеть властелина о котором слышали так много. Теперь он довольно смиренно въехал в свой собственный сад, [202] сопровождаемый свитой человек в двадцать; когда же подъехал к концу коротенькой аллеи из молодых тополей, ведущей к палатке генерала Кауфмана, то сошел со своего богато-убранного коня и подошел пешком, сняв свою высокую баранью шапку. Он поднялся на маленькую платформу, сидя на которой ему вероятно часто приходилось самому видеть выражения почтительнейшей покорности своих подданных, и стал на колена пред генералом Кауфманом, сидевшим на своем походном стуле. Затем он отодвинулся немного дальше, не сходя однако с платформы, покрытой вероятно его собственным ковром, и остался на коленях. Надо заметить что Хивинцы не сидят скрестив ноги как Турки, но усаживаются полустоя на коленях и в этой позе, которую я уже описывал говоря о Киргизах, они едят, разговаривают и совещаются. Итак в этом последнем случае коленопреклонение хана не было выражением унижения и покорности.

Хан человек лет тридцати, с довольно приятным выражением лица, когда оно не отуманивается страхом, как в настоящем случае; у него красивые большие глаза, слегка загнутый орлиный нос, редкая борода и усы и крупный, чувственный рот. По виду он мущина очень крепкий и могучий, ростом в целых шесть футов и три дюйма, плечи его широки пропорционально этой вышине, и на мой взгляд, весу в нем должно быть никак не меньше шести, даже семи пудов. Одет он был в длинный ярко-синий шелковый халат; на голове была высокая хивинская баранья шапка. Смирненно сидел он пред генералом Кауфманом, едва осмеливаясь поднять на него глаза. Едва ли чувства хана были приятного свойства когда он очутился таким образом в конце-концов у ног туркестанского генерал-губернатора, славного ярым-падишаха. Два человека эти представляли любопытный контраст генерал Кауфман ростом был чуть ли не на половину меньше хана, и в улыбке скользившей по его лицу, когда он смотрел на сидящего у его ног русского исторического врага, сказывалась не малая доля самодовольства. Мне казалось что трудно бы и подобрать более резкое олицетворение победы ума над грубою силой, усовершенствованного военного дела над первобытным способом ведения войны, чем оно являлось в этих двух мущинах. Во времена

[203] рыцарства хан этот со своею могучею фигурой великана быле бы чуть не полубогом; в рукопашном бою он обратил бы в бегство целый полк; весьма вероятно был бы настоящим „Coeur de Lion", а теперь самый последний солдат русской армии был, пожалуй, сильнее его.

— Так вот, хан, сказал генерал Кауфман,—вы видите что мы наконец и пришли вас навестить, как я вам обещал еще три года тому назад.

Хан.—Да; на то была воля Аллаха.

Генерал Кауфман. — Нет, хан, вы сами было причиной этому. Если бы вы послушались моего совета три года тому назад и исполнили бы тогда мои справедливыя требования, то никогда не видали бы меня здесь. Другими словами, если бы вы делали что я вам говорил, то никогда бы не было на то воли Аллаха.

Хан.—Удовольствие видеть ярым-падишаха так велико что я не мог бы желать какой-нибудь перемены.

Генерал Кауфман (смеясь).—Могу уверить вас, хан, что в этом случае удовольствие взаимно. Но перейдем к делу. Что вы будете делать? Что думаете предпринять?

Хан.—Я предоставляю это решить вам, в вашей великой мудрости. Мне же остается пожелать одного—быть слугой великаго Белаго Царя.

Генерал Кауфман .—Очень хорошо. Если хотите, вы можете быть не слугой его, а другом. Это зависит от вас одних. Великий Белый Царь не желает свергать вас с престола. Он только хочет доказать что он достаточно могуществен чтобы можно было оказывать ему пренебрежение, и в этом, надеюсь, вы теперь достаточно убедились. Великий Белый Царь слишком велик чтобы вам мстить. Показав вам свое могущество он готов теперь простить вас, и оставить попрежнему на престоле, при известных условиях, о которых мы с вами, хан, поговорим в другой раз.

Хан.—Я знаю что делал очень дурно, не уступая справедливым требованиям Русских, но тогда я не понимал дела, и мне давали дурные советы; вперед я буду лучше знать что делать. Я благодарю великаго Белаго Царя и славнаго ярим-падишаха за их великую милость и снисхождение ко мне и всегда буду их другом.

[204] Генерал Кауфман.—Теперь вы можете возвратиться, хан, с свою столицу. Возстановите свое правление, судите свой народ и охраняйте порядок. Скажите своим подданным чтоб они принимались за свои труды и занятия, и никто их не тронет; скажите им что Русские не разбойники и не грабители, а честные люди; что они не тронут ни их жен, ни имуществ.

Затем произошел обмен вопросов о здоровье и взаимныя пожелания всех благ в самых лестных выражениях; потом хан удалился. Он возвратился в столицу и приступил к своим обычным занятиям; но не жил больше во дворце, в котором и жить, собственно говоря, было уже нельзя, а проводил ночи у Сеид-Эмир-Уль-Умара.

За первым визитом хана последовало несколько других в течение последующих дней; в одно из этих посещений хан с своим братом присутствовал на смотре русских войск. Забавно и интересно было видеть с каким любопытством и удивлением следил он за движениями русской армии. Твердый, мерный шаг солдат и быстрый, дружный ответный возглас на приветствие главнокомандующаго должны были казаться хану чем-то таинственным и демоническим. Он мне напомнил выражением своей фигуры полу-испуганнаго ребенка, следящаго с робким любопытством за развитием действия в какой-нибудь страшной святочной пантомиме. Таковы-то люди, думалось ему вероятно, что покоряют себе всю Центральную Азию; пред горстью которых полегли целыя мусульманския рати в Самарканде как трава под косой; таково то могучее племя из котораго двенадцати сотен оказалось достаточно чтобы взять приступом Ташкент, с его стотысячным населением, люди под дыханием которых самый исламизм исчезает с земной поверхности!

По распоряжению генерала Кауфмана был собран диван или совет для обсуждения средств и способов к уплате военной

контрибуции, которую предполагал назначить русский главнокомандующий. Совет этот состоял из самого хана с тремя его министрами и из трех русских офицеров, в числе, которых был и полковник Иванов. Задача этого совета заключалась не в одном обсуждении [205] средств к уплате Русским военных расходов, но так-же и в том чтобы своими советами руководить хана в делах общего управления страной. Все эти распоряжения возбудили сильный интерес хана, и он выказал много усердия в исполнении всех требуемых мер.

По правде говоря, он был так неопытен в государственных делах что они имели для него все обаяние новизны. До сих пор он предоставлял все управление государством своему министру, диван-беги Мат-Мураду, о котором придется еще говорить дальше. Теперь же он выказывал такую ребяческую поспешность при выполнении всех распоряжений генерала Кауфмана что подчас портил все дело. Для примера я приведу один случай, рассказанный мне самим русским главнокомандующим. Намереваясь освободить рабов, он написал хану письмо, сообщая ему о своем решении и прося его издать по этому поводу прокламации. Вторая половина письма заключала разные внушения и советы относительно лучших способов привести в исполнение эту меру; между прочим он убеждал хана снестись со всеми губернаторами провинций чтобы прокламация эта была прочитана во всем ханстве в один и тот же день, дабы лишить Узбеков возможности мучать Персиян напоследок. Хан же, прочтя только первую часть письма, тут же, не дочитав до конца, написал требуемую прокламацию и дал приказ своим герольдам читать ее по всем улицам на следующий день, а сам поспешил к генералу Кауфману сообщить о своем распоряжении и показать как он спешит исполнять все его желания.

— Разве вы не читали последней части моего письма? спросил Кауфман.

— Нет, отвечал хан,—я не знал что это необходимо.

— Да, конечно, сказал Кауфман,—у нас вторая половина письма нередко даже самая важная. В ней я советовал вам повременить еще немного изданием этой прокламации.

— Ну, этого я не знал, возразил хан;—я сейчас вернусь к себе, дочту ваше письмо до конца и не прикажу обнародовать этой прокламации до того времени какое вы назначили.

Он, однако, скоро освоился с русским способом ведения дел, выказывал даже большую понятливость и много [206] здравого смысла в управления. Весьма вероятно что испытав однажды всю прелесть власти, он не так-то охотно поверит ее опять другому.

До сих пор, как кажется, Русским удалось собрать еще весьма мало сведений об устройстве администрации и о доходах ханского правительства, о средствах и населении страны. Одна из особенностей хивинской администрации состоит в том что за исключением мулл и небольшого числа людей составляющих полицию для присмотра за порядком и наказания виновных, почти никто из чиновников не получает определенной платы. Все они, от высшего до самого незначительного чиновника, живут посторонними доходами захваченными в доверенной им части администрации: система эта конечно ведет к ужасному воровству и взяткам со стороны чиновников.

В финансовой части ханского управления оказалась страшнейшая путаница и невообразимый беспорядок. По исследованиям г. Куна, посвятившего много времени на ознакомление со всем что относилось к управлению ханством, весь государственный доход доходил до 90.000 тилль; но счета были все до того запутаны что не было никакой возможности сделать верную смету действительно собранных налогов. Также не было известно какая часть доходов приходилась на долю самого хана. Судя по его умеренному, простому образу жизни я думаю что он получал долю самую незначительную. При его обстановке было бы невозможно истратить и десятую часть всего государственного дохода; хотя у него было большое семейство и от трех до четырех сот рабов, но у него были также большие земли, приносившая ему вероятно хороший доход. Роскошь, в нашем смысле этого слова, неизвестна хану. Единственною несколько дорогою прихотью его была конюшня, полная великолелвых туркменских коней, да от времени до времени покупка новой жены. Постоянного войска он, кажется, не содержал.

Доход этот, каковы бы ни были его действительные размеры, набирался из разнородных налогов.

Одною из перных статей дохода был „зякет", или пошлина с товаров, собираемый Мат-Мурадом.

Насколько можно было понять из книг Мат-Мурада, налог собираемый с русских товаров, в 2 ? процента, доходил [207] до 11.000 малых тилль (каждая малая тилля =1 р. 80 к.); зякет же с товаров привозимых из Бухары и других стран составлял 8.663 малых тилль. Но только половина этой суммы поступала в казну. Крал ли Мат-Мурад другую половину денег просто себе в карман, или сам хан ему присуждал известную долю зякета в вознаграждение за труды и расходы по сбору—неизвестно. Однако, более чем вероятно что Мат-Мурад просто крал эти деньги у правительства.

Кроме того зякет еще собирался тем же Мат-Мурадом со внутренней торговли. Податью этою облагались все купцы, сообразно величине лавки и продаваемому в ней товару, от 1 кокана (20 коп.) до 1 тилли (1 р. 80 коп.).

Затем следовала подать „салгутная", взимаемая с земли и домов. Собиралась она двумя министрами хана, мехтером и кушбеги.

С Каракалпаков взималось по одному барану с сотни, по одной штуке с каждых 20ти голов рогатаго скота и по одному верблюду из каждых шести. Киргизы, пригонявшие скот на базары, облагались пошлиной в размере от 3х до 5ти коканов с каждого верблюда и 2х коканов с каждого десятка баранов.

Кроме того существовал еще налог на урожай. Когда подходило время жатвы, нарочно для того назначаемыя должностныя лица выезжали в объезд по полям и оценивали на глаз количество предполагаемаго урожая, в присутствии собственника земли.

Точно определить население ханства не оказалось никакой возможности; я думаю даже что нескоро и добьются этих сведений. Даже и в тех среднеазиатских городах что давно находятся под

властию Русских оказалось невозможным произвести верную перепись, благодаря подозрительности народа на этот счет. Ничто неспособно так враждебно настроить их как перепись. Полагают однако что все население ханства доходило до 500.000 душ, не считая кизил-кумских Киргизов, на которых некоторым образом также простиралась ханская власть.

Дороги и каналы поддерживаются на счет правительства, и на этот предмет определяется часть налога получаемого с земли. Поземельный налог может также, вместо уплаты назначенной суммы денег, отрабатываться натурой.

[208] Правила существующая в Хиве относительно земли, почти те же что и в прочих магометанских странах. Земля считается собственностью государства, или, вернее говоря, собственностью магометанскаго вероисповедания, и не дается никому в полную собственность. У правоверных, однако трудно отнять раз поступившую в их руки землю, пока они вносят за нее налоги и возделывают ее. Если же земля остается целых три года невозделанною, то ее может потребовать себе каждый прохожий, и его права на нее тогда считаются настолько же основательными, как и права прежняго владельца. Однакоже, если прежний владелец явится в непродолжительном времени, предлагая уплатить деньгами за подрастающие урожай и сделанные улучшения, то новый владелец обязан возвратить ее прежнему хозяину. Приобрести необработанный участок земли в Центральной Азии весьма легко, так как в ее возделывании предполагается главный источник богатства страны: стоит только засадить невозделанную землю несколькими деревьями и снабдить ее орошением.

Мухаммед-Рахим-Багадур-хан.

XIV. Свидание с ханом.

Найдя что сад в котором стояли войска слишком неудобен для астрономических наблюдений, поручик Сыроватский, астроном экспедиции, просил позволить ему занять одну из комнат ханскаго городскаго дворца. Получив разрешение на такое перемещение, он отправлялся во дворец два раза в день и там же ночевал. Хан выражал такое любопытство относительно инструментов что

Сыроватской обещал ему объяснить их. В назначенный ханом день Сыроватский предложил мне сопровождать его.

Представив сначала подарок, состоявший из ковра и револьвера, поручик Сыроватский переправил свои инструменты в один из внутренних дворцовых дворов. Здесь застали мы хана, сидевшего на платформе, о которой я уже раз говорил. Подмостки эти не были устланы ковром. Я полагаю что у хана осталось весьма мало ковров и он находил некоторое злобное удовольствие выставлять свою бедность на показ Русским. Когда мы поднялись по ступенькам, он дал нам знак садиться и [209] предложил нам арбуза, хлеба и чаю. Затем он выразил желание видеть инструменты. Сперва ему показан был большой телескоп, но так как мы со всех сторон были окружены стенами, то можно было наблюдать только солнце. Вставили темное стекло и окуляр достаточной силы чтобы видеть пятна на солнце. Хан смотрел в телескоп, а поручик Сыроватский объяснял ему видимые в телескоп явления; но это повидимому не интересовало хана, вероятно ему было бы гораздо приятнее если бы стекло было направлено на земные предметы. Затем Сыроватский пытался объяснить ему употребление квадранта и ртутного горизонта; объяснение это повергло хана в бездну смущения, хотя он, повидимому, и старался понять что ему толкуют. Хан несравненно более заинтересовался, когда Сыроватский стал ему объяснять что хотя бы его, Сыроватского, привели с завязанными глазами в любой город на свете, он всегда будет в состоянии при помощи квадранта определить в каком он находится городе, если только ему дадут посмотреть на солнце из такого же маленького двора. „Я могу тогда верно сказать вам что я в Хиве, а не в Бухаре, или в Бухаре, а не в Самарканде". Хан широко раскрыл глаза от удивления, и с этой поры, как кажется, считал астронома чем-то в роде колдуна. В то же время он верно в душе проклинал Сыроватского как неверного пса что он своими бесовскими чарами указал Русским дорогу в Хиву, считавшуюся недосягаемою. Он очень заинтересовался также и барометром. Когда Сыроватский стал показывать ему свои большие и маленькие хронометры, хан вынул свои золотые часы, подарок лорда Нордбрука, и стал сверять время. Хотя был уже полдень, ханские часы показывали всего шесть часов утра. Осмотрев его часы, Сыроватский сказал ему что они очень хороши. Когда инструменты были осмотрены, хан стал выказывать значительное любопытство касательно меня. Не один раз

случалось мне замечать его испытующей, пристальный взгляд, обращенный на меня, так что я вовсе не был удивлен когда он потом заявил желание иметь вторичное со мною свидание. Он начал разговор вопросом из какой я страны приехал.

— Из Америки, отвечал я.

[210] — Так, стало-быть, вы не Англичанин? спросил он с видимым удивлением. Вопрос этот подтвердил мои предположения что он принимал меня за английского агента.

— Нет, возразил я;—страна моя гораздо дальше.

— А как далеко?

— За большим морем; 400 дней пути, верблюжьим ходом. Пораженный, он осведомился, как же я перехал такое большое море.

Тогда я спросил его, не видал ли он русский пароход на нижнем течении Аму-Дарьи. Он отвечал что сам его не видал, но много о нем слышал. Я сообщил ему что такой-то пароход может переехать то море в десять дней, подвигаясь вперед ровно в сорок раз быстрее верблюда. Затем я ему заявил что мои земляки изобрели эти пароходы, а также и ту быструю систему соообщения посредством которой можно бы переслать известие из Хивы в Бухару в какия-нибудь пять минут. Это заявление однако показалось хану совершенно невероятным; я даже думаю что он счел меня тут великим лгуном.

Телеграф был доведен до Ташкента уже после падения Хивы и весьма мало Азиятцев имеют понятие об этом изобретении.

Я сказал также что Американцы изобрели винтовки употребляемые Русскими — заявление весьма не любезное с моей стороны, в виду того как пришлось пострадать бедному хану от действия этих самых орудий. Это сообщение однако возбудило в нем большой интерес. Он стал меня спрашивать, много ли выделяется в Америке винтовок? Что оне стоят? Трудно ли их

достать? Когда я ответил на все эти вопросы, он стал спрашивать меня о Франгистане (Франции) и Англии.

Я начертил приблизительную карту на клочке бумаги, объясняя ему относительное положение Франции, Германии, Англии, России и Индии, и он внимательно в нее всматривался. Я сказал ему что у Франции была с Германией война, что Франгистан был побит и принужден выплатить большую сумму денег. Это очень его тронуло, он немедленно уловил сходство положения этой страны со своим собственным. Он полубопытствовал узнать, всегда ли таким же образом ведется война на Западе. Я уверил его что всегда и что там не убивают пленных, не [211] мучают их и не продают в рабство; не выжигают и не грабят неприятельской страны, а существуют тем более действительныя средства для достижения того же результата. Когда я сказал ему что во Франции насчитывается 40.000.000 народонаселения, и почти столько же в Германии, и что каждая из этих стран выставила на поле битвы армии в 1.000.000 человек, он был поражен до последней степени; для него, конечно, было не малым утешением узнать что и такая большая страна как Франгистан может подвергнуться такому же унижению, как и он.

Тут он меня спросил, велика ли страна Русских. Я отвечал ему что Россия больше Франции, Англии, Германии и Индии сложенных вместе, и что население ея вдвое многочисленнее населения Англии или Франции.

Больше всего поразило его из разказов об Америке то что тамошний хан царствует всего четыре года, и что затем избирается другой хан на место прежняго.

— Да как же хан допускает выбрать другаго на свое место? спрашивал он в удивлении.

— Таков закон; еслиб он не захотел подчиниться закону, народ бы его к тому принудил. Тут я прибавил что даже и я, по возвращении своем домой, могу быть выбран ханом.

Он, однако, взглянул на меня с весьма недоверчивым, видом, вероятно думая что уж этому-то последнему никогда не бывать. Он спросил меня затем, в дружбе ли находятся Англичане с Русскими.

Я отвечал утвердительно; сообщил хану о только-что объявленной помолвке Дочери Великаго Белаго Царя с сыном Английской королевы, уверяя его что и теперь Лев Англии и Медведь России лежат рядом в таком добром согласии будто два ягненка.

Наружность хана довольно привлекательна. Выражение его лица приятное и веселое, и во взгляде нет ничего жестокаго и кровожаднаго. Я нашел его даже весьма вежливым и ласковым. В то же время в осанке его проглядывало что-то царственное — вид спокойнаго самообладания человека привыкшаго повелевать. Вообще мне кажется что он расположен к кроткому образу действий. Пленные Русские отзывались о нем очень хорошо. Проходя [212] мимо них во время работ, хан не редко останавливался и вступал с ними в дружелюбный разговор. Конечно, в настоящую кампанию он выказал себя со стороны весьма, невыгодной, оказался неблагодарными и трусливым в высшей степени. Он нигде лично не предводительствовал своими войсками, бежал при первом появлении Русских, и наконец, как увидит читатель, выказал потом самую черную неблагодарность относительно Туркмен.

В течение всего моего свидания с ханом, один из состоящих при нем слуг через каждые пять минут вносил ему трубку. Хан затягивался и отдавал трубку назад; затем ее набивали вновь и опять подносили ему. Я потом узвал что он целый день продолжает так курить. Во время пребывания Русских в Хиве он проводил день свой следующим образом. Утром приезжал в русский лагерь и присутствовал в совете или диване, под председательством полковника Иванова. Здесь проводил он час-другой в обсуждении государственных дел. Отсюда возвращался в свой дворец, завтракал, а затем часа два судил народ. Он выслушивал всевозможныя жалобы, начиная с самых серьезных раздоров касавшихся имуществ, и кончая самыми пустыми ссорами мужей с женами. После полудня, напившись чая, он отправлялся отдыхать в гарем. Вечером же опять выезжал верхом, заезжал к генералу Кауфману или просто прогуливался по стране, сопровождаемый тремя, четырьмя, а иногда и двадцатью из своих приближенных. Он всегда старался отвечать на поклоны встречных людей; никогда я не видал чтоб он пропустил чей-нибудь поклон—был ли то Русский или

самый последний из его подданных — не поклонившись в свою очередь.

Говорили что у Хана всего четыре жены; но кроме того у него еще около сотни рабынь всех племен, попадавших в его владения. О точном числе их я однако не мог справиться, так как в Центральной Азии считается крайне неприличным упомянуть человеку хотя бы одним словом о его жене или женах. Образ жизни женщин здесь очень прост и воздержан. У них не существует соперничества относительно одежды; и даже женщины цивилизованного мира могли бы брать с них пример во многих отношениях. Большую часть своего времени проводят они по [213] домам, выделывая одежду, ковры, постели для всего семейства и присматривая за хозяйством.

В Хиве было несколько государственных сановников: Мат-Мурад, Мат-Нияз, Якуб-Бей и дядя хана, Сеид-Эмир-Уль-Умар. Мат-Мурат Авганец, раб прежнего хана, вкравшийся в его доверие. Он также сумел заслужить расположение молодого хана, и этот последний, по вступлении своем на престол, сделал его своим главным советником. Мат-Мурад сильно ненавидел Русских, и по его именно наущению хан отказывался выполнить их требования. Он предводительствовал хивинским войском под Шейх-арыком, и затем сопровождал хана в его бегстве. Генерал Кауфман спрашивал Мат-Нияза, способный ли человек его товарищ Мат-Мурад. „Он хитер, но не умен“, было ответом. Когда хан сдался Русским, Мат-Мурада захватили и никогда более не допускали видаться с его властелином. Потом его отправили в Казалу, где он, как кажется, до сих пор содержится в заключении.

Мат-Нияз, также как и Сеид-Эмир, оба принадлежат к партии мира. Первый из них маленький, безобразный человек, с круглыми глазами, редкою бородкой и вздернутым носом. К Русским он был, повидимому, расположен очень дружелюбно, и он-то доставил генералу Кауфману самые верные сведения относительно ханства. Лет ему было около сорока пяти. Якуб-Бей старик, лет шестидесяти. Это еще бодрый, крепко сложенный человек, с пасмурным выражением лица, украшенного коротким толстым носом и весьма напоминающий бульдога; он крив на один глаз. В некоторых чертах

его было сходство с Туркменами, да может-быть и в жилах его текла туркменская кровь. Сеид-Эмир-Уль-Умара я уже описывал прежде.

У хана было два брата; одного он очень любил, другого же решительно ненавидел. Этот последний имел виды на престол, как я уже говорил прежде, он даже заявил свои притязания генералу Кауфману, во время бегства хана, когда престол был никем не занят.

От русских офицеров я слышал что по разказам некоторых купцов из Куны-Ургенча, хан ежегодно закупал большое количество вина, привозимаго из России, и [214] нередко напивался пьян. Но так как во дворце не найдено было ни одной бутылки, да и самый разказ весьма неправдоподобен, то почти нечего и сомневаться что это было чистейшею выдумкой.

Большая площадь в Хиве.

XV. Город Хива в 1873 году.

Наружный вид Хивы с некоторых пунктов очень оригинален. Высокия зубчатая стена с башнями; крытые ворота с тяжелыми башнями по бокам; возвышающиеся из-за городских стен куполы мечетей и минаретов; если видеть все это на фоне западного небосклона при освещении заходящего солнца, то картина представляется очень живописная; но приятное впечатление произведенное наружным видом вполне забывается при входе в самый город. Во всем городе найдется не более трех-четырех строений представляющих хотя бы какой-нибудь намек на архитектуру; все остальное слеплено из глины и представляет самый жалкий вид.

В Хиве находятся две большие стены: одна снаружи, другая внутри города. Внутренняя стена, с частью города которую она оцепляет, образует цитадель в одну милю длины и четверть мили ширины. За этой стеной находится ханский дворец, большая башня, несколько медресе и большая часть публичных зданий. Стена защищена тремя-четырьмя башнями. Сооружение ее относится к гораздо более древнему периоду, чем постройка стены наружной; в сущности никто не в состоянии определить времени ее сооружения. Весьма вероятно что прежде за этой стеной заключался и весь город Хива. Наружная же стена была построена всего в 1842 году, когда

хан того времени, Аллах-Кули, вел войну с Бухарой; он построил стену как дополнительную защиту своей столицы. Диаметр этой наружной стены далеко не везде одинаков, так как форма окруженного ею пространства несколько напоминает раковину устрицы, с удлиненным узким концом, срезанным под прямым углом. Диаметр по длиннейшему направлению доходит до полуторы мили, а по кратчайшему составляет одну милю. Средняя высота стены достигает двадцати пяти футов, но во многих местах она выше; у [215] основания она двадцати пяти футов толщины, но при вершине не шире трех и даже двух футов. Город окружен еще рвом от двадцати до двадцати пяти футов шириной. Ров этот я местами видал до краев наполненным водой, не хуже любого канала, тогда как в других местах он совсем пересох. Мне уже случилось упомянуть о двух воротах, которые ведут в город. Кроме ворот Хазар-Аспа и Хазаватских существует еще пять других входов в город.

Пространство заключающееся между наружной и внутренней стенами в одном месте почти сплошь покрыто гробницами. Это уже не первый случай что мне приходилось замечать странный обычай туземцев устраивать могилы рядом с жилищами живых людей. То же самое находил я и прежде того на Хала-Ате, в Хазар-Аспе—наконец, во всем ханстве.

В другом месте весь промежуток между двумя стенами был засажен садами. И эта часть города, западная, самая приятная для жилья. Здесь множество вязов, фруктовых деревьев и маленьких каналов, так что по свежести воздуха этот квартал напоминает хорошенькое предместье, или же маленький голландский городок, где каждая улица имеет свой канал. Вода доставляется сюда преимущественно из двух каналов: Чингери, с северной, и Ингрик, с юго-западной стороны города. Внутри всех почти дворов при домах устроен маленький бассейн для домашнего обихода, наполняемый водой из каналов.

По безобразной наружности хивинских глиняных домов, не следует заключать что они представляют такое же печальное, некомфортабельное устройство и внутри. Совсем напротив: они очень хорошо приспособлены к местности и климату; хотя они и не соответствуют нашим понятиям о роскоши, но за то в своих

прохладных, темных комнатах доставляют приятное убежище от палящего зноя; часто они и убраны с комфортом, заставляющим вполне забывать об их жалом наружном виде.

Расположение хивинского жилища следующее. Большой двор в который ведет или маленькая, узкая дверь или же ворота достаточной ширины для проезда телеги. Вокруг двора расположены жилые комнаты, которые все имеют двери выходящие во двор, но между собою не имеют [216] никакого сообщения. На южной стороне устроен высокий портик, открытый с севера; крыша его возвышается от 8 до 10 футов над окружающею стеной и служит к тому чтобы захватывать ветер, и спускать его во двор, вниз. Таким образом почти всегда искусственно поддерживается ток воздуха; каковы бы ни были невыгоды этого расположения для зимнего времени, но летом оно бесспорно доставляет большое удобство и полезно для здоровья.

Внутреннее убранство комнат такое же как и в ханском гареме, который я описывал, но нет, конечно, такого изобилия вещей.

Излишним, я думаю, будет и говорить что здесь неизвестны ни стулья, ни столы, а заменяются оныя коврами, войлоками, подушками и одеялами самых ярких цветов и блестящих материй. Оконные стекла также вещь здесь неизвестная, да летом и я не видел тут в них необходимости, так как свет неразлучен с жарой, а полумрак царствующий в этих покоях даже и днем, гораздо комфортабельнее и приятнее яркаго дневнаго света.

Так как в городе не существует почти и намека на архитектуру, —нет окон, мало дверей даже и на главных улицах,—то прогулка по Хиве представляет столько же разнообразия и удовольствия как всякая прогулка между двумя стенами от 10ти до 20ти футов вышины в любом другом месте. Улицы шириною от десяти до двадцати футов, конечно очень пыльные в это время года; проезжая по ним вы только и видите с обеих сторон грязные голые стены, изредка перерезанные поперечными улицами, ничто кроме того не нарушает это глиняное однообразие. Разве иногда за дверью, полуоткрытой в темное пространство, мелькнет одна, другая женщина, спеша спрятаться от любопытных, взоров ненавистнаго „Уруса". Временами случается подъезжать к группам маленьких

девочек лет пяти-шести, да и те, уже наученные избегать мужского взгляда, рассыпаются по сторонам и прячутся как молодые куропатки, или же встречается женщина вся укутанная безобразным вуалем из конского волоса, и она прижимается на ходу к противоположной стороне улицы, будто одного вашего взгляда достаточно чтобы повредить ей, или же она проото-на-просто оборачивается к вам спиной, выжидая пока вы проедете. Мальчики однако вовсе не пугливы, шаловливы и [217] любопытны как мальчишки всего света и всегда готовы поддержать вашу лошадь или оказать вам какую-нибудь другую маленькую услугу.

В Хиве насчитывается семнадцать мечетей и двадцать два медресе. Медресе имеет некоторое сходство с католическим монастырем; это место в котором, по убеждению народной массы, муллы или духовные лица ведут праведную жизнь и приобретают научные религиозные сведения. Я посетил однажды несколько таких медресе вместе с бароном Каульбарсом. Сперва мы отправились к хану и застали его в совете или диване, заседающем в кибитке в одном из садов. Он поспешил снабдить нас проводником и, казалось, польщен был интересом который мы выказывали относительно медресе.

Самое великолепное и в то же время самое священное здание в Хиве—это мечеть Полван-Ата. Расположена она очень уютно в глубине маленького сада и весьма красива благодаря высокому куполу. Выстроена из обожженного кирпича. Купол имеет около шестидесяти футов вышины, покрыт такими же изразцами как и большая городская башня, о которой я уже говорил, только ярко-зеленого цвета, и заканчивается позолоченным шаром. Общий вид несколько напоминает русскую церковь. Построена эта мечеть Магомед-Рахим-ханом в 1811 году и в ней помещается гробница Полвана, почитаемого святым патроном Хивы.

Внутренней вид купола очень красив. Он весь выложен изразцами украшенным тонким голубым узором в перемежку с изречениями из Корана. Изразцы так плотно пригнаны один к другому что швов между ними вовсе не видно, и общий вид купола представляет как бы опрокинутую и вывернутую вазу прекрасного китайского фарфора.

Вследствие некоторых особенностей постройки, купол этот отличается особенными акустическими свойствами, которым Хивинцы приписывают сверхестественное происхождение. Молитвы читаемая громким голосом и многими людьми зараз, повторяются эхом довольно внятно; этого, конечно, более чем достаточно для убеждения простых умов Хивинцев что Аллах слышит их молитвы.

Внутри помещаются гробницы предшественников хана. Оне расположены в стенной нише и обнесены медною решеткой. В этой части мечети похоронены три хана: [218] Мухамед-Рахим, Абул-Гази и Шир-Гази. Понятно что место где покоился Шир-Гази возбуждало не малый интерес Руских надо вспомнить что это был хан который так предательски умертвил князя Бековича-Черкасского и перебил почти всех людей его экспедиции.

В стороне от этого главного отделения мечети находятся две небольшия комнаты. В одной помещается гробница хана Аллах-Кули, умершаго в 1843 году и построившаго внешнюю городскую стену; в другой гробница самого святаго Полвана. Квадратная комната эта очень мала и низка; и почти темна, так как освещается всего одним маленьким окном. Стены и гробница выложены серыми изразцами. Гробница помещается посреди пола; она семи футов в длину, четырех в ширину и трех в вышину; изразцы ее покрывающие так плотно соединены между собою что всю ее можно принять за цельный кусок сераго мрамора.

За мечетью находится глиняное строение, заключающее в себе множество комнат, занятых слепыми. Мы осмотрели несколько из этих комнат. Это были простыя кельи, иногда всего шести футов длины при четырех ширины, и все убранство такой комнаты состояло из небольшого количества кухонной посуды, овчины, разостланной на полу с двумя одеялами для постели и каменнаго кувшина для воды. Как ни мала была комната, в углу всегда находили мы миниатюрную печку, в которой предоставлялось самому слепому варить себе пищу и чай. Было что-то трогательное в заботливой чистоте в которой все содержалось; опрятность и порядок царствующее в расположении их вещей возбуждали невольную симпатию, выказывая в этих отшельниках те же особенности которыми отличаются слепцы наших рас.

Здесь жило от пятнадцати до двадцати слепых. Они нам сказали что им ежедневно выдается чай, рис и хлеб, мясо раза два, три в неделю, да кроме того, при всяком выходе своем на базар, они получают от прохожих маленькие подарки, заключающееся в кусках сахара и фруктах. Учреждение это поддерживается частью вкладом основателя его святого Полвана, частью же настоящим ханом. Уже из того что подобное заведение существует в Хиве, видно что народ здесь вовсе не такой варварский, как полагают.

[219] Затем поднялись мы по узкой изогнутой лестнице в верхний этаж, то-есть на площадку идущую кругом главного купола, по которой были в беспорядке разбросаны маленькие кельи или комнатки, где жили муллы. Эти комнатка расположены отделениями, состоящими из двух, трех каморок, не больше тех где живут слепые; все оне помещаются на южной стороне. Эти темная маленькая кельи, хотя и расположенная на солнечной стороне, вовсе не были некомфортабельны, когда притворялась входная дверь; и мы охотно уселись в одной из них на полу, пока мулла готовил для нас чай и пилав.

Отсюда пошли мы в медресе, построенное настоящими ханом на площади пред дворцом. Медресе это принадлежит к новейшим постройкам, сооружено из прекрасно обожженных кирпичей и выказывает большия претензии на архитектурное изящество. Выстроено оно по плану одного персидскаго караван-сарая; рисунок этот вероятно доставлен теми же рабами-Персиянами которые работали над его постройкой. Здание это около ста футов в квадрате, состоит из двух этажей и представляет очень красивый фасад с возвышенным порталом около пятидесяти футов вышины, который по окончанию работ весь будет украшен белыми и синими изразцами о которых я уже так часто упоминал.

Внутри находится большой, хорошо вымощенный двор, с котораго идут входы во все комнаты. Комнаты расположены двумя этажами вокруг двора. Каждый мулла имеет две комнаты: одну для кухни, так как муллы все сами готовят себе пищу, а другую для ученых занятий. Большая из этих двух комнат, футов шести шириною при восьми длины, снабжена печкой с трубой и другими принадлежностями кухни, но в таких миниатюрных размерах что

оне кажутся детскими игрушками. Комнаты эти освещаются одним маленьким отверстием над входною дверью; конечно при этом оне очень темны и вовсе не приспособлены к ученым занятиям. Верхний этаж состоит из целого ряда маленьких келий, выходящих на длинный балкон, огибающей весь фасад; из них открывается прекрасный вид на площадь и ханский дворец. Это медресе, по хивинским требованиям, представляет достаточное помещение для ста человек, но до сих [220] пор они почти-что совсем не занято. Удивительно как вздумал хан выстроить медресе вместо новаго дворца когда его настоящий дворец далеко не может сравниться с этим медресе по вкусу, прочности и удобствам постройки.

У самага ханскаго дворца находится медресе построенное Мухамед-Эмир-ханом в 1844 году. Это главное городское медресе, и состоит из четырехугольнаго строения, окружающаго большой вымощенный двор.

Построено оно по такому же плану как и описанное выше; в нем содержатся триста учеников, обучаемых четырьмя учителями. Каждому ученику выдается в год пятнадцать четвериков пшеницы, пятнадцать четвериков джугары и от 20 до 26 рублей деньгами. У угла этого медресе стоит большая башня, предмет наиболее бросающийся в глаза во всей Хиве.

Только четыре или пять хивинских медресе выстроены из кирпича, остальные слеплены из глины и почти не отличаются от окружающих домов.

Муллы совершенно непохожи на обыкновенных людей. Бродят они по городу худые и изнуренные, с длинными бородами и впалыми глазами; лица их, тупые и бессмысленныя, оживляются только по временам вспышками возбужденнаго фанатизма

Долгие годы пребывания в тесных и темных кельях, учение наизусть Корана, без малейшаго понимания, вечныя усилия над одною и тою же задачей, отчуждающей их от всякаго живаго человеческого интереса, доводят их до этого полуидиотскаго состояния. Вот резкий пример их невежества и тупости, который однако также служит доказательством их способности к умственному труду. Мне разказывал генерал Кауфман что раз, в

бытность свою в Самарканде, он услышал об одном: молодом мулле, славившемся своею набожностью и знанием Корана. Когда генерал Кауфман выразил желание с ним познакомиться, мулла явился к нему. Оказалось что он знал весь Коран наизусть по-арабски, мог начать с любого места и без ошибки продолжать свое чтение наизусть до конца книги. Когда же муллу этого попросили перевести главу из Корана, он выразил полнейшее удивление при такой необыкновенной на его взгляд просьбе, и заявил что он ни слова [221] по-арабски не понимает. А между тем этот бедняга лучшие годы своей жизни убил над этим занятием достойным попу-гая. Удивительно ли что после целых годов проведенных в этом безтолковом долблении наизусть, люди эти не только кажутся, но становятся действительно полнейшими идиотами.

Но не говоря уже об образе их жизни, одних головных уборов их достаточно чтобы затормозить какую угодно головную работу, лишить их последнего проблеска разума, уцелевшего после их суроного религиозного воспитания. Убор этот состоит из высокой бараньей шапки, фунтов в семь-восемь весу, у краев обмотанной в виде чалмы тридцатью или сорока аршинами белой кисеи. Носится эта шапка в самую жаркую пору лета, и надо видеть несчастных мулл, бродящих с этими чудовищными башнями на голове под жгучими лучами палящего солнца чтобы понять до какой жестокости к себе может дойти человек! Не легко понять что заставляет их носить эту баранью шапку летом, когда Коран требует ношения одной чалмы.

Духовенство это имеет самое пагубное влияние на народную массу: оно поддерживает в ней дух нетерпимости, изуверства и суеверия, препятствует всякому прогрессу, поощряет порок и невежество, ограничивая всякое знание одним долблением Корана. Я даже думаю что именно отсутствию мулл у Киргизов надо приписать их честность, терпимость и доброту, не встречаемый в городском населении.

XVI. Базар .

Раз выхожу я в полдень из своей квартиры в Хиве с целью осмотреть базар. На улицах жарко и пыльно; солнце печет немилосердно; серые глиняные стены до того раскаляются под солнечными лучами что от них так и пышет жаром, и прогулку по

такой улице можно сравнить разве с прогулкой внутри раскаленной печи.

Приятно вступить из этого пекла в прохладную тень базара. При входе вас охватывает смешанный запах пряностей и других веществ; в ушах звенит от шума и гула толпы людей и животных, и вы видите пред [222] собой пеструю массу людей, лошадей, верблюдов, ослов и возов. Базар просто-на-просто состоит из крытой улицы, в которой все устроено на первобытный лад. Крыша образуется бревнами перекинутыми с одной стены на другую поверх узкой улицы; на бревнах плотно уложены небольшие куски дерева и все это засыпано землею. Сооружение это, однако, вполне отвечает своему назначению, прекрасно защищает от яркого света и жары.

С наслаждением вдыхаете вы прохладный, сырой, пропитанный запахом пряностей воздух и видите пред собой груды свежих, спелых фруктов, наваленных в безчисленном количестве. Тут найдете вы абрикосы, персики, сливы, виноград, арбузы, дыни всевозможных сортов, и неподдающийся никакому описанию ряд товаров, встречаемых в одной Центральной Азии. Лавок, в собственном смысле, тут нет, а просто устроена вдоль одной стороны возвышенная платформа, на которой восседают люди среди груды товаров, и между их владениями не видать никакой пограничной черты. С другой стороны улицы помещаются цирюльники, мясники, починщики старой обуви и мелочные торговцы.

С трудом пробиваетесь вы с лошадьёю чрез эту толпу на протяжении около двадцати сажен и встречаете другую крытую улицу, пересекающую эту поперек. Взяв влево, проезжаете вы тяжелыми, сводчатыми кирпичными воротами — и вот вы на самом базаре, известном под названием «Тим». На этом базаре производится главная мелочная торговля города; помещается он под двойным сводом, образующим проход сажен в 50 длины и 20 ширины. Построен этот проход из кирпича сложенного целым рядом арок; крыша отстоит сажен на двадцать от земли; и каждая арка оканчивается чем-то в роде купола с пробитым в нем подобием трубы, служащим для освещения и вентиляции места. Посреди

находится купол выше всех остальных и не лишенный некоторых архитектурных претензий.

Лавки состоят из простых балаганов или стойл футов восьми и даже шести в квадрате, открытых с одной стороны для выставки несообразнейшей смеси всевозможных товаров. В одном таком стойле увидите вы чай, сахар, шелковые и бумажные материи, халаты, сапоги, [223] табак, словом, все что только можно найти в Центральной Азии.

Вы садитесь напротив этих балаганов и наедаетесь как только можете холодными, сочными арбузами, сладкими румяными персиками и виноградом, живо напоминающим собою хорошее вино. Если же вы нуждаетесь в более существенном подкреплении, в одно мгновение явится пред вами пилав с горячими пшеничными лепешками; вы можете спокойно возседать среди этой волнующейся толпы и наслаждаться едой. Кстати заметить что чай здесь употребляется зеленый, единственный привозный предмет составляющий монополию Англичан.

Никто вам также не помешает растянуться на ковре в каком-нибудь углу и целые часы наблюдать с постоянным интересом за вечно меняющимися группами и проходящим мимо вас рядом странных, диких лиц. В этой пестрой толпе найдутся представители всех средне-азиатских народностей. Вот Узбек в длинном халате, высокой черной бараньей шапке, с задумчивым видом и степенною осанкой, свойственными всему его племени. Потомок покорителей страны, он принадлежит к хивинской земельной аристократии, стоящей в таком же положении относительно остальных Хивинцев, как потомки франко-норманнской расы к массе английского народа. Узбек высок, хорошо сложен, с прямым носом, правильными чертами лица, густою бородой и задумчивым видом; его легко бы принять и за Европейца, если-бы не выдавали его настоящее происхождение смуглый цвет лица, худощавая жилистая фигура и какое-то жесткое выражение, присущее всем обитателям Востока, к какому бы племени и стране они ни принадлежали. Теперь бедному Узбеку конечно есть над чем призадуматься: прошли красные дни господства его племени над Хивой, едва ли даже Мухамед-Рахим-Богадур-хан не будет последним Узбеком владычествующим в стране. Вот Киргиз, возседающий на своем верблюде; его

широкоскулое, плоское, глуповатое, но тем не менее добродушное лицо выражает самую комичную застенчивость. Насмешки сыплются на беднягу со всех сторон из толпы раздвигаемой его верблюдом; он служит предметом множества замечаний, как видно не совсем лестного свойства. Высоко-образованные и [224] утонченные городские обыватели относятся с немалой долей презрения к этим простымномадам, живущим вдали от столицы, центра просвещения и удовольствий. Киргиз этот вероятно ехал верст за пятьдесят или шестьдесят затем чтобы продать пару овец да купить немного чаю, сахару, а может-быть новый халат для себя, и горсть-другую бисера для жены и дочери.

Вот этот человек в белой чалме и яркоцветном, блестящем на солнце халате—бухарский купец, приехавший в этот провинциальный на его взгляд город с целью понадуать своих собратий, хивинских торговцев, а может-быть и закупить одного, другого раба, если подойдет удобный случай. Последнему его расчету, однако, уже не суждено осуществиться.

Затем взгляд ваш останавливается на человеке со смуглым, почти черным лицом, с толстыми губами, тяжелыми нависшими бровями, коротким вздернутым носом и свирепыми глазами. Он возседает с видом самодовольной независимости, чуть ли даже не дерзости, на своем высоком красивом коне, погоняя его и ни мало, по-видимому, не заботясь о том что легко может и раздавить кого-нибудь в этой толпе. На этого не сыпнется ни насмешек, ни острот, хотя он заслуживает народную неприязнь гораздо более скромного Киргиза. Причина этого уважения не маловажна. Человек этот за ответом в карман не полезет, а если что ему придется не по вкусу, то сабля в руках его окажется еще пожалуй подвижнее языка во рту. Это Туркмен-Иомут, о котором еще речь впереди.

Дальше следует Персиянин, недавний раб; этот отличается острым, резко очерченным лицом, быстрыми кошачьими движениями, и проходя мимо, вскидывает на вас быстрый взгляд своих хорьковых глаз. Но вот бросается вам в глаза высокая белая чалма, известная уже вам принадлежность женского наряда, и вы напрягаете все ваше зрение в надежде увидеть наконец опять женское лицо. Но нет, женщина вся обернута длинными одеждами в лохмотьях, на плечи ея накинут грязный халат, а ужасный вуаль из

черного конского волоса задергивает все ее лицо будто саван; разве только удастся вам уловить мгновенный проблеск ее взгляда, когда она [225] проскользнет мимо вас. Здесь женщины одеваются в самые грязные и оборванные одежды при выходе на улицу, с целью отвратить этим внимание прохожих. Обычай этот составляет одну из самых неприятных особенностей Хивы. В течении целых недель и месяцев встречаете вы везде и повсюду одни мужские лица, так что наконец желание видеть женское лицо делается такою же настоятельною потребностью как взглянуть на зеленую траву и цветы после долгаго переезда пустыней.

„Тим" служит центром торговли мелочной, тогда как большая часть оптовой торговли производится в караван-сараях.

Караван-сарай этот, как я узнал из русских источников, построен в 1823 году Мухамед - Рахим - ханом по плану всех подобных строений в Центральной Азии. Это квадратное здание с четырехугольным мощным двором от пятидесяти до шестидесяти футов величиной. С каждой из четырех сторон расположено множество клетушек, служащих лавками, каждая не более восьми футов в квадрате. Балаганы устроены со сводчатыми потолками, открыты во двор и получают все освещение через дверь. В этих-то балаганах совершают все свои торговые обороты богатые хивинские купцы, ведущие торговлю с Россией и Центральною Азией.

В одной из русских газет мне попала заметка о том как одно духовное лицо выезжает несколько раз в день на базар для разрешения жалоб относительно мер и весов. На этом же лице лежит ответственность чтобы никто не проспал час молитвы. Все провинившиеся наказываются на месте преступления; кара эта производится помощниками духовнаго лица, сопровождающими его в этом объезде. Может-быть, вследствие повсеместно еще царствовавшей неурядицы, мне самому ничего подобного видеть не случилось. Меры и весы употреблялись русские, также как и счеты, на которых купцы производят свои вычисления. Денежная хивинская единица есть „кокан" или „тенга", стоящая двадцать копеек. Девять коканов составляют „тиллю", золотую монету, в 1 р. 80 к. с. стоимостью. Есть еще большая тилли, ценою в 3 р. 60 копеек; существует и медная монета „пуль" или «чека», и

шестьдесят таких монет [226] составляют тенгу, так как пульт ценится в $\frac{1}{3}$ копейки серебром.

Здесь же находился и невольничий рынок. Захват русских и персидских подданных и продажа их в рабство продолжались долгое время. В первой половине настоящего столетия численность рабов-Русских была велика; судя по вышеупомянутому источнику их было до 2.000 пред экспедицией генерала Перовскаго. Но во время этой кампании, в 1839—40 годах, большая часть Русских были освобождены и высланы в Оренбург. По договору заключенному после этой несчастной экспедиции полковником Данилевским с Хивинским ханом, последний обязывался не позволять более торговли русскими пленными. Несмотря однако на этот трактат и на другой заключенный в 1858 году, торговля Русскими невольниками продолжалась, хотя и не в таких обширных размерах.

Рабы Русские продавались в последнее время на Хивинских рынках по 100 и даже по 200 тилль за каждого; Персияне давались в 70, а женщины и мальчики до четырнадцати лет от 60 и до 300 тилль. Рабы Русские ценились выше Персиян, потому что работали они лучше; по большей части они доставались самому хану. Некоторые Русские получали даже почетные назначения, им поручалось командование войском или обучение артиллерии.

Персия однако доставляла самое большое число рабов. Туркмены захватывали на Персидской границе огромное количество персидских „шиитов" или еретиков. Туркмены нарочно обращались с этими пленными как нельзя более варварски. По свидетельству Вамбери, их едва даже кормили, из опасения что сытые они в состоянии будут убежать. Уже не говоря о страшных побоях бичом, их истязали всевозможными пытками, которые в состоянии придумать одни только азиатские варвары. На ночь их так крепко привязывали что они не могли ни стоять, ни сидеть. Понятное дело что в Хиву они доставлялись совершенными скелетами.

Насколько я однако в состоянии был разузнать, в самой Хиве рабы содержатся вовсе не так дурно. Им выдают достаточное количество пищи и питья; что же касается одежды, то в этом отношении между хозяином и рабом почти что нет разницы. Да и работой они, как видно; [227] не были обременены, если некоторым

из них удавалось даже вырабатывать еще достаточно денег для выкупа себя из рабства.

Захватывали и Авганцев, но на основании предписаний Корана они не могли быть продаваемы в рабство, будучи правоверными суннитами, а не еретиками. Однако жадные до добычи Туркмены и Хивинцы бичеванием и другими пытками доводили этих несчастных до признания себя «шиитами» и тогда продавали их в рабство за отступничество от истинной религии. Евреев никогда не обращали в рабство благодаря презрению с которым относятся к ним все магометане. Русских захватывали Туркмены главным образом на восточном берегу Каспийского моря, а Киргизы брали в плен рыбаков северного побережья этого моря, а также и других Русских по границам Оренбургской губернии и Сибири.

Как Персияне, так и все другие рабы с безумным восторгом приветствовали приближение Русских, зная что занятие Русскими какого бы то ни было пункта в Центральной Азии сопровождалось немедленным освобождением рабов.

Тотчас по занятии Хивы между рабами и хозяевами началась открытая война. Персияне начали грабить Хивинцев, и последние стали приходить к Русским целыми толпами, прося защиты от ярости Персиян. Для подавления беспорядка были приняты строгия меры, двух Персиян уличенных в грабительстве судили военным судом и повесили. Я видел их тела, когда они висели на базаре в течении нескольких дней. Я могу однако засвидетельствовать что многие из русских офицеров сильно осуждали это решение, полагая что надо было принять во внимание и то что Персияне имели более чем достаточныя причины мстить своим хозяевам. Наказание это имело два последствия, оно усмирило Персиян и поощрило их хозяев к новым истязаниям их в наказание за то как они воспользовались минутною свободой. Некоторые из этих несчастных приходили в наш лагерь, показывая рубцы на подошвах и раны на икрах ног в которыя насыпан был мелко нарезанный конский волос.

Узнав об этих зверствах, генерал Кауфман поручил хану издать прокламацию об уничтожении рабства; при [228] этом хан сдедал ту смешную ошибку, о которой я говорил в одной из предыдущих глав.

Прокламация эта была издана 12го (24го) июня; глашатаи читали ее на улицах Хивы и по всем главным хивинским городам.

Верных сведений о численности рабов мы добиться не могли. Мат-Мурад на вопрос об этом отвечал что их всего три или четыре тысячи. Потом же оказалось что у самого Мат-Мурада их было 400. По тем сведениям какая могли собрать, мы заключили что в Хиве было около 30.000 Персиян, из которых 27.000 состояли в рабстве. Я слышал что одно время у Русских было предположение наделить Персиян частью незаселенной хивинской земли; я не знаю, однако, приведена ли эта прекрасная мысль в исполнение. Часть Персиян Русские решили выслать на родину. Составлено было три партии — каждая человек в 500, и персидскому правительству дано было по телеграфу знать чтоб оно приняло их на границе. Те Персияне которые высланы были на Красноводск и Киндерлинскую бухту благополучно достигли своего назначения, те же что пошли на Атрек попались в руки Туркмен-Теке и встретили злую смерть. Рабы оставшиеся в Хиве хотя и считаются освобожденными, но житье им, как кажется, не лучше прежняго. Некоторые русские офицеры были даже того мнения что три четверти Персиян еще останутся в положении рабов, и что меры принятая в этом отношении не достаточно решительны. Во всяком случае несомненно что это теоретическое уничтожение рабства неминуемо приведет и к его действительному искоренению.

Центр торговли ханства ваходится в Яны-Ургенче, верстах в тридцати на северо-восток от Хивы. Здесь проживают самые богатые хивинские купцы, ведущие оптовую торговлю с Россией, Бухарой и Персией; в самой же столице денег мало и торговля незначительна. В Хиве насчитывается до 300 лавок, но товару в них немного, да и открыты оне по большей части бывают всего два дни в неделю, в понедельник и четверг, базарные дни; в остальные дни недели не производится почти никаких торговых оборотов.

На базарах и в лавках продаются следующие товары: спелые и сухие фрукты, пшеница, рожь, джугара, клеверное семя, хлеб, русский сахар, зеленый чай, доставляемый из [229] Индии на Бухару, русския бумажныя и бухарския шелковыя материи, одеяла, сапоги и башмаки, медные товары, чугунная посуда, чайники, чайныя чашки и блюдца, также доставляемыя из России.

Уже из этого краткого перечня видно что большая часть торговли производится с Россией. Из английских товаров попадают только дешевый ситец и кисея со штемпелем Глазго. Русский ситец более легкой доброты и продается от десяти до пятнадцати копеек за аршин.

Хивинские фрукты замечательно хороши и изобильны, и в сухом виде они составляют главный предмет вывоза из ханства в Россию. Дыни необыкновенно вкусны и сеются в огромном количестве; созревают оне в первой половине июня и летом составляют главную пищу Хивинцев. Дыни встречаются во множестве, различных сортов, и продаются копеек по пяти за штуку. Арбузы и гранаты позднее. Огурцы в Хиве такой же формы как и дыни, и внутренность их даже очень схожа.

Шелковое производство довольно развито в Хиве. Весь оазис засажен тузовыми деревьями и во всяком сельском доме находили мы две даже три большия комнаты, наполненные трудолюбивыми маленькими прядильщиками, питающимися тузовыми листьями. Хотя весь процесс шелкового производства устроен на самый первобытный лад, но материи тем не менее выделяются очень красивых узоров и удивительной прочности. Часто все работы, пряжа ниток, крашение и самое тканье материи, производятся в одном семействе одним или двумя его членами. Цвета очень хороши, но располагать их туземцы не умеют. Искусство так располагать узоры и цветы что они выделяются на солнце будто сами светятся—это искусство которым так славятся бухарские и коканские ткачи — Хивинцам совершенно неизвестно. Единственный их способ размещешя цветов здесь состоит в расположении их красными, желтыми, пурпуровыми и бурыми полосами.

Проходя хивинскими улицами, вы встретите многия стены совершенно увешанныя шелковою пряжей, которую красильщики вывесили сушить, и если вы не остережетесь вовремя, то все платье ваше будет обрызгано разноцветными каплями, стекающими с масс шелка, свесившихся над головами прохожих. При ближайшем осмотре эти [230] фактории едва ли напомнят вам о громадной мануфактуре Bonnet в Лионе, но и оне в своем роде интересны,

представляя собою целую отрасль существования этого странного затерянного в песках народа. Первая, однако, операция шелкового производства, состоящая в размотке нитей с коконов, до того схожа со способами употребляемыми на огромной фабрике Bonnet что если эта работа остановится у него за недостатком рабочих рук, ему легко будет найти для этого дела искусных рабочих в Хиве. Вы видите такие же маленькие желтые шарики, прыгающие в тазах горячей воды в то время как нити наматываются на шпульки и нос ваш чувствует тот же неприятный запах. Я даже заметил что как на лионских фабриках, так и тут на составление первой нити берутся пять коконов. Машина при работе употребляется самая простая: большое деревянное колесо футов восьми в диаметре поворачивается рукою и приводит в движение множество маленьких шпулек, на которые наматываются нити коконов. Одно или два мотовила для изготовления основы составляют все машины отделения где производится сучение пряжи. Ткацкий станок еще того проще. Для разделения основы и пропуска челнока не существует никакого механического приспособления и положительно нельзя не удивляться как при таких первобытных снарядах Хивинцам еще удается выделывать так много хорошего шелка.

Узбек.

XVII. Обед у Узбека.

Мирза-Хаким коканский посланник в Ташкенте. Не могу сказать чем он был во времена своей верности азиятизму; теперь же, во всяком случае, он славный малый. Говорит по-русски, провел зиму в Петербурге и был принят в лучших кругах тамошнего общества. Он держит сторону Патти против Нильсон, пьет шампанское, курит папиросы, словом, цивилизован вполне.

Контраст между ним и его царственным повелителем поразителен.

Худояр-Хан представляет собою совершенный образ среднеазиатского властелина. До шестнадцатилетнего возраста он был под опекой некоего Мусульман-Куля, [231] который правил страной его именем, угнетал народ, совершал всякая жестокости и крепко держал бразды правления в своих руках. Чтобы не дать

возможности хану приобрести себе друзей а с их помощью предъявить в один прекрасный день свои права на престол, хитрый министр этот совсем не давал ему денег, а самого его держал на положении заключенного с весьма ограниченным содержанием.

Наконец нескончаемая безчинства Мусульман-Куля довели народ до возстания. Молодой хан принял довольно оригинальное решение присоединиться к партии бунтовщиков, хотя номинально возстание направлялось против его собственного правления. Бунтовщики встретили его с открытыми объятиями; произошла битва, Мусульман-Куль был свержен и захвачен с 500 приверженцами.

По вступлении своем на престол, молодой хан торжествовал это радостное событие рядом блистательных праздников, длившимся целых два месяца. И не будучи злопамятен он приглашал Мусульман-Куля присутствовать при каждом торжестве. Каждый такой праздник ознаменовывался живою картиною весьма приятного содержания— для Мусульман-Куля в особенности—а именно, казнилось человек пятнадцать-двадцать из его прежних сторонников и приближенных. Этот интересный спектакль повторялся ежедневно в течении двух или трех месяцев, и Мусульман-Куль прилежно посещал каждое представление. Наконец, когда покончили со всеми его приближенными, то пригласили его самого променять роль зрителя на роль главного действующего лица. Сказав только „Аллах акбар"— Аллах велик, Мусульман-Куль спокойно подставил свою голову под нож палача.

Однажды Мирза-Хахим пришел ко мне, приглашая меня на обед к одному из своих приятелей, соседнему Узбеку. Я с удовольствием принял это приглашение. После часоваго переезда садами мы очутились у дома Узбека. Это было большое прямоугольное здание такой же постройки как и описанныя мною прежде узбекския жилища. Тяжелая изогнутая стена окружала строения и оцепляла собой акров шесть земли. Для Хивы это было большое поместье, и потому надо было полагать что хозяин наш принадлежал к богатому классу земельных собственников. Пройдя [232] чрез большой, грубой отделки вход мы очутились на маленьком дворе, со множеством стоек по сторонам. Прямо перед собой увидали мы вход в самый дом пред которым стоял хозяин со

своими родственниками и гостями, готовясь встретить и приветствовать нас. В дом он нас однако не повел, а проводил узкими воротами влево, в окружающий сад. Под вязами раскинута была палатка, а на зеленой поляне у маленького бассейна воды были разостланы для нас ковры.

Трудно бы найти более приятное место для обеда. Как я сказал, сад разстилался на несколько акров кругом и был засажен фруктовыми деревьями, под которыми по всем направлениям протекали маленькие каналы прозрачной воды. В стороне от места где мы расположились виднелось несколько домиков, в роде беседок, занятых, повидимому, семейством хозяина. Многие члены его семейства собрались кругом нас и осматривали нас с большим любопытством, но в то же время почтительно; другие же помогали нам стягивать наши тяжелые сапоги и подставляли туфли.

Повидимому, Узбек приложил все старания чтоб устроить нам великолепный прием: он не только предложил нам русских папирос, но угощал и наливкой. Папиросы и вино были добыты от русских купцов, которые в числе десяти-двенадцати человек появились тотчас по занятии Хивы, привезли шампанское и другия вина, табак и множество всяких товаров—пример энергии русских купцов в распространении русской торговли в Центральной Азии.

Немного погодя на ковре разстелили скатерть и внесли обед. Вместо того чтоб откладывать десерт до конца обеда, когда вы не в состоянии уже оценить его по достоинству, в Центральной Азии его подают прежде еды. Итак, первым поданным нам блюдом были фрукты, абрикосы, дыни и тутовые ягоды. Затем последовали сласти нескольких сортов, очень ценимых в Центральной Азии. Оне напоминают несколько пастилу с прибавлением зерен различных орехов, бывают всевозможных цветов—красная, зеленая и желтая и очень вкусны. Затем подан был какой-то пенистый состав, напоминающий вкусом сливочное мороженое, только не холодное. Так как состав этот почти совершенно жидок, а ложек нам не [233] подают, то мы мочим в нем свои тонкия пшеничныя лепешки. Дальше следуют орехи всевозможных сортов, наливка и наконец *piece de resistance*, пред нами ставится дымящийся пилав, состоящий из огромного количества риса, обжаренного вместе с

сочными кусками баранины. Блюдо это вовсе не дурно и представляет главную основу хивинского обеда.

Внесли большие трубки и я с удовольствием стал думать что вот предстоит мне наконец насладиться куреньем такого же прекрасного табака как настоящий турецкий. Меня однако ждало маленькое разочарование. Трубка состояла из большой выдолбленной тыквы около фута вышиною; она была почти наполнена водою, а на верху ея была головка набитая уже зажженным табаком, которая сообщалась с водою посредством трубы. С обеих сторон при вершине, тотчас над водою, было по отверстию, но чубука не имелось. Вы просто берете всю эту посудину в руку и дуете в одно из отверстий чтобы выгнать весь дым что еще есть внутри. Затем прикрываете пальцем отверстие с одной стороны и приставляете рот к другому, втягивая дым себе в легкия; для этой операции требуется не мало ловкости и проворства чтобы не обжечь себе рот и не опалить бровей. Конечно я затянулся не более двух-трех раз и рад был приняться опять за папиросы.

После обеда пошли мы осматривать все хозяйство и Узбеки показывали нам все повидимому с большим удовольствием. Осматривать однако оказалось почти нечего кроме плуга, не более, вероятно, мудраго устройства чем тот что употреблялся Адамом, нескольких мотыг и грабель, двух-трех телег или арб, по местному названию, да нескольких кос. Затем хозяин повел нас на гумно, где стояли большие стога свежего сена и только-что скошенной пшеницы и ячменя; я было надеялся что он проведет нас и в дом, покажет его внутреннее устройство, свою жену и детей,—но в этом я ошибся.

В последствии мне представился случай осмотреть внутренность узбекского дома, и я думаю что жилище угощавшаго нас Узбека не очень уклонялось от виденнаго мною образца. Роскоши в убранстве домов не встречается даже у самых богатых людей; в этом отношении [234] бедные стоят на одном уровне с богачами. Несколько ковров на полу, одеяла и подушки у стен, на стенах полки для глиняной посуды и китайского фарфора, несколько тяжелых, пожелтелых книг в кожаных переплетах, банки с вареньем и консервами из фруктов — вот и все что вы найдете в комнатах. Две или три комнаты обыкновенно устраиваются совершенно

особенным образом и снабжены полным освещением. В такой комнате одна из стен не доведена до верху на довольно большое пространство, в которое заглядывают ветви вязов растущих у наружной стены. Эффект производимый этим устройством очень оригинален и не лишен некоторой приятности. Такая комната обыкновенно окружена глиняными стенами, имеет неровный пол, в ней попадает первобытнейшая домашняя утварь, а иногда застанете в ней еще тлеющий костер; со середины же ее можете любоваться на голубые клочки веба, виднеющиеся сквозь листву вязов. Выдающаяся сверху крыша защищает от дождя; в холодную же погоду, конечно, подобная комната остается не занятою.

Несколько комнат отводится под шелковичных червей, забота о которых возлагается на женщин. О шелковичных червях очень пекутся, так как большая часть расходов по дому оплачивается их коконами.

Но возвратимся теперь к моему хозяину. Солнце село и готовилась главная забава вечера. Мы возвратились на лужайку где обедали, сели и принялись опять за трубки и папиросы. Выступили вперед два мальчика, один лет восьми, другой около десяти, и сделав почтительный салам, приготовились к пляскам. Они были одеты просто в длинные, почти до пят, широкие хивинские халаты, головы их были обриты, только за каждым ухом оставлено было по одной длинной прядке, спускавшейся им на плечи; они были босиком, на головах имели маленькие конические ермолки. Это были очень красивые дети с большими глазами, осененными густыми, длинными ресницами; они казались очень веселыми, живыми и вполне довольными своею судьбой; я даже удивлялся как могли их лица сохранить такое разумное, ясное выражение при таком унижительном занятии.

Вокруг собралась небольшая толпа домашних и [235] прислуги принимавшаго нас Узбека. Выступил оборванный музыкант, держа в руках трехструнную гитару, очень напоминавшую те что найдены были в ханском дворце и котория я уже описывал. Присев на землю под деревом, он стал петь, акомпанируя себе на гитаре. Манера его пения несколько походила на киргизскую; в ней не слышалось никакой мелодии, да повидимому и не было никакого музыкального склада, просто тянулся нескладный визг, по временам прерываемый

восклицаниями. Акомпанимент гитары был хотя и странный, во тем не менее приятный. Мальчики начали плясать. Сначала их движения были довольно плавны и медленны, они просто перепрыгивали с одной ноги на другую в такт музыке, хлопая руками над головой и изгибаясь в разнообразных грациозных позах и движениях. Скоро однако музыка оживилась и мальчики постепенно воодушевились. Дико хлопали они руками, издавали отрывочные крики и наконец стали кувыркатся, бороться друг с другом и кататься по полу. Это, повидимому, приводило зрителей в восторг, они аплодировали от чистаго сердца. Сам Узбек был очень доволен, хохотал самым диким образом и, подняв с земли мальчиков, ласково с ними разговаривал, угощая их лакомствами. Представление это повторялось, почти без вариаций, раз пять в течении вечера.

Танцующие мальчики.

Когда стемнело вынесли факелы и разместили их вокруг, воткнув в землю или привязав к стволам и сучьям деревье. Красивейший из двух мальчиков теперь переделся девочкой; на руки и на ноги его навязаны были маленькие колокольчики, а на голове была надета красивая пестро-изукрашенная шапочка, покрытая колокольчиками и серебряными бляхами, с вуалем, свешивавшимся назад. Он протанцевал новый танец, более спокойный и скромный чем в костюме мальчика. Около четверти часа спустя выступил и другой мальчик, и оба стали танцевать, очень хорошо изображая сцену влюбленных. Тот что разыгрывал роль девушки представился обиженным, отворачивался от другаго, повидимому сердясь и дуясь. Другой мальчик стал выплясывать вокруг этой оскорбленной девицы, ухищряясь всевозможными ласками привести ее в хорошее настроение. Не добившись однако ничего, он также разсердился и начал дуться в свою [236] очередь. Барышню эта уловка несколько смягчила, и она в свою очередь, прибегла ко всевозможным способам примирения. Молодой влюбленный, выдержав еще немного роль сердитаго наконец сдался, они стали танцевать вместе самым веселым и беззаботным образом и наконец убежали со сцены, сопровождаемые хохотом публики. Все это разыграно было очень грациозно и со смыслом. Мимика того который представлял девочку была в особенности мила и кокетлива. Колеблющийся свет факелов, освещающий нависшия ветви, дикия лица окружающих, двое детей,

разыгрывающих любовную сцену—все это сливалось в оригинальную, живописную картину.

Время было позднее. Так как мы с Мирзой-Хакимом располагали вернуться в лагерь до разстановки ночных патрулей, то и не справились об условленном пароле для прохода. Итак, возвращение в лагерь не обещало быть приятным уже не говоря о том что пришлось бы ехать садами, во тьме кромешной, трудно было пробраться и мимо русских часовых. Мы решились провести у Узбека всю ночь; он, однако, и тут не пригласил нас в дом, а велел разстелить нам одеяла и уложить подушки в палатке. Мы с Мурзой - Хакимом разлеглись и скоро заснули. Ночью мы были разбужены дождем, бившим нам в лицо; сдвинувь плотно полы палатки мы легли опять и умудрились не очень промокнуть, несмотря на ливень. На следеющее утро позавтракав, мы дружески распрощались с хозяином, сели на коней и вернулись в лагерь.

XVIII. Два портрета Русских — Андрей Александрович. Иван Иванов.

Андрей Александрович принадлежит к одной из старинных русских дворянских фамилий—а это вещь не последняя, так как некоторые из этих фамилий ведут свою родословную с восьмого века, от владетельных князей в то время раздробленной Русской земли. В этот длинный, чуть ли не тысячелетний период времени, фамилия Андрея Александровича мало переродилась, многие из ее членов еще могут похвастаться такою же физическою силой и выносливостью, какия доставили владычество их [237] предкам. В их среде нередко можно встретить, как и в других хороших фамилиях, человека который также легко ломал пальцами пятифранковую монету, как свинцовую пластинку. Родственники Андрея Александровича сохранили всю свою родовую гордость; едва ли даже кто из Гогенцоллернов так гордится дренностию своего происхождения.

У родителей Андрея Александровича большое имение в Харьковской губернии; не одною тысячью душ владели они во времена крепостнаго права, да и теперь еще очень богаты. Отец его отличился во время Наполеоновских войн, дослужился до высокаго чина и многочисленных орденов. Естественно что он и сына своего пожелал вести к той же карьере. Без труда поместили Андрея с

ранних лет в Пажеский Корпус; здесь его баловали дамы, глаживал по головке Великий Князь, а подчас и сам Государь. Здесь обучился он танцевать, петь и фехтовать, отвечать комплиментом на комплимент, сарказмом на сарказм, научился также и всем прочим искусствам предназначенным для того чтобы снискивать благосклонность дам и отличия в среде мужчин. Кончив курс наук в высшем военном заведении, он произведен был в чин прапорщика и принят в гвардию.

Гвардейская карьера самая модная в России. Редко можно встретить человека с претензией на светкость который хотя бы короткое время не числился в этом привилегированном корпусе. Это *coup d'elite* Империи, центр всего того бешенаго кутежа, дурачества и мотовства, которым так славится Петербург. Надо бы иметь более холодную голову и более флегматическую натуру, чем те которыми природа наделила большую часть русской молодежи, чтобы пройти этот водоворот не потерпев финансового крушения.

Андрей Александрович из общего правила исключения не составляет. Трехлетняго пребывания в гвардии оказалось достаточным для его разорения. В это время ему не только удалось промотать все свое состояние, но и посчастливилось влезть по уши в долги. Гвардию приходится оставить за неимением средств в ней поддерживаться, и он переходит в армию.

И вот, Андрей Александрович проводит некоторое время в каком-то переходном состоянии, увертываясь от кредиторов, проводя квартирных хозяев и содержателей [238] ресторанов, не думая о будущем, а перебиваясь кое-как изо дня на день, своею изобретательностью да искусством играть в карты. Но это конечно не может продолжаться долго, и Андрею Александровичу приходится наконец выбирать один из следующих трех исходов: жениться на богатой купчихе и тем поправить свое состояние; попытать счастья в статской службе; или же наконец перейти в Туркестан.

Тихия радости семейной жизни не представляют еще пока особенной прелести в глазах Андрея Александровича; к статской службе также призвания он не чувствует; на сторону же Туркестана тянет еще перспектива обаятельного разгула походной жизни, с

двойным окладом жалованья и двойною возможностью выслужиться. Надо заметить что Туркестан в новейшие времена играет роль прежнего Кавказа, представляя готовое убежище для людей подобных Андрею, которые растратили свое состояние, но не лишились еще последней надежды выбраться из своего положения. Итак, распрощавшись со своими петербургскими друзьями, Андрей Александрович пускается в дальний путь, а по достижении Казалы немедленно получает приказ идти вперед чтобы принять участие в осадных действиях под Ак-Мечетью.

В день своего прибытия он застаёт все готовым к приступу и, ни мало не медля, вызывается вести охотников; его храбрость доставляет ему разом орден и два чина, и фортуна, повидимому, снова ему улыбается. Но Андрей Александрович имеет способность быстрее разсточать дары фортуны, чем они могут сыпаться на него, хотя бы ему целая сотня бабушек ворожила.

В одно прекрасное утро выходит он на прогулку в город, с целью зайти по дороге в кибитку одной молодой дамы киргизского племени, прелести которой удостоились его внимания. В кибитке этой застаёт он своего товарища по службе Степана Ивановича. А Степан Иванович, надо заметить, принадлежит к числу тех немногих людей которых Андрей Александрович не долюбливает. Уже не один раз завязывалась между ними ссора или за карточным столом, или под хмельком, за стаканами; а так как заносчивый нрав Андрея Александровича всем известен, то не раз уже товарищи советовали ему избегать по [239] возможности встреч со Степаном Ивановичем. Андрей Александрович обещал избегать столкновений; но встреча при таких исключительных обстоятельствах, конечно, не могла кончиться иначе как дуэлью. Дуэль происходит, и при первом выстреле Степан Иванович получает пулю в сердце. Андрей Александрович предан военному суду и разжалован в солдаты. Таким-то образом он лишается не только всего что заслужил в Туркестане, но еще кое-чего из прежних отличий.

В Центральной Азии, однако, где почти постоянно происходят стычки с неприятелем, храброму офицеру не долго приходится ждать случая отличиться. Через два, три года Андрею Александровичу возвращается прежний чин и перепадает несколько

новых орденов. Тем временем Русские подвинулись вглубь Туркестана, и генерал Черняев осадил стены Ташкента. Здесь опять представилась Андрею Александровичу возможность отличиться и он ею воспользовался следующим образом.

В самом разгаре осадных действий, он затевает ссору с одним из товарищей-офицеров, который обвиняет его в недостатке храбрости. Не вступая в дальнейшие по этому предмету препирания, Андрей Александрович предлагает своему противнику вместе сделать приступ на городские стены. Безо всякаго на то разрешения со стороны начальства, эти два офицера выстраивают своих людей и устремляются на приступ. Стены окружены широким и глубоким рвом, сами оне вышиною футов в тридцать, бреши никакой еще пробито не было, а у солдат даже и лестниц нет. Легко можно вообразить себе результат такого приступа. Одна половина людей остается во рву, другим после такой безумной попытки, едва удается спастись отступлением под сильнейшим огнем открытым по ним со стен; Андрей Александрович сам получает три раны и уносится своими солдатами с места действия; противник же его, другой офицер, лежит в числе мертвых. За этот неудачный подвиг его, понятное дело, опять разжаловали в рядовые.

В следующие годы Андрею Александровичу почти не представлялось случаев отличиться, и он ведет безцельную, беззаботную, бродяжническую жизнь, которая в Центральной Азии имеет своего рода прелесть. Целые дни один [240] за другим проводит он в куренье, питье водки, карточной игре; единственное развлечение среди этого разнообразия представляет изредка охота на тигров.

Андрей Александрович был одним из первых людей который подошел ко мне по приезде моем в армию генерала Кауфмана; завязавшееся при подобных обстоятельствах знакомство наше быстро перешло в короткость, а затем и в дружбу. Этим временем, после двадцатилетней службы, он достиг высокога чина прапорщика. Такая несообразность лет с чином вовсе однако не поражает вас с первого раза, потому что человек этот точно одарен вечною молодостью. Хотя в действительности ему уже около сорока, на вид вы ему никак не дадите более двадцати лет, несмотря на безобразную жизнь которую он вел.

Такого славного малаго я еще в жизнь свою не встречал; щедрость в нем доходила до излишества. Никогда не заботясь о будущем, он в одно утро потратит бывало на завтрак товарищам полтораста рублей, выигранные за ночь в карты, а на следующие день идет занимать денег на покупку себе чая с сахаром и лошади своей ячменя. Храбрый как лев, он пойдет на отчаянный приступ, выйдет и на трехмесячный переход пустыней и на простой парад с одинаковым хладнокровием и беззаботностью, и даже чуть ли не с одинаковыми приготовлениями. В сущности он и в Хивинскую кампанию выступил всего с трехдневным запасом провизии.

Андрей Александрович хорошо знает иностранные языки—но и это не по своей вине. В детстве к нему приставлена была Англичанка, Француженка и Немка, и он таким образом научился их языкам как своему собственному, безо всякаго труда и старания. Теперь же он провел несколько лет в Туркестане, а между тем почти ни слова не понимает по-татарски. Что он знает в военном деле—а знает он не мало—добыто им не из книг, а по личному опыту. Он обладает даже не малым литературным талантом; а французские стихи пишет с замечательною легкостью.

После Хивинской кампании он получил два ордена, Св. Владимира и Анну. Предлагалось и повышение в чине, но он отказался „Видите-ли“, сказал он мне, „разница [241] в жалованье прапорщика и поручика так незначительна, что не стоит и говорить об ней. А в мои лета решительно все равно быть тем, или другим. Да не всякому и удастся быть прапорщиком в тридцать восемь лет.“

— Мне кажется я бы предпочел повышение ордену, заметил я.

— И дурно бы сделали. А у меня еще есть почтенная тетушка с материнной стороны, которая, как услышит что я дослужился до Владимира—ведь это высший орден, вы знаете, за Георгием—так уж наверное разщедрится тысяч на двадцать.

— Ну, а на долго ли вам хватит этих денег? спрашиваю я.

— Да на год, а может-быть на два. На что же и деньги если их не тратить и ничего за них не иметь!

Андрей Александрович представляет собою преувеличенный тип довольно значительного числа русских офицеров. Конечно немногие бывают по несколько раз в жизнь разжалованы в рядовые и немногие остаются прапорщиками до сорока лет, но в остальных отношениях карьера многочисленного разряда схожа с карьерой Андрея Александровича. Почти все побывали в гвардии, промотали в ней свое состояние, и пошли по избитым следам своих предшественников. О будущем никто из них не заботится, порешив пользоваться лишь настоящим; и все ведут ту же беззаботную, бродяжническую жизнь. Большую часть времени убивают за карточной игрой; эта мания игры доходит во всех классах русского общества до невероятных размеров. Офицеров же я не редко видал играющими по двое суток, почти не вставая с места. Большинство ничего не изучают и не более своих солдат заботятся о будущих действиях армии и даже о приказах на следующий день. При такой кампании как настоящая, за исключением нескольких штабных офицеров, ни у кого не было карт; они даже не знали велик ли предстоял переход до следующего колодца. Хотя все они хорошо знакомы с иностранными языками, но во всем русском отряде не нашлось бы и трех офицеров знающих язык туземный.

Изо всего этого однако никак не следует заключать что русские офицеры плохи. Храбры они как львы; едва ли вы [242] найдете в среде их хотя одного который остановился бы пред самым отчаянным предприятием или не пошел бы на верную смерть с таким же равнодушием как на обед. Приказы выполняются ими с каким-то слепым неразсуждающим героизмом, с которым может сравниться разве только героизм их солдат. К тому же все они щедры, добры и веселы, всегда готовы встретить вас самым радушным гостеприимством, и в конце-концов вы не можете от души не полюбить и не уважать их.

Иван Иванов состоит рядовым в полку Андрея Александровича.

Родился Иван Иванов крепостным Андрея Александровича и ничем не походит на этого молодого барича. Но чтобы верно оценить нрав Ивана Иванова необходимо иметь некоторое понятие и об отце его, Иване Михайлове. Иван Михайлов крестьянин, и

целыя поколения его предков были крепостными предков Андрея Александровича. В жизнь свою не видал он ничего кроме тяжелой работы и самой плохой пищи. До освобождения крестьян приходилось ему работать четыре дня из семи на барина, на своих харчах, поставляя своих лошадей и орудия; на содержание же себя с семейством предоставлялось ему работать в остальные три дня.

Если принять во внимание что целых шесть месяцев в году в России и работать невозможно, благодаря климату, то понятное дело что жизнь на долю Ивана выпала не красная. Проработав, бывало, целый день на помещика, он еще половину ночи работает на себя и всю жизнь свою проводит на пустых щах с похлебкой да на черном хлебе. Жилище его состоит из одной избы в которой теснятся все члены семьи — старые старики и малые ребята. Женатые сыновья его с женами и детьми живут с ним же, в той же избе, в той же комнате. Нельзя и ожидать чтобы при подобных обстоятельствах Иван Михайлов мог отличаться особенною утонченностью нравов, образованием и просвещенным образом мыслей. Он, напротив того, отличается именно отсутствием всех этих качеств. Неразвит и суеверен он до крайности; но найдутся в нем и хорошие черты. По природе он не жесток [243] и не безчеловечен, нет в нем никаких унижительных пороков. Слабая сторона у Ивана Михайлова та же что и у Наполеона I. Это фатализм. Действует он однако на Ивана Михайлова совершенно другим образом, не только не наделяя его безумною отвагой и решимостью на всякий риск, а напротив того, развивая в нем какую-то безнадежность. У Ивана Михайлова нет восторженной веры в свою звезду. Он даже и не знает что у него есть звезда, а если и знает, то считает ее злополучною и обманчивою звездой, на которую не только нельзя полагаться, а скорее приходится ее избегать и проклинать.

Изба ли его загорится—Господня на то воля, и он оставляет ее догорать до тла. Грех противиться Божьему суду. Заболеет он—лечиться не станет по той же причина. Самому ли ему придется сплеховать, присвоить себе чужое добро или деньги—опять-таки не его в том вина, и он твердо стоит на том что его лукавый попутал, а сам он в деле том неповинен.

По правде говоря, в Иване Михайлове не существует никакой свободной инициативы. Целые века нравственного угнетения

тяготевшее над его предками и над ним самим довели его до этого фатализма. К чему противиться неизбежному? К чему бороться против неодолимого? И потому весь образ мыслей Ивана и все его чувства подернуты каким-то мрачным колоритом, проникнуты горечью и унынием.

Разказы его все имеют трагическое окончание, самого его осаждает и угнетает сказочный мир вампиров, привидений и чертей, от лукавства и кровожадности которых нет спасения. Слова его песен проникнуты тою же безнадежностью, все напевы в минорных тонах и отзываются безысходною грустью.

Все эти характерные черты найдутся и в Иване Иванове, с прибавлением еще нескольких особенностей. Оторванный в ранней молодости от семьи и друзей для того чтобы провести пятнадцать, двадцать лет на службе, он оставляет далеко за собой все обыкновенные людские надежды и желания. Целых двадцать лет приходится ему наполнить одною рутинной лагерной жизни. Нет у него в перспективе ни своего очага, ни семьи, ни детей.

[244] Большую часть друзей молодости ему никогда уже не видать. Он хорошо знает что задолго до того как ему вернуться на родину, его отец с матерью помрут, желанную выдадут замуж, братья с сестрами состарятся, да и самого его все успеют позабыть. Судьба разом перевернула всю его жизнь, сделала его другим существом. Быть-может вначале не раз приходилось ему всплакнуть над своею горькою долей: бедная изба его, конечно, была не очень удобна и привлекательна, но все-таки там он был под родным кровом, и никогда, быть-может, туда не возвратится. Но прошли годы, и великая государственная машина отлила и его в общую форму, подвела под общий уровень. И вот с тех пор зажил он живым автоматом, покорный воле недостижимой для критики его простаго разума; слепо покорился он своей участи, не пытаясь сопротивляться. Да и не в его природе бороться против неотвратимаго. На то была Божья воля, бесполезно и грешно на нее роптать, и махнул Иван Иванов на прошлое рукой, стараясь применить к настоящему.

Наконец вечное возбуждение и оживление солдатской жизни заставляет его забывать о родных покинутых на дальней родине.

Хоть и мало у него надежд впереди, да за то и терять ему больше нечего, не предвидится больше горя, и вот он делается самым веселым малым, безшабашною головой.

Главный источник увеселения Ивана состоит в песнях. Поет он с утра до ночи. На ходу не замолкает он в течение целых часов. В репертуаре его найдутся песни в целыя сотни стихов, и поет он их с начала до конца с полным довольством этою утехой. Среди пустыни — в Иркибае, Хала-Ате, Алты - Кудуке, когда и воды ему выдавалось по кружке в день, и тогда бы могли его видеть стоящим в полукруге пятнадцати, двадцати товарищей и поющим что есть мочи и надо заметить что в пении этом видит он для себя занятие далеко не маловажное, которое можно бы выполнять спустя рукава. Потому, когда поет наш Иван, то всегда стоит на ногах, а товарищи собираются вокруг него и подтягивают ему хором чуть ли не при конце каждого стиха. В веселье его чувствуется даже какое-то преувеличение. Неприличие [245] некоторых его песен доходит до такой несообразности что утрачивает самый свой характер неприличия, переходя в какую-то смешную нелепость.

Вера Ивана Иванова в честность и способность своих офицеров поистине похвальна и назидательна. Он твердо убежден в их непогрешимости и вполне уверен что что бы они ни делали, лучше того не придумать, удачнее того не исполнить. Потому он никогда и не бунтует. Другие солдаты стали бы роптать на то что им не выдается молока к кофе или мяса хоть раз на день. Иван же и не снизойдет до того чтобы жаловаться на такие пустяки. Если не выдается ему мяса, то уж конечно оттого что его нет. Если выданное мясо уже начало портиться, то понятное дело виновата в том жара, против которой ничего не поделаешь. Сапоги ли его оказываются никуда не годными и ноги Иван отморозит—виноват в том мороз. Сухари его подточат черви — виноваты в том черви. Ему и в голову не приходит никого осуждать и упрекать. Если по какой оплошности или ошибке попадет он под огонь, где товарищи его падают вокруг сотнями и полку его грозит верное истребление — опять-таки Божья на то воля и нечего больше делать как ей покориться. Ему никогда и на мысль не приходит бегством исправить ошибку начальвиков. Словом, Иван Иванов держится того убеждения что все ведет к лучшему и охотно принимает вещи в том виде в каком оне ему представляются. Он вполне удоволь-

ствуется жизнью при одном черном хлебе и чае, и никогда не подумает жаловаться.

Некого Ивану Иванову любить кроме товарищей и офицеров, и вот он привязывается к ним страстно, но бессознательно. Нередко случается пасть на месте восьми, десяти солдатам под неприятельским огнем, в то время как они пытаются увести раненого товарища. В Иване не найдете вы никакого мелодраматизма. Он совершит самый геройский подвиг даже и не думая о том что совершает действие необыкновенное, заслуживающее похвалы. В Иване коренится какой-то бессознательный, но тем не менее величественный героизм. Эта именно его черта и заставила сказать о нем Наполеона: „Мало убить Русского солдата—надо его еще с ног свалить“.

[246] Об иностранцах у Ивана сложилось понятие совершенно своеобразное. Для него все они бунтовщики против Батюшки-Царя. Англичане, Французы, Немцы, Азияты, все подряд мятежники; и он вполне уверен что рано или поздно все человечество покорится власти законного православного Царя. В Иване не проявляется никакой неприязни ко врагу, он его и не ругает. Не будь они мятежниками— все они распрекрасные люди. Он даже не оспаривает и храбрости их. Потому вы редко услышите от него презрительный отзыв о враге, что так обыкновенно в среде других солдат. В том, быть-может, и заключается причина что Иван не поддается панике; никогда враг не может удивить его каким-нибудь нечаянным нападением, потому что того он только и ждет.

Иван Иванов, одним словом, совершенный идеал солдата и нельзя не сознаться что он лучший солдат во всем мире.

ЧАСТЬ III.

ТУРКМЕНСКИЙ ПОХОД.

[247] I. Туркмены.

Туркмены самое храброе и воинственное племя Центральной Азии.

Это кочевой народ, бродящий почти по всей стране между Оксусом и Каспийским морем, на восток до Авганистана, на юг до границ Персии. Средства существования их различны: Туркмены

живущие по берегам Каспия занимаются большею частью рыболовством; те которые кочуют далее к востоку и северу держат стада и табуны. Но одним из главнейших источников их дохода до последнего времени был захват Персиян и продажа их в рабство в Хиву и Бухару.

Туркмены живущие в Хиве принадлежат к шести племенам: Имралы, которых считается до 2.500 кибиток; Кодоры 3.500 кибиток; Карадашлы 2.000; Кара-Егелды 1.500; Амелы-Игоклёны 1.500, Иомуды 11.000; всего 22.000 кибиток, что составит, полагая средним числом по пяти человек в кибитке, население в 110.000 душ.

Это дикое и безпокойное население никогда не подчинялось никакой правильной форме правления; они отвергают всякую власть, и хана и эмира и Русскаго Царя.

Каждое племя состоит из многих более мелких подразделений, основою которых служат вероятно семейныя связи и родство, и которыя состоят под властью старшины или предводителя. Но у Туркмен нет никакого государственнаго устройства, нет ни правящих классов, ни признанных властей, ни верховной власти, ни другаго суда [248] кроме общественнаго голоса. Правда, их старшины имеют некоторую номинальную власть разбирать ссоры; но они ни имеют силы заставить повиноваться своим решениям. Враждебныя стороны могут по собственному желанию или подчиниться этому решению или же продолжать ссору, разделяваясь по своему. Тем не менее своеобразныя понятия о правом и неправом так сильно развиты в среде их и общественное мнение так уважает эти понятия что между ними редко происходят ссоры и несогласия.

Хивинский хан никогда не был в состоянии управлять Туркменами живущими в его владениях. На деле это происходит почти наоборот; сами Туркмены очень решительно управляют действиями хана. Допуская его иметь некоторую номинальную власть как правителя их соседей Узбеков, они противятся всякой попытке распространить эту власть на них самих. Проживая на хивинской территории они отказываются от всякаго участия в общих повинностях, и не только не думают платить какия-нибудь

подати, но еще сами собирают поборы. Они всегда готовы сражаться за хана, исключая впрочем случаев когда сражаются против него: из них-то он составляет главнейшим образом свои войска. Они в значительной мере отстали от кочевого образа жизни, но ни мало не покинули своих хищнических привычек. Это дает повод к постоянной борьбе между ними и Узбеками; почти не проходит года без того чтоб они не воевали между собою. Главным поводом вызвавшим поход Русских на Хиву было также хищничество Туркмен.

Туркменский скотный двор. Верещагин.

Хан неоднократно пытался усмирять их, во всегда безуспешно. Несмотря на недостаток артиллерии, им всегда удавалось брать верх над превосходными ханскими силами и оказывать весьма сильное влияние на дела ханства.

Обыкновенный план действий хана следующий. Он собирает войско, вступает в их землю, располагается лагерем и укрепляется. Туркмены немедленно атакуют его или только показывают вид что хотят атаковать, рыщут вокруг лагеря, с криком и гиканьем, стреляют из своих фитильных ружей, и захватывают небольшие партии ханских войск которые показываются из-за окопа. В ответ на нападение хан посылает в них тяжеловесные выстрелы из своих пушек; но так [249] как ему приходится израсходовать несколько тонн железа чтоб убить одного человека, то вред причиняемый Туркменам очень незначителен. Сам хан никогда не выступает из своего лагеря; таким образом они меняются ролями, и вместо того чтобы подчинить себе Туркмен, хану представляется вероятность самому подчиниться им. Такое положение дел продолжается обыкновенно несколько недель. Туркмены очень любят подобныя войны, и для них это время настоящей праздник. Когда у хана истощаются военные снаряды и припасы — Туркмены без труда отрезают путь к подвозам, — он заключает с ними договор, который ни мало не изменяет их взаимных отношений, и с торжеством возвращается в свою столицу; Туркмены же снова принимаются за свои обычные занятия. Впрочем, говоря вообще, хан имел более причин быть довольным Туркменами, нежели наоборот. Несмотря на эти небольшие недоразумения, они всегда были ему преданы. Не соглашаясь признавать его власть над собою,

они охотно помогали ему удерживать власть над другими. Если они отказывались платить налоги или допускать какое-нибудь вмешательство в свои дела, то всегда были готовы обнажить свой меч на его защиту, отстаивать его против домашних претендентов и внешних врагов. Единственное серьезное сопротивление Русским было оказано ими; они продолжали сражаться когда хан прекратил борьбу, почитая ее безнадежной, и когда, пораженный ужасом при бомбардировке столицы войсками генерала Веревкина, он бежал из города и собственные подданные возстали против него и избрали на престол его брата, — он нашел убежище у Туркмен. Забывая все это, забывая услуги которые они оказали ему, преданность и мужество обнаруженные ими в войне за него, он представил их Русским как разбойников и нарушителей закона. Во время переговоров с генералом Кауфманом касательно уплаты военных издержек, он объявил что не может принять на себя ответственности за уплату части причитающейся на их долю; ссылаясь на то что они никогда не платили никаких налогов, он утверждал что они не заплатят и теперь, он же не может принудить их к этому. Далее, чтобы вернуть себе свои пушки, он уверял что без артиллерии не будет [250] иметь возможности держать даже в покое, ни даже ручаться за безопасность собственного престола.

Генерал Кауфман не имея надобности в этих пушках, возвратил хану восемнадцать или девятнадцать из числа двадцати одной доставшихся Русским при взятии города; факт этот доказывает уверенность Русских в собственной силе. Что же касается представлений хана, то они не могли иметь влияния на действия генерала Кауфмана против Туркмен, так как он уже решил взять сбор военной контрибуции в свои руки.

Он издал прокламацию в которой предписывалось Иомудам уплатить в течении двух недель 300.000 рублей. В ответ на это они прислали несколько deputаций с обещанием уплаты, но с просьбою назначить больший срок, указывая на невозможность собрать такую значительную сумму в такое короткое время. Но генерал Кауфман решил настаивать на немедленной уплате и сделал приготовления для вступления в их страну.

Туркменский скотный двор. Верецагин.

II. Огнем и мечом.

Иомуды, против которых решен был поход русских войск, самое многочисленное и могущественное племя Туркменов. Их насчитывается 11.000 кибиток, столько же сколько во всех остальных племенах вместе.

7го (19го) июля, пять недель спустя после падения Хивы, отряд под командою генерал-майора Головачева, в составе восьми рот пехоты, восьми сотен казаков, при десяти орудиях,—в числе их две картечницы,—с батареею ракет, двинут был из Хивы к Хазавату, где начинается земля Иомудов.

Путь лежал чрез сады, под развесистыми вязами, темная листва которых отражалась в прозрачных маленьких озерах. Абрикосовыя деревья все еще блестят на солнце своими золотисто-розовыми плодами; маленькая рисовая поля, все еще зеленая, приятно разнообразятся желтеющею пшеницей и ячменем, уже скошенными и сложенными в стоги как сено, в ожидании молотбы, которая производится ногами лошадей.

Во время нашего похода Узбеки выходят толпами на [251] встречу и предлагают нам хлеб, плоды и молоко, и изумленными глазами следят за грозным строем артиллерийских орудий, блестящих на солнце зловещим блеском и безшумно подвигающихся по пыльной дороге.

Верстах в восьми от Хивы путь наш пролегает по окраине пустыни, которая в этом месте глубоко врезывается в оазис. Пески здесь так часто пересекают обработанную землю, подобно морским протокам, что Хивинский оазис можно сравнить с рядом маленьких островов, между коими и окружающею пустыней происходит постоянная борьба за господство. Война между песком и плодоносною почвой ведется неустанная и нескончаемая. Первый, наносимый свирепыми вихрями пустыни, переступает границу и глубоко погребает под собой богатую почву с ея растительностью. Но вода, получая богатые запасы из Оксуса, проникает и смачивает песок, так что самый песок становится плодородным; снова появляется растительность, и почва остается победительницей,— чтобы потом в свою очередь быть побежденной и засыпанной песком. Борьба эта происходит уже целыя столетия без заметнаго успеха с

той или другой стороны. Впрочем в последние годы, если судить по тому что в разных частях пустыни встречаются следы прежнего орошения, песок повидимому торжествует; граница между почвой и песком также ясно и резко обозначена как между землею и водой.

В одиннадцать часов отряд достиг Хазаватского канала, верстах в двадцати от Хивы, и расположился лагерем на его берегах. Ариергард же прибыл на место не ранее пяти часов; причиною такой медленности была узкая мучительная дорога. Канал у которого мы стали лагерем служит для отвода излишней воды главнаго Хазаватского арыка, и оканчивается в пустыне, верстах в полутора ниже места нашей стоянки. Он около тридцати футов ширины и десять футов глубины; прозрачная тихая вода протекает по нем со скоростью от пяти до шести миль в час. Кстати заметить что все главные каналы оазиса, получающие гораздо более воды чем нужно для орошения земли, имеют подобные отводы, чрез которые огромное количество воды направляется в пустыню и там теряется чрез испарение. Это доказывает что при небольшем [252] старании оазис мог быть распространен гораздо далее к югу; нет сомнения что при господстве здесь Русских это и будет сделано.

Отряд стотоял здесь лагерем весь следующий день, в ожидании что Туркмены явятся с уплатой. Рано утром 9го (21го) числа он двинулся дальше. Двухчасовой переход привел нас на территорию Иомудов. Страна была богата и плодородна, повсюду перерезана глубокими каналами, берега коих обсажены длинными рядами тополей, небольшие луговины покрыты богатою травой, там и сям по ним разбросаны чащи кустарников.

Земледелие у этого племени повидимому не так развито, как у Узбеков. Здесь меньше встречается фруктовых дерев, меньше засеянных полей, и гораздо больше пастбищ. Население не так густо; жилища более грубы. Нигде не видать толстых зубчатых стен и роскошных вязов отличающих жилища Узбеков. Дома здесь большею частию низкие глиняные и конюшни и зимняя помещения сосредоточиваются в них под одною крышей; а в стороне стоит одна или две кибитки, в которых живут летом. Короче, все обличает народ в переходном состоянии между кочевым и оседлым образом жизни, народ который еще не привязался настолько к своему дому чтобы попытаться улучшить его.

Все дома были покинуты жителями. Ни одной вещи из мебели не было оставлено в комнатах; хозяйственные строения также были пусты: нельзя было встретить ни ребенка ни курицы. В некоторых домах еще тлелся огонь, ясное доказательство что бегство жителей произошло очень недавно.

Генерал остановил движение авангарда, выжидая пока стянется вся армия. Казаки отделились от остального отряда и разсыпались во все стороны, в то время как пехота продолжала двигаться по дороге, Значение этого движения объяснилось для меня скоро и неожиданно.

Я стоял раздумывая о тишине и пустынности места, как вдруг поражен был треском раздавшимся позади. Оглянувшись вокруг я увидел длинный язык пламени вырвавшийся из-под крыши дома в который я только-что заглядывал, и другой из стога невымолоченной пшеницы рядом с домом. Сухая соломенная крыша вспыхнула как [253] порох; пшеница почти также скоро была обхвачена пламенем. Огромные клубы густого черного дыма поднимались из-за деревьев во всех направлениях и свертывались над головами в черные зловещия облака, освещенные ярким отблеском пламени снизу. Я въехал на вершину небольшой возвышенности и стал смотреть вокруг. Странное, дикое зрелище представилось моим глазам. В невероятно короткое время пламя и дым поднялись над горизонтом с обеих сторон, и подвигаясь вперед в том же направлении как шли мы, понемногу застилали всю окрестность. Казаки двигались в дыму как привидения. С пылающими головнями в руках, они быстро передвигались с места на место, перескакивая канавы, переносясь через стены, как настоящие демоны, и оставляя позади себя след пламени и дыму. Они редко спешили, но просто подъезжали к домам, прикладывали горевшие головни к соломенным крышам или стогам невымолоченной пшеницы, и неслись прочь. Пять минут спустя, волны клокочущего пламени и облака чернеющего дыма свидетельствовали как успешно они делали свое дело. Вся страна была в огне.

Через полчаса скрылось солнце, небо омрачилось, и, как будто такое множество вспыхивающих огней произвело какое-то изменение в атмосфере, пошел дождь, явление почти неизвестное в

Хиве, и прибавил еще новую печальную черту к этой и без того печальной картине. Дождь был редкий и мелкий, он не имел силы потушить огня, и только сбивал пепел и делал горение ярче, он не давал дыму подниматься вверх, и дым темными сплошными массами висел над деревьями, омрачая воздух и составляя темный фон картины кровавого пламени. Это была война какой я никогда не видал до сих пор и какую редко можно видеть в наши дни.

Это был грустный вид, ужасное зрелище войны в ее разрушительной работе, странно сочетавшейся с этой странною, дикою страной.

Мы медленно подвигались вдоль узкой извилистой дороги, сопровождаемые с обеих сторон дымом и пламенем. Так шли до полудня, когда авангард донес что бегущие жители находятся в виду. Отряд всадников остановился для переговоров с авангардом. На вопрос чего [254] они желают, они отвечали что желали бы знать зачем Русские вторглись в их страну. Они никогда не вели войны с Русскими: зачем же Русские идут против них войною?

Передовой отряд пригласил их отправиться к генералу Головачову, который выслушает их жалобы; но они отказались от этого предложения, разразившись потоком угроз. „Нас не одна тысяча," говорили они, „и если Русские вторглись в нашу страну, жестоко будет их наказание!" По словам их они решились сражаться. Так как именно этого и желали Русские, то нечего было больше говорить, и всадники ускакали чтобы присоединиться к своим бегущим товарищам.

Русская кавалерия так и рвалась в атаку. Нисколько раз офицер командовавший авангардом посылал назад просить разрешения начать нападение. Генерал Головачов, однако, долго колебался прежде чем дал приказ. В числе бегущих Туркмен было много женщин и детей и я думаю что он великодушно помышлял о их участи.

Наконец получилось известие что Туркмены сворачивают в пустыню, где преследование становилось невозможным; и если имелось в виду нападение, то оно должно было быть произведено немедленно. Казакам дан был приказ преследовать беглецов. Как

только я услышал об этом, я поскакал вперед к голове колонны. Войска были как раз на краю пустыни, выстроенные в две линии, каждая сотня с своим значком, развевающимся по ветру; люди и лошади одинаково рвались в битву. В расстоянии около трех верст к югу, исчезая за гребнем длинной, высокой песчаной возвышенности, видны были бегущие Туркмены, сплошная масса мужчин, женщин, детей, лошадей, верблюдов, овец, коз и рогатого скота, в которой ничего нельзя было различить и которая стремилась вперед в диком ужасе и беспорядке. Их было всего тысячи две или три; это были только отсталые от главных сил, ушедших уже на несколько миль вперед. Минуты через две или три они скрываются за вершиною холма и исчезают из вида.

[255] III. Рязня.

Шесть сотен казаков были назначены для преследования неприятеля. Проезжая по фронту, я увидел Князя Евгения Максимилиановича, который поместил меня в один из своих эскадронов, как в хороший пункт для наблюдений.

Приказ двинуться пробежал по линии, и через минуту мы мчимся в галоп по пустыне. Через десять минут мы уже на вершине холма за которым бежавшие скрылись у нас из виду; мы видим их в расстоянии версты или двух далее, переваливающих через другое возвышение. Они не представляют более сплошной массы. Овцы и козы разбежались без призора по всем направлениям; повсюду попадаются вещи оставленные при спешности бегства; вьюки сброшенные с верблюдов, телеги из которых лошади были выпряжены; наконец толпы отсталых, отделившихся от своих и попадающих в руки врагов.

При спуске с возвышенности лошади наши вязнут по колена в сыпучем песке; потом мы несемся далее по пустыне подобно урагану.

Затем слышны вопли и крики, раскаты залпа из ружей, линия наша разорвана встретив покинутые телеги, и движение замедляется толпами овец и скота которые мечутся по равнине. Все это представляет вид дикаго смещения. Я останавливаюсь на минуту чтоб оглядеться кругом. Вот Туркмен лежит в песке, с головой пробитою пульей; немного дальше казак свалился на землю с

ужасною сабельною раной на лице; там две женщины с тремя или четырьмя детьми, сидят на песке, жалобно плача и рыдая и моля о пощаде; я кричу им на скаку: «аман, аман», мир, мир, чтобы рассеять их страх. Еще дальше целая куча арб и телег, ковров и одеял, перемешанных с мешками наполненными зерном, огромными узлами и вьюками, кухонною посудой и всяким домашним добром.

Потом еще несколько женщин с трудом подвигающихся вперед таща ребят и горько плача; между ними одна очень толстая старуха едва передвигающая ноги тащит [256] на руках ребенка, вероятно своего внука. Дальше верблюды, овцы, козы, ослы, коровы, телята, собаки, каждое животное по своему дополняет картину общего ужаса.

Сначала я был поражен множеством Туркмен лежащих недвижно на земле. Я не могу удержаться от мысли что если все это убитые, то нет на свете более метких стрелков чем казаки. Однакоже немного спустя тайна разъясняется, я замечаю как один из убитых повидимому Туркмен осторожно приподнимает голову и тотчас же снова принимает прежнее неподвижное положение. Многие из них только притворились мертвыми, и счастье для них что казаки не открыли обмана.

Промедлив несколько наблюдая эти сцены, я замечаю что остался позади и снова поспешаю вперед. Перебравшись чрез возвышенность я вижу что моя сотня мчится по краю узкаго болота, стреляя по Туркменам, которые уже на другой стороне поспешно взбираются на другое отлогое возвышение. Я спускаюсь к болоту, встретив по пути два или три мертвые тела. В болоте двадцать или тридцать женщин и детей, по шею в воде, ищут укрыться в траве и камышах, умоляют о пощаде и вопят самым жалобным образом. Казаки уже проскакали, не обратив на них внимания. Однако один, отвратительно грубый на вид, отделился от своих, поднял ружье, прицелился в плачущую группу, и прежде чем я успел остановить его, спустил курок. К счастью ружье осеклось; не успел он надеть другой пистон как я подскочил и пригрозив ему нагайкой велел возвратиться к своей сотне. Он немедленно и безропотно повиновался; закричав несчастным сидевшим в воде аман! я последовал за ним.

Несколько сажень далее четыре казака окружили Туркмена. Удар за ударом падают на его голову. Он валится ничком в воду со страшную раной на шее, и казаки скачут прочь. Минуту спустя встречаю я женщину сидящую у воды, тихо плачущую над мертвым телом мужа. Вдруг моя лошадь делает скачок, от которого я едва не вылетел из седла; слух мой поражен резким, пронзительным, порывистым треском; оглядываюсь и вижу огненная полоса пронеслась по небу и разсыпалась среди неприятелей. Это не более как ракета, но за ней следует другая, еще и еще, и смешиваясь с [257] воплем женщин и детей, топотом казацких лошадей, блеянием овец и коз, ревом животных которые дико мечутся по равнине, все это представляет целый ад ужасов. Так продолжается несколько минут.

Туркмены постепенно исчезали за другим возвышением, одни в одном, другие в другом направлении; у нас труба дает сигнал к сбору. По мере того как мы стягиваемся я напрасно смотрю по сторонам чтоб увидеть женщин и детей которых раньше видел в воде. Все они исчезли; и так как их не видать нигде поблизости, то я начинаю бояться что испуганные ракетами оне побросались в воду и перетонули. Это тем более прискорбно что, за исключением случая о котором я упомянул, наши войска не тревожили женщин и детей. Я даже видел как один молодой казацкий офицер наказал фухтелем одного из своих людей за попытку убить женщину.

Когда все собрались, стали подбирать раненых, и доктора оказывали немедленную помощь всем кого находили. Мальчик лет тринадцати или четырнадцати был опасно ранен сабельным ударом в голову. При нем была, его мать убитая горем; пока доктор делал перевязку она не спускала с него диких, жадных взоров. Для ея первобытных понятий было с трудом вероятно что те же самые люди которые прежде хотели убить ея сына, теперь стараются его вылечить. Когда рана была тщательно перевязана и доктор уверил ее что сын ея будет жить, она схватила его руку и принялась целовать обливаясь благодарными слезами.

Мы дали небольшой отдых лошадям; потом несколько казаков было послано чтоб отвести захваченный скот и овец, около двух тысяч голов, и мы потянулись к лагерю. Много раз мы оглядывались

назад, где среди пространной пустыни было зрелище от которого мы с трудом могли оторвать взоры. Это была мать которая с своею дочерью сидела над раненым сыном. Вокруг нея лежали жалкие остатки ея земнаго богатства; может статья не вдалеке было мертвое тело ея мужа; вдали исчезали пораженные толпы ея племени. Она стояла воплощенною картиной бедствия и отчаяния.

[258] IV. Картина войны.

На следующее утро мы продолжали свой путь сожигая и истребляя все на пути. Мы оставляли позади себя обнаженную полосу, около трех миль шириною, где были одне только груды тлеющего пепла. Желая посмотреть поближе как производилась операция сожигания, я поехал вместе с отрядом который получил приказание жечь все на правой стороне пути. Дело было разумеется отталкивающее, тем не менее в нем было что-то возбуждающее и интересное, что-то льстящее духу разрушения, который вероятно в скрытом состоянии существует во всяком даже самом мирном и цивилизованном человеке.

Мы скакали туда и сюда, перепрыгивая через канавы и стены, пробираясь чрез изгороди и выламывая ворота, знаменуя наше поступательное движение столбами дыма и яростным пламенем.

Тишина жилищ которая мы таким образом истребляли представляла резкий контраст с суматохой и насилием наших действий. Во всех домах царствовало полнейшее молчание. Во многих мы могли еще встретить следы мирной повседневной жизни их обитателей, отпечатки маленьких детских ног, остатки женских домашних работ, простые снаряды которыми оне пользовались при своих занятиях.

Они жили здесь в спокойном довольстве — потому что если и принимали участие в войнах, то это было далеко, на русской и персидской границе,— жили в своем маленьком оазисе окруженном обширною пустыней, настолько разобщенные со внешним миром как какой-нибудь еще не открытый островок в южной части Тихаго Океана. Но факел коснулся их жилищ, и они узнали, слишком дорогою ценой, об этом великом внешнем мире.

Мы редко находили что-нибудь в домах. Немного кухонной посуды, иногда несколько цыплят, которых тотчас же ловили казаки,

старую лошадь или молодого теленка, которые не в силах были следовать за поспешным бегством; часто можно было встретить кошку мирно [259] сидящую на стене или на крыше, умывающуюся лапкой и с любопытством смотрящую на происходившее вокруг, пока жгучее пламя не стогняло ее прочь. По временам, но редко, мы находили собаку, которая была оставлена, или же с кошачьим инстинктом отказалась сама оставить дом; при нашем приближении она бросалась прочь с отчаянным лаем. Раз я был поражен страшным визгом нескольких щенят неожиданно очутившихся среди непроходимого пламени.

Мы завтракали около десяти часов жареными цыплятами, во фруктовом саду примыкавшем к дому который был подожжен нами. Так как пехота осталась далеко позади и стало-быть нам не зачем было торопиться, то мы растянулись на траве под деревьями, и некоторые заснули, другие наблюдали пламя, огненное дыхание которого поджигало и корчило деревья и иногда почти достигало до нас горячими, сердитыми вспышками. Тяжелый черный дым висел густыми столбами и садился на деревья, скрывая до половины казаков, которые весело заваривали свой чай, и лошадей, роскошно лакомившихся богатою туркменскою пшеницей. Надо всем этим воздымалось русское знамя, неясно различаемое сквозь дым, лениво развевавшееся и казавшееся каким-то громадным коршуном парящим над этою сценой разрушения.

Мы стали лагерем около двух часов пополудни, отойдя около двадцати верст от последнего места стоянки, и провели остаток дня в разстоянии шестидесяти верст от Хивы.

Движение следующего дня было подобно предыдущему: мы продолжаем истребление огнем, прилагая горящие головни ко всему что только может гореть, и оставляя за собою чернеющую пустыню. К полудню мы достигли равнины Кизил-Текир. Это голая, открытая, песчаная пустыня, и на ней на протяжении нескольких верст только две хозяйственные постройки. Впрочем во всех направлениях она перерезана каналами, в некоторых из них есть еще вода, что доказывает что место это когда-то было прекрасно обработано. Но какая-нибудь война подобная настоящей вероятно превратила прежние фруктовые сады в эту неприютную обнаженную пустыню. Это место где Маркозов должен [260] был впервые вступить в оазис

после перехода Туркменскою степью. Около полудня мы стали лагерем на равнине близь дома с садом, который повидимому был уже давно покинут обитателями.

Кавалерийская атака. Верещагин.

Жара в это время стала невыносима, так что оказалось необходимо сделать дневку, чтобы дать отдых войскам. Я вскоре узнал что в это утро был взят в плен один туркменский мальчик. Не ведая об ужасах происходивших вокруг, бедный малый, когда его нашли спал глубоким сном в тени дерева близь дома; ему было лет двенадцать, но черты его были удивительно грубы для ребенка, голова очень большая, с сильно выдавшимися скулами, с коротким вздернутым носом, желтою кожей, и большими черными глазами, сердитыми и блестящими. Он говорил что у него нет ни отца ни матери. Дядя его, у которого он жил, убежал, оставив его спящим. Но ребенок, как мы узнали после, был оставлен без намерения, так как дядя его, узнав по окончании похода что мальчик находится у Русских, пришел за ним и просил отдать его, выражая величайшую радость при свидании с ним. Мальчик сопровождал нас во время похода и сделался любимцем солдат, которые снабдили его новою парой платья, из числа вещей взятых у его соотечественников, дали ему осла для езды и учили говорить по-русски

Я воспользовался этою остановкой чтобы посетить развалины крепости Имукчира, близь которых мы стояли лагерем. Оне занимают пространство около четырех акров, и стены, доходившая в некоторых местах до тридцати футов вышины, довольно хорошо еще сохранились; построены оне были не из сыраго, но из превосходнаго обожженаго кирпича, бледно-краснаго цвета, шести дюймов в квадрате и полтора дюйма толщины; все это показывает что крепость не хивинской постройки. Время построения ея можно отнести ко временам китайскаго или персидскаго владычества. Пока мы стояли здесь, мимо нас проследовали Иомуды, бывшие в заключении в Хиве по распоряжению главнокомандующаго и направлявшися к месту где могли встретить своих бежавших соплеменников. Они были освобождены с поручением убедить своих [261] соплеменников подчиниться требованиям Русских и уплатить военныя издержки. Судя по тому что произошло дальше,

старания их, если только они прилагали старания, остались безуспешны.

Утром 12го (24го) числа мы опять двинулись в поход. В этот день однако мы ничего не жгли, потому что находились в пересекавшей оазис песчаной полосе, где нечего было жечь. За это время мы уже прошли всю землю Иомудов и опустошили страну на протяжении около 150 квадратных верст. Теперь мы приближались к местности обитаемой Узбеками, которые были нам дружественны. На дороге мы нашли Персиянина которого Иомуды оставили умирать в песках. На нем было не меньше пятнадцати или двадцати сабельных ран. Раны были перевязаны нашим доктором и он был помещен в лазарет, но никто не надеялся что он останется в живых, хотя кажется в последствии он неожиданно поправился.

В десять часов мы опять видим сады и зеленеющие деревья, и к одиннадцати располагаемся в тени их лагерем, на самом краю пустыни, верстах в трех расстоянии от города Ильялы. Пока мы разбиваем свои палатки слышится радостный крик: „базар!“ Всякий оставляет свою работу и спешит на указанное место. Нетерпение наше понятно, потому что уже много дней мы не имели ни свежаго хлеба, ни плодов, ни молока, ни мяса; а на базаре, как нам было известно, мы могли раздобыться всеми этими предметами роскоши.

Я должен пояснить что слово базар прилагается ко всякому месту, большому или малому, богатому или бедному, где что-нибудь продается. Хотя бы весь товар состоял из одной телеги с дынями или из одного мешка хлеба, тем не менее употребляется это звучное слово. На нашем базаре мы нашли пять или шесть телег наполненных дынями, горячими пшеничными лепешками и кринками молока. Нужно ли говорить что мы разобрали весь запас этих лакомых вещей? На этом месте жило человек двадцать Узбеков, которые, как я уже имел случай нередко упоминаать прежде, в течении всей экспедиции доставляли пищу и питье для утоления голода и жажды русских войск.

Мы разбили свои палатки в тени яблонь и тополей, [262] разстелили свои ковры на траве и вскоре наши чайники запели свои приветные песни. Приятна тень и прохлада деревьев после жары; приятна после поста эта усладительная пища; приятно после

долгаго перехода растянуться на траве! Мы отдаемся настроению минуты, переговариваемся лишь ленивыми полусловами, и вскоре «усталые веки смежают усталые очи».

Вдруг неожиданно трубят тревогу: получилось известие что Туркмены приближаются через пустыню. Мы немедленно вскакиваем с земли, поспешно одеваемся, хватаем револьверы, и взбираемся на телеги или другия возвышенныя места чтобы видеть приближение неприятеля.

V. Стычка.

Туркмены поспешно приближались нестройными массами по пустыне, все верхом, по повидимому имея в виду скорее рекогносцировку нежели нападение.

Чтобы сделать понятным последующее я должен припомнить что мы стояли лагерем между пустынею и садами, в стороне от дороги по которой пришли. Здесь дорога входила в сады и продолжая идти садами до города Ильялы, в трех верстах разстояния, была совершенно скрыта деревьями и стенами. К югу и западу тянулась пустыня, далеко разстилаясь широкою, слегка волнистою плоскостью, поросшею мелкою сорною травой.

Туркмены приближались со стороны пустыни. Две роты пехоты были уже высланы им на встречу и кавалерии отдан был приказ готовиться к делу. Генерал Головачов с своим штабом выехал из лагеря на небольшое возвышение, с котораго можно было следить за ходом дела.

Я сел на лошадь и поехал к передовому отряду, который подвигался в разстоянии около версты впереди лагеря. Я догнал их когда они тянулись вдоль высохшаго канала: правым крылом командовал полковник Дрешерн, левым полковник Новомлинский. Туркмены были в разстоянии около версты в значительном числе; они скакали взад и [263] вперед по равнине, но не обнаруживали расположения подъезжать ближе. Застрельщики там и сям стреляли по временам, иногда раздавался раскат выстрела картечницы, по повидимому эти выстрелы не причиняли большого вреда.

Так продолжалось несколько минут, когда оглянувшись в сторону лагеря, я увидел поднимающееся над деревьями и приближающееся вдоль дороги от Ильялы густое облако пыли, очевидно поднятое толпою всадников приближавшихся в галоп.

Это было нападение на лагерь с другой стороны, и оно угрожало опасностью, так как все, офицеры и солдаты, собрались в стороне ближайшей к равнине, наблюдая действия нашей передовой линии стрелков; кроме того нападающие были скрыты деревьями и стенами.

Казалось никто в лагере не ведал о их приближении, и одну минуту можно было опасаться что Русские будут захвачены врасплох, благодаря самой простой и немудреной военной хитрости. Теперь стала понятна причина появления неприятелей на равнине и их повидимому безцельное скаканье взад и вперед.

Я повернул лошадь чтобы дать знать о приближении неприятеля когда увидел что полковник Новомлинский заметил его почти в то же время и поворотил своих людей чтобы дать отпор нападению. Через минутку солдаты бежали бегом в направлении Ильяльской дороги.

Тем временем Туркмены показались из-за деревьев и мы неясно могли различать их темные фигуры среди пыли и кустов, в расстоянии около ста сажень от лагеря.

Если бы неприятель продолжал смело двигаться вперед, он несомненно мог иметь хотя минутный перевес над Русскими, которые, собравшись в другой стороне лагеря и наблюдая за происходившим в равнине, ни мало не подозревали об опасности им угрожавшей. Вместо того однакоже, Туркмены остановились и начали угонять лошадей и верблюдов бродивших вблизи лагеря. Это дало время поднять тревогу. Русские бросились к оружию, солдаты сомкнулись в ряды и изготовились к битве почти без помощи офицеров.

Между тем полковник Новомлинский приблизился на расстояние ста сажень от дороги, зайдя во фланг Туркменам. Он скомандовал полуоборот, затем быстро последовала [264] команда:

«жай», «клатс», «пли!» Резкий звук пронизал воздух и рой штуцерных пуль полетел через небольшое поле отделявшее нас от Туркмен. Затем последовали быстро один за другим три новые залпа из американских винтовок. Туркмены не выдержали такого сильного и меткого огня; повернув лошадей они поскакали назад с такою же поспешностью с какою приближались к лагерю. Я видел как некоторые из них падали, видел как их товарищи останавливались и подбирали их, несмотря на убийственный огонь с нашей стороны.

Еслиб они решились пробиться чрез лагерь — что было бы вовсе не трудно — они избежали бы убийственного огня во фланг и соединились бы со своими, которые, как мы вскоре узнали, сделали диверсию к югу.

На юге, не более как во ста, саженьях от лагеря, стоял пикет из пяти человек. Пока происходили только-что описанные события, между этим пикетом и толпою Туркмен завязалось непродолжительное но отчаянное дело. Как это случилось, осталось неизвестным. Молодой офицер, поручик Каменецкий, поверявший караулы, прибыл к этому пикету в то время когда началась битва на другой стороне, и вероятно они так пристально смотрели на происходившее в другом конце лагеря что допустили захватить себя врасплох. Когда битва на нашей стороне кончилась, на месте где стоял пикет найдено было шесть мертвых тел, обнаженных и обезглавленных. То обстоятельство что это произошло в расстоянии ста сажень от лагеря и не было никем замечено, свидетельствует об искусстве и смелости Туркмен.

Между тем четыре или пять сотен казаков двинуты были в равнину где в начале появился неприятель, с поручением убедиться расположен ли он дать сражение. Желая по возможности ближе видеть этот своеобразный способ ведения войны, я последовал за ними и вскоре опять очутился между сражающимися.

Сцена представившаяся моим глазам была несколько забавна и очень живописна.

Туркмены скачут вокруг в значительном числе, с криком и гиканьем, но не обнаруживают расположения сходитья с нашими

войсками, а их великолепные кони делают для нас невозможным подойти к ним [265] ближе чем они находят для себя удобным. По временам мы стреляем по ним, нарочно доставляем им случаи для нападений, разсыпаясь в беспорядке, и крича им чтоб они приближались; но они отказываются.

Все это имеет вид забавы, которая нас много потешает. Наездническое искусство обнаруживаемое Туркменами поистине удивительно; и мы замечаем что у них нет недостатка в личной храбрости. Будь у них дисциплина, из них вышла бы самая грозная кавалерия.

Они обнаруживают также наклонности старого рыцарства и вызывают нас на единоборство. Подскакивают к нам по одному, по двое, по трое, сажень на двадцать, салютуют нам своими кривыми саблями, делая в то же время какия-то замечания на неведомом языке—может-быть касающиеся лично каждого из нас.

Некоторые из ваших Кавказцев так и рвутся померяться с ними, и еслиб не осторожность нашего полковника, мы могли бы иметь целый ряд великолепных турниров, которые вероятно окончились бы общею рукопашною схваткой. Судя по тому что я видел в последствии, я теперь расположен думать что для нас было лучше что дело не кончилось таким образом.

Один молодец, на великолепном вороном коне, подъезжает к нам сажень на двадцать и остановилась салютует нам грациозным движением своей сабли. Казаки начинают стрелять по нем. Ни мало не испугавшись, он пускает свою лошадь в легкий галоп и проезжает вдоль всей нашей линии, в то время как каждый из казаков разряжает по нем свое ружье. Мы видим как пули взрывают песок, иногда под самыми ногами его лошади; но он остается невредим, и возвращается к своим, очевидно с одинаковым презрением к нашей меткости в стрельбе и к нашей храбрости

— Не хотите ли принять участие в атаке? слышу я обращенный ко мне вопрос.

— С удовольствием.

— Я с сотней казаков хочу атаковать ту толпу которую вы видите там справа. Подтяните подпругу и будьте готовы.

Мы вытянулись в линию—сто человек, с обнаженными саблями. Туркмены находятся в расстоянии ста пятидесяти [266] сажень, столпившись в нестройную массу в которой человек 300 или 400.

— Готово?—В атаку! раздается команда и мы несемся на них подобно лавине. Взвилось облако пыли, раздался топ лошадей, звякнули шпоры, блеснули сабли, и мы уже на месте.

Но Туркмен там нет.

Мы видим их сажень на полтораста дальше; они подвигаются легким галопом, повидимому ни мало не спеша и очевидно не допуская мысли что мы можем их настигнуть. Мы продолжаем скакать далее, но также безуспешно. Это может привести в отчаяние. С таким же успехом мы могли бы идти в атаку на стаю диких гусей; и мы оставляем наше намерение.

После нескольких стычек, без большой потери с обеих сторон, мы возвращаемся в лагерь. Но Иомуды немедленно поворачиваются и следуют за нами с насмешливыми криками, давая нам понять что считают нас величайшими из трусов.

Мы возвращаемся однако в лагерь мало обращая на них внимания, за исключением одного залпа из ружей когда они подошли уже слишком близко. Они продолжают следовать за нами и не доходя около полуверсты до лагеря удаляются. На возвратном пути мы находим два тела Туркмен убитых нашими застрельщиками; одному пуля пробила голову, другому попала в грудь. Я думаю что эти двое Туркмен были единственными убитыми оставленными на поле, хотя они должны были потерять не мало убитых стрелками полковника Новомлинского.

Потеря Русских состояла всего из шести человек.

Жара днем была необычайная, и мы были рады, возвратясь в лагерь, сбросить свои доспехи и растянуться для отдыха на коврах

под тенью деревьев. Скоро мы принялись весело толковать о событиях дня, за хорошим обедом, состоявшим из жареной баранины, молока, дынь и свежих, с пылу горячих, пшеничных лепешек доставленных нам Узбеками.

[267] VI. В промежутке.

Это нападение со стороны неприятелей показывало что они действительно хотели биться, и еслиб они продолжали так-же как начали, то могли бы иметь серьезный успех. Мы увидали что слишком легко прежде относились к их храбрости и что это был неприятель которого нельзя было презирать. Следующие день мы провели в лагере ничего не предпринимая. Узбеки опять принесли нам провизию; мне, казалось любопытным каким образом они с таким безграничным доверием вверяли нам свою жизнь и собственность, когда мы так сурово поступали с их соседями. С своей стороны я находил очень мало разницы между ними и Туркменами, как по одежде так и по наружности; только когда они снимали свои бараньи шапки и можно было видеть очертание головы, тогда разница становилась заметна. Но даже и тогда в большей части случаев было трудно различить их, ибо между обоими племенами жившими в таком близком соседстве естественно должно было происходить смешение, и различие типов свойственных каждому из них должно было более или менее сглаживаться. На самом деле, хотя мы и были убеждены в противном, половина этих Узбеков могли быть Туркменами, которые приходили в лагерь для разведок. Однакоже, так как не было верного способа различать их, Узбеки же не были настолько преданы Русским чтобы выдавать своих единоверцев Магометан, и так как Туркмены ничего бы не поняли из русских военных порядков еслиб и видели их, то против шпионов и не принималось никаких мер.

В течении этого дня прибыли новые уполномоченные от Туркмен, повидимому для переговоров; но я мог узнать касательно их предложений только то что они не были приняты.

Что они готовы были помириться и не имели особенной злобы против Русских, это доказывается их отношением к Оренбургскому отряду, который проходил по этим самым местам всего три недели тому назад. На всем пути его они выходили во множестве, принося дыни, фрукты, [268] молоко и хлеб, и предлагали все это самым

радушным образом, не требуя платы. Один офицер после разказывал мне что войска этого отряда, находившаяся верст за пятьдесят ниже по реке, близь Куны-Ургенча, жили с Туркменами в самых дружеских отношениях, в то время как мы жгли и разоряли их страну по всем направлениям. Он говорил что некоторые из Иомудов даже пытались заключить с ними оборонительный и наступательный союз против нашего отряда. Они говорили наивно: „Мы поклялись с вами в дружбе и считаем себя вашими союзниками Но другое племя Русских, из Туркестана, затеяло с нами войну, и мы полагаем что вы должны помогать нам против них, как и мы стали бы помогать вам против ваших врагов."

VII. Битва.

Мы пролежали целый день в бездействии. Под вечер генерал Головачов, казалось, собирал сведения куда укрылись массы Туркмен, готовясь сделать на них нападение. Когда стемнело, у лагерных огней стали перешептываться что на следующее утро до разсвета мы выступаем, чтобы напасть врасплох на неприятеля в его лагере, верстах в десяти от нас. Около десяти часов слух этот подтвердился официальным приказом отданным по лагерю. Обоз должен был остаться позади под прикрытием, и мы должны были выступить в час утра.

Туркмены, как говорили, находятся по ту сторону города Ильялы, в восьми или девяти верстах, и там намерены сделать стоянку.

Около одиннадцати часов, когда все разошлись спать, сделалась тревога; раздалось несколько выстрелов, и мы бросились к оружию, ожидая немедленного нападения. Однакоже все стихло и с пикета донесли что там видели темную фигуру кравшуюся в тени и по ней дан был выстрел. Больше ничего не случилось и мы снова ложимся чтобы воспользоваться кратким отдыхом. Снова разбужены мы, немного раньше часа, выстрелом и диким криком, который всех нас поднял на ноги подобно электрическому удару. Снова призыв к оружию; минутное смятение; все становятся по местам, и все замолкло — мы ожидаем [269] нападения. На этот раз это уже не фальшивая тревога, так как пикет выстрелил в темноте по чему-то очень к нему близкому, и затем поднята была сабля. Ясное доказательство что неприятель бродит где-то по близости

Это побуждает генерала Головачева не выступать в час, как было назначено прежде, но выждать до трех, как раз пред рассветом.

Согласно этому, в три часа нас будит зоря; вещи наши упаковываются и помещаются в четырехугольном пространстве окруженном арбами, числом около двухсот; при них оставляется триста человек солдат. Когда это окончено, с немалою сумятицей в темноте, генерал с своим штабом садятся на коней и становятся у выхода из лагеря, чтобы видеть как дефилирует выступающая пехота.

Следует припомнить что мы находились на том самом месте где два дня тому назад происходило небольшое дело; мы выступаем в открытую равнину на запад, в направлении Ильял, так как следовать по ней в темноте удобнее нежели по более прямой дороге садами. На востоке; чуть-чуть брежит слабый свет занимающейся зари, на западе же, в том направлении куда лежит наш путь, черная, непроницаемая темнота. В воздухе чутется что-то странное, какое-то особенное, как бы электрическое состояние, которое наводит на мысль о готовящейся бури. Белая разнузданная лошадь бешено мчится там и сям пересекая ряды и описывая какую-то причудливую ломаную линию, — я с интересом припомнил после этот случай.

Кавалерия выступила в равнину, и вероятно отъехала уже более полуверсты; пехота же только строится в порядок на глазах генерала; двое или трое из нас толкуют о вероятности захватить Туркмен врасплох, как вдруг внезапно дикие, неистовые возгласы, страшное смешение испуганных голосов, выстрелы там и сям, топот мчащихся лошадей, поражают наш изумленный слух. Повсюду—спереди, сзади, вокруг—воздух полон дикими мстительными криками. Долина оживает Туркменами. Наши ожидания внезапного нападения исполнились несколько неожиданным образом.

Затем нестройный залп ружей, сверкующий как молния, потом длинная огненная полоса которая [270] пронизывает темноту со страшным, трескучим, потрясающим нервы звуком, и разражается смертоносным взрывом, потом целый букет голубого, зеленого и красного пламени, которое вспыхивает и исчезает; еще несколько

огненных полос, свист пуль, топот перепуганных лошадей, и случайный блеск сабель.

С минуту мы остаемся как бы прикованные к седлу, сласком изумленные чтобы предпринять что-нибудь, и только смотрим с немим удивлением.

Генерал Головачов дает поспешный приказ пехоте и артиллерии двинуться вперед; через минуту мы движемся в темноте вслед за ним, не зная куда направляемся. Еще минута, и мы уже посреди сражающихся. Тем временем ракетные выстрелы прекратились, частью потому что, будучи попорчены, ракеты часто разрывались в руках солдата: отчасти потому что Туркмены слишком близко, так что при самом низком угле под которым мы можем метать их, ракеты перелетают через головы неприятеля и не причиняют ему ни вреда ни страха. Ружейная перестрелка делается живее и с обеих сторон раздаются нестройные залпы, при свете которых там и сям выделается из темноты грозная фигура, и дикое лицо, и блестящая сабля, которая тотчас же припадают в темноте, между тем как крики и воили продолжают с удесятеренною адскою силой. Казаки, кажется, несколько смешались и медленно отступают. Там и сям Туркмены прорвали линии и схватка становится рукопашной. В суматохе я отделен от генерала Головачова. Когда я снова подъезжаю к нему, он спокойно отдает приказания, но покрыт кровью. Он ранен сабельным ударом; полковник Фриде, начальник штаба, рядом с ним, также обливается кровью обильно истекающею из раны пульей в голову. Туркмены прорезали или фланкировали линию во многих местах а один из них ранил генерала Головачева.

Вдруг как волна подаются казаки назад и увлекают меня за собою. Может - быть это не бегство, во что-то очень похожее на него, или же это начало бегства; в самом воздухе носится что-то зловещее, чего я никогда не испытывал ни прежде ни после, что можно сравнить только с угрожающею атмосферой, предвестницей землетрясения; какое-то боязливое содрогание, первый [271] трепет ужаса, начинает закрадываться в массу солдат меня окружающих; среди криков, гиканья и смятения, носится тихий, зловещий, испуганный шепот, как, предвестие крика отчаяния; мы за минуту от паники. Казаки потеряли своего полковника; присматриваясь

ближе я могу различать их испуганные, встревоженные лица, и я знаю что это значит. Поражение—бойня: ни один из нас не спасется от Иомудов, с их быстроногими конями. Мало того; возстание разнеслось бы затем из Хивы в Ханки, в Ташкент—по всему Туркестану. В этот момент колебалось на весах все владычество Русских в Средней Азии. Оглядываясь по направлению лагеря из которого мы вышли, я вижу длинную линию темных фигур которая скачут между нами и лагерем, их высокие черные формы ясно вырисовываются против светлеющего восточного края неба; мы совершенно окружены. Вдали справа слышится треск картечи, что доказывает что битва идет на большом протяжении.

Не зная куда могут увлечь меня казаки в своем обратном движении, я решаюсь выехать из их рядов. Я очутился на краю фронта и между мной и неприятелем нет ничего. Туркмены надвигаются с запада, где все погружено в глубокую темноту, но я могу различить на расстоянии может-быть сажень в двадцать темную, нестройную массу всадников несущихся в галоп. Они визжат как бесы, и при свете выстрелов я могу видеть их свирепые, темные лица и блеск обнаженных сабель. Мне не нужно много времени чтобы понять что я не могу здесь оставаться; быстро повернув лошадь я бросаюсь прочь, разрядив прежде по толпе свой револьвер. Почти в ту же минуту рота пехоты подходит с левой стороны.

Они подходят беглым шагом и движение их несколько напоминает движение заброшенного аркана. Офицер выстраивает их в боевую линию. Я поспешно шпорю лошадь и становясь позади их чувствую себя на минуту бесконечно счастливым. Они выстраиваются, левая нога впереди, ружья наготове; через минуту раздается команда: „пли!“ и воздух с шумом и свистом пронизывает туча летящих пуль.

За первым залпом следует другой, третий, через короткие промежутки. Это было вовремя; Туркмены так [272] близко что некоторые из убитых падают почти у самых ног, наших солдат. Вдали справа начинает раздаваться громкий, яростный рев пушек, которые явились на место действия и начинают изрыгать пули и картечь.

Появление разсвета было вероятно замедлено на несколько минут пылью и дымом которые висели над нами, потому что теперь, когда пыль и дым рассеялись легким порывом ветра, как бы по волшебству, тьма раздвинулась и мы видим Туркмен несущихся по равнине на своих быстроногих конях в совершенном бегстве.

Я огляделся вокруг. Около пятидесяти сажень в сторону вижу знамя генерала Головачова; несколько казаков и офицеров окружили его; остальные казаки столпились там и сям неправильными группами; пехота растянулась разорванным кругом, сажень около полутора в диаметре, но все еще в боевой линии; артиллеристы стоя за дымящимися пушками следят за бегущим неприятелем и колеблются дать ли по нем выстрел на прощанье. Сражение кончено.

Бегство. Верещагин.

VIII. После битвы.

Около меня лежат двое или трое убитых русских солдат, и трое или четверо раненых. Немного дальше, полковник Есипов, которому я пожимал руку за полчаса до выступления, лежит холодный и недвижимый, с пулею в груди, и Георгиевский крест его обрызган кровью. Он умер смертью храбраго.

Я направляюсь к тому месту где развевается значок генерала, безпокоясь узнать не опасно ли он ранен. Рука, его перевязана, белый китель облит кровью, но он все еще в седле. Рана его только порез саблей по руке и нанесена пехотинцем.

Мы объезжаем поле чтобы сосчитать убитых и раненых. Тела Туркмен разбросаны во множестве. Вот один дежит на боку, обе руки его еще сжимают длинную палку, к которой привязана короткая кривая коса. Он босиком, с непокрытою головой, вся одежда его состоит из легкой холщевой рубахи и шаровар; темная тень ненависти видна, еще в его жестких, грубых чертах, сохранивших печать дикой ярости побудившей его выступить с таким неравным оружием против русских стрелков.

[273] Там трое или четверо лежат рядом, как бы убитые одновременно, и трое, четверо или пятеро свалились в кучу на труп превоеходнаго коня, как бы убитые один за другим, вслед за

благородным животным, в попытке помочь друг другу. Дальше, еще трупы лошадей, еще убитые люди, полускрытые низкою травой в небольшой песчаной ложбине. В одном месте земля буквально усыпана телами. Но раненых не было; не было ни стонов, ни молений о помощи. Сначала я был удивлен этому, хотя Туркмены всегда стараются увозить своих раненых, но они не имели возможности захватить с собой всех которые могли быть ранены Русскими в недавней битве.

Явление это вскоре для меня объяснилось ужасным и неожиданным образом. Я увидел солдата осторожно приближавшагося к одному из мертвых Туркмен. Движения его были странны, они возбудили мое любопытство, и я отъехал на двадцать или на тридцать футов и стал следить за ним. Он был так занят своим делом что не заметил меня; и я мог видеть дикий, испуганный блеск его глаз, напоминавших отчасти безумного. Внезапно, прежде нежели я мог догадаться что он намерен делать, он глубоко вонзил свой штык в бок Туркмена. Я испустил невольный крик ужаса; он взглянул, увидал меня, и поспешил прочь, не говоря ни слова. Туркмен только притворялся мертвым; но даже теперь у него не вырвалось ни стоана, он не открыл глаз, между тем как кровь струилась у него из бока и изо рта красным потоком; я бы и теперь счел его за мертвеца, если бы не заметил судорожного движения пальцев и сокращения членов. Я отвернулся с болью в сердце, так как знал что бедняга уже вне человеческой помощи.

Я рад что могу заявить, к чести русскаго войска, что по всем моим сведениям, собранным из лучших источников, это был единственный случай такой хладнокровной жестокости. Хотя я изъездил все поле, я не видел подобнаго случая. Этот солдат был очевидно трус, смертельно перепуганный и искавший отмстить за это.

Но отсутствие раненых объяснилось. Все они притворились мертвыми из боязни быть убитыми. Мы насчитали всего около трехсот тел, разбросанных там и сям или валявшихся грудями, но неприятель после показал что [274] потеря его простиралась до пятисот человек. Потеря Русских состояла всего из сорока человек убитыми и ранеными, что можно приписать тому что Туркмены были вооружены только саблями и косами. Это было смелое и бле-

стящее нападение, и если бы не стойкость обнаруженная русскою пехотой, оно могло иметь для нас печальный исход. Начнись только паника, ни один из нас не уцелел бы. Между тем это было первое дело в котором участвовали эти войска. Хладнокровие генерала Головачева во время действия было изумительно и вероятно много способствовало предупреждению паники.

Генерал сделал быстрый осмотр поля, отдал приказ о помощи раненым и о погребении убитых, и продолжал движение. В это время вошло солнце и бросило длинная тени вдоль пустыни; кругом царствовало подавляющее молчание, сменившее шум и смятение битвы, и мы в тишине подвигались вперед, переговариваясь вполголоса.

Наладение было так внезапно, так неожиданно, так яростно и отчаянно, что теперь нами овладел ужас при мысли об опасности которой мы с таким трудом избежали.

Так как теперь уже не было особенной причины идти по открытому месту, то мы свернули вправо и скоро двигались по дороге ведущей чрез сады к Ильялам. Через полчаса мы увидели сквозь деревья глиняныя стены города, серыя и хмурыя в утренних тенях. Дорога шла вокруг города. Жители собрались большою толпой у ворот чтобы встретить нас, поднося свеже-испечевыя лепешки, дыни, виноград и персики

IX. Преследование.

Жители Ильял были Узбеки, с которыми мы были в мире.

Но хотя они знали что мы не ведем против них войны, тем не менее были испуганы шумом сражения; они смотрели на нас боязливими глазами, когда мы проезжали мимо, покрытые пылью и грязью, и с ужасом глядели на генерала Головачева, белый китель котораго был весь в крови и рука перевязана.

Мы не вошли в город, но обошли по дороге огибающей [275] стены и продолжали путь к северо-западу. Через час мы были опять в пустыне. Дорога наша лежала по окраине ея, неправильной и извилистой, так что мы постоянно пересекали то полосы песка, то пространства возделанной земли. Мы искали туркменскаго лагеря,

на который собирались напасть врасплох выступая сегодня утром, и который, как полагали, находился в восьми или девяти верстах от Ильял.

Туркмены совершенно исчезли тотчас же после сражения, и часа два или три мы вовсе их не видали. Однакоже около девяти часов они показались в поспешном движении вдоль горизонта слева от нас. Через полчаса равнина была покрыта ими; снова началось сражение, если только это может быть названо сражением. Они появились в значительных массах справа и слева и впереди нас, так что мы должны были ждать нападения в любом пункте. Мы выслали вперед застрельщиков, которые укрывались за берегами каналов, во многих местах представлявших превосходную защиту. Неприятель обнаруживал довольно смелости, несмотря на утреннее поражение; часто Туркмены подъезжали на ружейный выстрел и мчались мимо бешеным галопом.

Мы приближаясь к их лагерю и они имели в виду по возможности замедлить наше движение, чтобы дать возможность не принимающим участия в сражении удалиться.

Движение наше при таких обстоятельствах было очень медленно. Подвигаясь в боевом порядке, с линией застрельщиков брошенной слева, справа же защищенные кавалерией, мы принуждены были поминутно останавливаться чтобы выравнивать нашу порвавшуюся линию или переменять фронта. Чувствуя страх к нашей пехоте, Иомуды ни мало не боялись кавалерии. Несколько раз они бросались на казаков самым решительным образом, и были удерживаемы только залпами пехоты или гранатой пронизывавшей их ряды.

Подобного рода битва на ходу продолжалась два или три часа; Иомуды скакали вокруг нас во всех направлениях, с криком и гиканьем, стреляя из своих фитильных ружей. Повидимому они не имели какого-нибудь определенного плана действия или нападения, кроме того чтобы [276] наскочить на нас нестройными массами, без всякого порядка и системы.

Раз человек шесть из них собрались позади развалин дома, в расстоянии около полутора сажен от дороги, и когда мы

проходили, они выскочили один за другим и промчались невредимо под беглым огнем нашей цепи.

Генерал Головачов, видя что их собрались целья массы в пустыне с левой стороны, в разстоянии около двух верст, послал туда дюжину гранат, в виде сигнала Оренбургскому отряду. Отряд этот, как полагали, приближался с другой стороны, в разстоянии двенадцати или пятнадцати верст, с целью совершенно отрезать бегущих. Эти гранаты, брошенные без особаго намерения нанести вред неприятелю, причинили ему однако же много вреда, как мы узнали после. Оне упали в лагерь который мы отыскивали и который, укрывшись в небольшой ложбине, был для нас неприметен, и принудили неприятеля бежать с такою поспешностью что он побросал все.

Это мы узнали от войск Оренбургскаго отряда, которая пришли на следующей день в покинутый лагерь и нашли несколько сот арб и телег которая были оставлены, вместе с несколькими убитыми телами и множеством вещей. Бедняги так перепугались лопавшихся гранат что вскочили на коней, побросав все и не успев даже захватить тела убитых.

В числе найденных там любопытных вещей были бумаги лейтенанта Шекспира, который прибыл в Хиву с поручением Англии, во время злополучной экспедиции Перовскаго в 1840 году. Следует припомнить что лейтенант Шекспир отправлен был в Хиву с поручением способствовать мирному окончанию недоразумений между Русскими и Хивинцами.

В числе этих бумаг была копия с письма лорда Пальмерстона, в котором давалось поручение британскому посланнику уведомить русское правительство что Англия сочтет присоединение Хивы за *casus belli*.

Наш отряд вовсе не нашел лагеря в котором были открыты эта бумаги. Проводники все исчезли во время утренней схватки. Никто не знал в точности где именно находится этот лагерь, и мы прошли мимо, не видав его, так как он остался у нас верстах в трех слева.

[277] В полдень мы дошли до канала Ана-Мурата, который изливал сильный поток воды в пустыню, и перейдя ее прекращался. Здесь мы очутились около старого укрепленного лагеря, устроенного ханом во время войны с этими самыми Туркменами. Лагерь занимал пространство около десяти акров, и глиняные стены его в некоторых местах доходили до десяти футов вышины и были почти невредимы. Хан передавал генералу Кауфману историю этой войны, которая довольно любопытна.

Потеряв всякое терпение вследствие отказов Туркмен платить подати или признавать его власть, он решил пойти на них войной и покорить их. Он собрал войско из Узбеков, между которыми и Туркменами существует, как я уже заметил выше, смертельная ненависть. Хан пошел с войском в землю Туркменов; и придя на это место, которое представляло сильную позицию, будучи защищено с двух сторон глубокими каналами, укрепился в нем.

Здесь оставался он несколько недель; Туркмены ежедневно делали действительные или притворные нападения на его лагерь: которые — судя по тому что мы сами видели— доставляли им много удовольствия. Ханские войска стреляли в них тяжелыми ядрами из своих пушек, ни причиняя им большого вреда, между тем как они скакали кругом лагеря с криком и гиканьем, стреляя из своих фитильных ружей, размахивая саблями и наслаждаясь этою потехю. Наконец хан, истощив свои припасы и людей, с торжеством возвратился в столицу. Туркмены же разошлись по домам и принялись за свои обычные занятия.

Это был тот самый лагерь в котором мы теперь находились. Позиция была хороша, и генерал Головачов решил отдохнуть здесь остальную часть дня.

Иомуды с своей стороны хорошо воспользовались данным им таким образом временем и продолжали свое бегство. Так как мы уже обошли их, то они вернулись на свой след, подобно преследуемому зайцу, и двинулись почти по той же самой дороге по которой пришли мы, направляя свой путь к юго-востоку. Целый день и целую ночь они продолжали свое поспешное бегство, и таким образом ушли от нас на несколько верст.

На следующее утро, на рассвете, мы пустились за ними в погоню. Пройдя немного мы нашли труп русского [278] солдата, обнаженный и обезглавленный; вероятно он был, в пикете, на который они напали врасплох ночью. Целый день мы гнались по следам беглецов, останавливаясь только чтобы дать время солдатам позавтракать. Так как вещей у нас с собой было немного, то движение наше было очень быстро. Мы опять прошли близ Ильял, оставляя город влево от себя, и пересекши небольшой оазис очутились на обширной открытой равнине, которая, судя по множеству перерезывавших ее каналов, в недавнем прошлом должна была быть обработана. Мы не видели никакого следа бежавших почти вплоть до захода солнца, когда облако пыли на горизонте показало нам что мы скоро их настигнем.

Немного спустя мы стали лагерем на берегу канала, который представлял обильный запас воды; через несколько минут казаки разсылались по равнине, отыскивая корма для своих лошадей. Верстах в двух от лагеря они нашли несколько сена, которое только что было накошено и припасено Туркменами. Во время этой фуражировки случилось печальное происшествие. Один из туземных проводников, отъехавший на некоторое расстояние от других, был принят за Иомуда; казак выстрелил в него, и ранил так опасно что два часа спустя он умер, несмотря на все усилия нашего доктора спасти его.

Х. Бегство.

На следующий день рано утром мы возобновляем преследование и вскоре замечаем следы беглецов. Здесь арба нагруженная пожитками и оставленная в попыхах; там корова или теленок которые не могли следовать за бегущими; вот старуха, полумертвая от страха, думающая что ее сейчас же поведут на казнь; там старик, оборванный, покрытый пылью, жалкий, который опираясь на палку смотрит на нас свирепыми глазами. Дальше начинают попадаться нам стада ягнят и козлят, потом стада овец и рогатого скота и опять арбы.

Генерал Головачов отдал приказ кавалерии, шедшей впереди, открыть и атаковать беглецов и если можно заставить их принять сражение. Судя по тому что я видел [279] в первый день, нападению неизбежно должны подвергнуться отсталые, потому я решаюсь остаться позади при штабе.

Кавалерия скоро исчезает в облаке пыли; пехота продолжает твердо идти вперед. Через полчаса мы подходим к узкому, глубокому каналу, наполненному водой, который пересекает равнину под прямым углом к линии нашего движения, и здесь странная и страшная сцена представляется нашим глазам.

По равнине разбросаны во всех направлениях арбы или телеги, нагруженные домашним скарбом Иомудов. Не имея возможности перейти канал по единственному узкому мосту, они выпрягли лошадей, оставив все свои пожитки. Некоторые однако не успели бежать; потому ли что у них не было лошадей, или может-быть потому что они слишком много полагались на великодушие Русских. Они были настигнуты и изрублены казаками.

Повсюду между тесно наставленными арбами лежали тела убитых, в крови, с сабельными ранами на головах и на лицах; вид их был страшен. Но еще хуже был вид женщин, которыя прятались под телегами, подобно безсловесным животным, смотря на нас с испуганными лицами и умоляющими глазами, без слов, окруженные мертвыми телами своих мужей, возлюбленных и братьев. Оне ожидали что с ними поступят также как их мужья, возлюбленные и братья поступают с побежденными при подобных обстоятельствах.

Я вижу однакоже одну женщину которая не обращает ни малейшаго внимания на то что происходит вокруг нея. Она держит на коленях голову человека умирающаго от страшнаго сабельнаго удара в голову. Она сидит, глядя ему в лицо, неподвижно как статуя, даже не поднимая глаз при нашем приближении; мы могли бы счесть это за выражение идиотскаго равнодушия, если бы не слезы тихо катившияся с ея длинных ресниц и капавшия на лицо умирающаго. В ней не было страха пред Русскими. Горе пересилило страх.

Но хуже всего было видеть множество малюток детей, отцы которых были вероятно убиты. Некоторые с плачем ползали между колес; другие, все еще сидя на телегах среди поклажи, смотрели на нас изумленными детскими [280] глазами; одна маленькая девочка ворковала и смеялаеь, увидав развевавшееся знамя.

Я передал одного плачущаго ребенка женщине которая сидела с диким взглядом под телегою; но она не обратила на него внимавия, и проезжая после я видел что малютка лежит на земле близь нея, крича изо всей мочи.

Генерал и штаб остановились на несколько минут, а я поехал не спеша вперед. Повсюду были брошенные арбы, набитыя коврами, подушками, кухонною посудой, мешками пшеницы, мотками шелка и одеждой; то там, то сям опять тело зарубленнаго Туркмена. Там старуха, лет восьмидесяти, по виду, сидит согнувшись посреди дороги с ребенком на руках, склоняясь над ним с видом безнадежности и отчаяния. Она выжидала закрыв глаза, как бы решившись не видеть сабли которая, она была убеждена, должна убить их обоих. Она не оставила своей внучки, которую может-быть оставила мать. Дальше под арбою молодая красивая женщина с окровавленным лицом, в изодранной одежде, с убитым горем выражением лица, которое разказывало ея грустную повесть. Поддаваясь бессознательному порыву я предложил ей денег; она оттолкнула их и с рыданием закрыла лицо руками.

Я должен сказать однако что случаи насилия против женщин были крайне редки; и хотя Русские сражались здесь с варварами которые совершали всевозможныя жестокости над пленными, что в значительной мере могло бы извинить жестокость со стороны солдат, тем не менее поведение их было безконечно лучше нежели поведение других европейских войск в европейских войнах.

Немного дальше старуха лежит близь дороги, с тяжелою сабельною раной на шее; но ее легко было принять за мушину, потому что на голове у нея не было чалмы. Приказано было не щадить мушин, будут ли они сопротивляться или нет, но это была единственная раненая женщина которую я видел, и мне говорили что всего было три или четыре таких случая.

Я проехал около трех верст по равнине, которая и здесь покрыта оставленными телегами. Оне разбросаны в разных местах, по пяти, по шести вместе, некоторыя на самой дороге, другия в разстоянии полверсты или более вправо и влево, как будто хозяева их думали укрыться [281] в пустыне когда приближение казаков принудило их бросить эту попытку.

Пятнадцать или двадцать человек Иомудов верхами показались в недалеком расстоянии в пустыне, а так как пехота верстах в трех позади, а кавалерия может-быть в пяти или шести верстах впереди, то я считаю безопаснее остановиться. Пока я стою и жду, один Иомуд, который вероятно прятался где-нибудь по близости, внезапно появляется, направляясь в мою сторону. Он вооружен только дубиной, но имеет такой вызывающей вид что я схватился за револьвер. Он и тогда не обнаружил ни малейшаго признака страха, перешел через дорогу впереди меня в расстоянии не больше десяти футов, сверкая своими свирепыми черными глазами, как бы собираясь броситься на меня со своею дубиной, несмотря на мою пару револьверов и винтовку.

Первым моим движением было заставить его бросить свою дубину и сдаться мне как победителю, но мододец этот имел такой вид отваги и независимости что возбудил мое восхищение, кроме того я подумал что я этим не выкажу храбрости, имея столько преимуществ на своей стороне. Он прошел мимо, даже не пожелав мне доброго утра, и исчез среди мелких песчаных холмов.

Скоро подошла пехота и движение продолжалось еще верст шесть или семь дальше. Опять попадают овцы, скот, опять верблюды, старые и молодые, но нет лошадей. Не малаго замечания достойно что хотя многия тысячи голов овец были захвачены в течение похода, но не было поймало ни одной лошади; это показывает как умно распорядились Иомуды дорожа своими великолепными конями. Может-быть только те кто не имел лошадей и были взяты в плен или убиты в этот день.

Увидав в стороне от дороги двух или трех казаков расхищавших группу телег, я подъехал к ним чтобы взглянуть на их работу. На земле лежали тела двух убитых Иомудов, а возле них стояла девочка лет трех, смотревшая на казаков испуганным, удивленным взглядом и тихо, но горько плакавшая.

Малютка умерла бы от жажды еслиб ее оставить тут, и я взял ее на свою лошадь, с тем чтоб отдать ее первой женщине которую встречу. Вскоре я увидел другую [282] девочку и, передав первую моему спутнику Черткову, подъехал ко второй. У бедного ребенка

был большой разрез на подошве; рана была полна песку, ничем не защищена от палящего солнца и должна была причинять ей сильную боль. Девочка не плакала, но смотрела на казаков хозяйничавших около арбы, которая принадлежала может-быть ее отцу, любопытным, вызывающим взглядом. Когда я сказал ей что возьму ее с собою, она пустилась бежать, и я принужден был сойти с лошади и погнаться за ней.

Она отбивалась и визжала как дикая кошка, и я истощил весь мой татарский лексикон прежде чем она согласилась довериться мне. Но убедившись наконец что мои намерения были миролюбивы, она обвила мою шею руками и заснула.

Я должен был представлять довольно странное зрелище когда ехал между войском, с дикаркой крепко обнявшею мою шею и положившею голову, покрытую корой грязи, на мою грудь. Но вскоре я встретил одного штабного офицера с такою же находкой и убедился что я не был исключением. Иомуды, очевидно, покидали девочек охотнее чем мальчиков.

Около одиннадцати часов мы нагнали кавалерию остановившуюся чтобы дать отдых лошадям.

Беглецы рассеялись во все стороны, но главная масса их, благодаря своим быстрым лошадям, должна была быть за несколько миль дальше, и преследовать их было бы бесполезно. Генерал Головачов разсудил что так как большая часть их имущества захвачена, то они достаточно наказаны, и решил вернуться в Ильялы.

Даже здесь, так далеко от оазиса, было два или три канала, один из коих был все еще полон воды, что показывает что эта равнина, теперь бесплодная, была некогда обработана и может быть снова сделана плодородною. Судя по моим наблюдениям, Хивинский оазис был некогда значительно больше чем теперь, так как везде на этих песчаных равнинах, начиная с самого города, который стоит на границе между плодородною землей и пустыней, видны следы прежней ирригации.

На пути в лагерь я встретил пять или шесть женщин и предлагала им взять мою маленькую protegee, но они все отказались, указывая на собственных детей. [283] Действительно, они были не в таком состоянии чтобы взять ребенка, потому что у каждой из них было уже по пяти или шести ребят. Таким образом, я привез мою девочку в лагерь, сам не зная что сделаю с ней. Всего проще было бы бросить ее в пустыне, в жертву шакалам, но в таком случае не для чего было и брать ее оттуда где я ее нашел. Обдумывая этот вопрос, я устроил ей постель под телегой, на куче хлопка, наваленного вокруг большими грудками, вместе с шерстяными одеялами, коврами и кухонною посудой из разграбленных кибиток. Потом, с помощью доктора, я обмыл и обвязал ее раненую ногу.

Она была мужественная девочка и вынесла эту операцию так терпеливо что привела нас в изумление. Несмотря на то что мы должны были причинять ей сильную боль пока очищали рану, которая опухла и была сильно воспалена, она не выронила ни одной слезы. После долгих стараний, мне удалось отмыть и лицо ее от налипшей на нем грязи, и я увидел что она прехорошенькая. Она с жадностью пила воду. Увидав что солдат доит корову, я принес девочке столько молока сколько она могла выпить, и уложил ее на приготовленную постель. Словом, я так привязался к ней и она была такая славная девочка что мне было жаль расстаться с ней, когда, немного позже, отыскалась ее мать. Мать была очевидно в восторге что нашла ее, но поблагодарила меня холодно и после того даже ни разу не взглянула на меня. Это показалось мне несколько жестоким, тем более что я возвратил ей дочь с хорошим гардеробом, который выбрал для нея в захваченном, имуществе ее соотечественников, и с золотою монетой, которая лет десять спустя может послужить ей приданым. Но очень может быть что, вопреки наружной холодности, в глубине сердца, мать горячо поблагодарила кафира.

После трехчасовой остановки, в продолжение которой были разобраны и сожжены все кибитки найденные здесь, мы пустилась в обратный путь в Ильялы.

Солдатам приказано было отобрать и захватить с собой все ценное, а остальное сжечь, и казаки охотно исполнили приказание.

Ковры, шелковые материи, носильное платье и серебряные украшения — вот все что было ценного; все же остальное, необработанный хлопок и шелк, старые ковры, признанные солдатами негодными, зерно, мука, [284] кухонная посуда, мехи с молоком и разный другой домашний скарб, были разбросаны по земле.

Грустно было смотреть на разрушение стольких счастливых хозяйств. Для этих бедных людей каждая вещь была старым, знакомым другом, к которому они привязались вследствие многолетнего употребления, с которым соединено было множество воспоминаний. Грустно было думать как женщины, возвращаясь по этой дороге, будут стараться спасти хоть что-нибудь из общего разрушения и плакать над знакомыми, любимыми вещами, жалкими остатками их некогда счастливых, теперь разрушенных хозяйств.

Но было ничто еще более достойное симпатии и сожаления.

Вот тела трех Иомутов залитые их собственной кровью и возле них шесть человек детей, от четырех до шести лет, одни с своими покойниками. Старший, здоровый мальчик, ухаживал как умел за младшими. Он устраивал им постель из обрывков хлопка, шелка, старых ковров и лохмотьев носильного платья, жалких остатков их некогда зажиточной кибитки. Он не удостоил меня ни малейшим вниманием когда я подъехал, не поднимая глаз он делал свое дело, и я уверен что его детское сердце горело яростью и негодованием против меня. Лет двадцать спустя, кто-нибудь из кяфиров может — быть узнает как сильна была ненависть посеянная в сердце ребенка.

Я позаботился чтобы солдаты не сожгли телегу под которой приютились дети, добыл им мех с молоком и поехал дальше, оставив их одних с их покойниками в необъятной пустыне. Хорошо сказал Виктор Гюго: «Ceux qui n'ont vu que la misere des hommes n'ont rien vu il faut voir la misere des femmes. Ceux qui n'ont vu que la misere des femmes n'ont rien vu: il faut voir la misere des enfants.»

Я видел только одного убитого ребенка. Это был еще младенец и убит он был повидимому ударом лошадиного копыта или каким-нибудь тупым орудием, так как крови на нем не было.

Весь наш обратный путь был отмечен огнем и пламенем. Прибыв к каналу, о котором было упомянуто выше и где была оставлена первая масса кибиток, я нашел что оне были уже вполне опустошены и что почти [285] все женщины и дети исчезли. Но некоторые еще оставались, и любопытно было видеть как солдаты отрывались от своего разрушительного занятия чтобы дать ребенку кусок хлеба или воды из собственной фляжки. Они делали это с удивительною нежностью и потом снова принимались за свое дело.

Я нашел маленькую девочку которая утром так радостно приветствовала знамя генерала Голованова все в той же телеге. Были сумерки, а бедный ребенок провел тут весь день под палящим солнцем, не евши и не пивши и терпеливо дожидаясь чтобы кто-нибудь взял его. Я нашел в груди других вещей мех с молоком и напоил девочку, хотя и с большим затруднением, так как не нашел ни одной чашки.

Тут было от пяти до шести сот арб, сдвинутых так близко что когда одна или две были подожжены, пламя быстро схватило другие и теперь уже приближалось к той в которой сидела девочка. Я отнес ее подальше от опасности и посадил на ковер, не зная что делать с ней. Хотя тут оставались еще две или три женщины, но одно то что оне оставляли ее весь день одну показывало ясно что на них нельзя было разчитывать. Был вечер, возвращения Иомудов нельзя было ждать раньше следующего дня, а шакалов было множество и вой их уже слышался в отдалении.

Я уже решил было взять девочку в лагерь, когда увидел подходившую ко мне женщину с двумя детьми, которую я до тех пор не заметил. Я показал ей на девочку и спросил: „ваша?“ „Иок“ (нет), отвечала она и указав на тело убитого Иомуда прибавила, „его“. „Мать есть?“ спросил я. «Иок»(нет). Тогда я объяснил ей знаками что хочу взять девочку в лагерь. Мое намерение ей видимо не понравилось, и я спросил ее не возьмет ли она ее на свое попечение. На это она охотно согласилась. Я дал ей золотую монету и посоветовал не оставаться тут. Она взяла девочку на руки и пошла вдоль канала, по обширной пустыне, Бог весть куда, в сопровождении двух детей, устало следовавших за ней.

Арриергард достиг лагеря долго спустя после захода солнца, так как наше возвращение замедлялось множеством [286] овец, рогатого скота и верблюдов, которых мы должны были захватить с собою. Их мычание и блеяние в темноте ночи нагоняло тоску, а зарево на южной стороне горизонта над горящими арбами, печальное свидетельство гибели и разрушения, усиливало ее еще более.

Туркменская женщина.

XI. Военная контрибуция.

Генерал Кауфман с значительным войском встретил наш отряд в Ильялах. Сообщение с генералом Головачовым было несколько дней прервано, и это обстоятельство, в связи со смутными слухами о большом сражении под Хивой, встревожило главнокомандующаго. Собрав, при содействии хана, столько арб сколько возможно было собрать в полдня, он поспешно отправился к нам на помощь. Но получив на пути донесение генерала Головачова о деле 27го июля, он, конечно, успокоился.

Могущество Туркмен-Иомудов было сокрушено, большая часть их имущества захвачена, весь их хлебный залас приготовленный на зиму и жилища их сожжены.

Но их гордый дух повидимому остался непреклонным. Они отказывались покориться и возвратиться в свои жилища, как приглашал их генерал Кауфман. Они скитались по пустыне вблизи границ оазиса в продолжение нескольких недель, до тех пор пока генерал Кауфман не перешел Оксус на обратном пути в Ташкент. Тогда, как я узнал по возвращении в Европу, они напали на соседних Узбеков и отчасти вознаградили себя за ущерб причиненный им Русскими.

Но сначала их положение должно было быть ужасно. Генерал Кауфман говорил мне что слышал будто бы они посылали послов к Туркменам Теке, на Каспийском море и на Атреке, прося у них позволения переселиться в их владения. Туркмены дали им братский ответ что они могут переселяться, но что у них будет отнято все что им удалось уберечь от Русских. Если это

справедливо, то я полагаю что немногие из них переселились в страну Теке.

Генерал Кауфман стал лагерем в Ильялы и издал прокламацию к другим племенам Туркмен, в которой [287] возвестил им что налагает на них военную контрибуцию, которую они должны представить чрез неделю, если не хотят подвергнуться такому же наказанию какое потерпели Иомуды.

На эту прокламацию Туркмены отвечали чрез депутацию старшин, которые обещали заплатить, но просили продолжить срок. Нет никакой возможности, говорили они, собрать столько денег в такое короткое время, и генерал Кауфман согласился дать им двухнедельный срок.

Размер платежа составлял по пятнадцати тилль с кибитки для всех племен, кроме Кара-Егелды, которые должны были уплатить двадцать тилль с кибитки. Соответственно сравнительному богатству обоих народов эта контрибуция была значительно тяжелее той которую Германия взяла с Франция дня два спустя, Туркмены, верные своему слову, уже прислали несколько сот рублей мелкою туземною серебряною монетой и несколько фунтов серебра в форме браслет и других женских украшений.

Любопытное зрелище представлял лагерь в следующие дни. В стране не оказалось, вероятно, достаточно денег для уплаты требуемой суммы, громадной для Туркмен, и они приходили в лагерь с лошадьми, коврами и верблюдами, и сбывали их за хорошую цену офицерам. Многим Русским хотелось приобрести чистокровных туркменских лошадей, превосходство которых было ясно доказано тем что во всю кампанию не было захвачено ни одной.

Судя однако по тем которых я видел, я полагаю что Туркмены или не продавали своих лучших лошадей или что лошади их хуже чем у Иомудов. Немногие из них, сколько я могу судить, отличались особенностями свидетельствующими о силе и быстроте. Узкая грудь, передняя ноги расположенные как у кролика, большая голова и больше уши, почти полное отсутствие гривы, жидкий хвост, очень высокий рост— вот характеристические черты туркменских

лошадей. Лейтенант Штумм, судя по экземплярам захваченным во время похода к Хиве, готов был заключить что порода туркменских лошадей выродилась, что она теперь не лучше, а может-быть даже хуже киргизских. Но я расположен думать что он не видал настоящих туркменских коней, [288] так как хозяева ценят их дороже своих дочерей и скорее резстанутся с дочерью чем с лошадью.

Во время похода против Иомудов наша кавалерия не могла подойти к ним ближе чем на пятьдесят сажень, и Иомуды так полагались на превосходство своих коней что повидимому никогда не гнали их, очевидно не удостоивая утомлять их ради нас, между тем как мы пускали в ход нагайки и шпоры и употребляли все старания чтобы нагнать их. А у казаков, лошади тоже превосходныя.

Но каковы бы ни были лошади которых Туркмены приводили продавать, они брали за них хорошую цену, от ста двадцати до трехсот рублей.

Туркменские ковры также покупались охотно, несмотря на высокую цену и на то что множество таких ковров было захвачено во время похода против Иомудов. Ковер в двадцать футов длины и в шесть ширины продавался за двадцать пять и за тридцать рублей. Любопытною чертой торговли было то что Иомуды, как ни сильно должны они были нуждаться в это время в деньгах, не уступали ни копейки из первоначально назначенной цены. Ковры ткются женщинами и ничем не уступают никаким другим коврам. У каждого семейства особый рисунок, который передается из рода в род без малейшаго изменения. Преобладающие цвета красный и белый, с небольшою примесью коричневаго и зеленаго, очень красивые и прочные.

Как ни странно это покажется, но большая часть военной контрибуции была уплачена женщинами. У каждой Туркменки множество серебряных браслет, ожерельев, пуговиц и головных уборов. Эти украшения составляют, кажется, после лошадей главный предмет богатства Туркмен. Они приносили их сотнями, и Русские принимали их по двадцати пяти рублей за фунт серебра. Все украшения были из серебра высшей пробы, очень грубой работы и очень массивныя. Пара браслет часто весила больше

фунта. Они очень широки и толсты, имеют форму буквы С, некоторые отделаны золотом и все с сердоликовыми украшениями.

Грустно подумать как тяжело было женщинам отдать эти незатейливые драгоценности чтоб удовлетворить безграничное корыстолюбие Уруса. Некоторые вещи были в семействе несколько поколений. Матери, бабушки и прабабушки современных Туркменок надевали их в день [289] своей свадьбы и разчитывали что их дочери, внучки и правнучки буцут носить их в свою очередь. И вдруг пришел ненавистный кяфир и все их взял себе. Можно представить как горькие слезы проливали женщины над этими простыми вещами, как оне раскладывали их на полу своих кибиток, персчитывали их и любовались ими в последний раз.

Для оценки и взвешивания серебра была назначена комиссия из офицеров. Они были заняты с утра до ночи, во тем не менее, когда прошел назначенный срок, они получили в счет контрибуции меньше половины требуемой суммы Но так как Туркмены дали достаточные доказательства своей готовности заплатить и так как невозможность собрать такую значительную сумму в такое короткое время была слишком очевидна, то генерал Кауфман решил отсрочить им уплату остальных денег еще на год. Было ясно что Туркмены при всем желании не могли бы собрать эту сумму в несколько недель, а армия должна была перейти Оксус и приготовиться к обратному походу до 1го сентября, чтоб не быть застигнутою морозами в пустыне.

Уплата контрибуции была действительно сопряжена для Туркмен с величайшими затруднениями. Главным из них, после недостатка монеты, было неумение распределить сбор по кибиткам. У них нет, как я уже говорил, никакого государственного устройства, нет верховной власти, уполномоченной назначать и распределять подати и побуждать к уплате, нет оценочной ведомости собственности подлежащей налогу и нет никого кто мог бы это сделать, так как они никогда не платили податей. Поэтому организация ведомства для распределения и сбора контрибуции была для них очень трудным делом. Генерал Кауфман, желая помочь им, пробовал дать их старшинам все инструкции возможные при подобном положении дел. Он старался объяснить им что они должны распределить налог по кибиткам, соразмерно с

принадлежащим каждой кибитке количеством овец, рогатого скота, лошадей и верблюдов. На это они возражали что часто тот кто богат скотом, беден деньгами, и что поэтому ему труднее заплатить, чем другому, а что те у кого есть деньги, прячут их и отказываются отдать их для общего блага. Генерал Кауфман объяснял им что те у кого есть деньги [290] могут дать их займы тем у кого их нет, что старшины могут сделать заем во имя народа, с тем что народ заплатит его чрез год скотом. Словом, он сделал все что мог чтобы дать им понятие о государственном строе и о народном займе, но все это было слишком сложно для них и он наконец предоставил им действовать как знают.

Все это время мы стояли лагерем в большом саду, окруженном высокою стеной, примыкающею к городу Ильялы. Это небольшой городок, имеющий около двух тысяч жителей и обнесенный толстою стеной, образующею прямоугольник около ста тридцати сажень длины и около восьмидесяти шести ширины. В городе есть базар, но ни одной мечети. Половина его построек в развалинах, вследствие землетрясения, и весь город имеет жалкий вид запустения, несмотря на то что окружающая его местность богата и плодородна.

Для тех из нас кто не был занят пересчитыванием и взвешиванием туркменского серебра, двенадцать дней проведенные здесь были довольно скучным временем. Однообразие лагерной жизни казалось нестерпимым после возбуждения краткой, но интересной кампании. Есть, пить, угощать друг друга—вот все что нам оставалось делать, и мы предались этим занятиям со рвением удивлявшим нас самих.

Мы начали смотреть на Хиву как на центр деятельности, новостей и удовольствий, также как люди смотрят на Париж, на Лондон или на Петербург, после долгаго пребывания в каком-нибудь захолустье, вдали от железной дороги. Что же касается возможности увидеть снова Лондон, Париж или Петербург, то мы помышляли об этом как о чем-то очень далеком. Хива была теперь центром всех наших желаний, и мы мечтали об ея базаре как некоторые из нас некогда мечтали о парижских бульварах.

И наконец настала счастливая минута когда мы сели опять на коней и направились к Хиве, куда и прибыли после пятидневного перехода.

[291] XII. Трактат.

Вскоре после взятия Хивы, генерал Кауфман написал проект трактата который предстояло заключить с ханом, и послал его с нарочным в Петербург на усмотрение Государя Императора. Трактат был вполне одобрен Государем и вовремя возвращен в Хиву. Дня за два или за три до подписания, хану дана была копия с него на узбекском наречии, чтоб он мог заранее ознакомиться о его содержанием.

Трактат был подписан генералом Кауфманом и ханом 23го августа, в присутствии офицеров штаба. Я привожу его целиком:

1. Сеид-Мухамед-Рахим-Бегадур-хан признает себя покорным слугою Императора Всероссийскаго. Он отказывается от всяких непосредственных и дружеских сношений с соседними владетелями и ханами, и от заключения с ними каких-либо торговых и других договоров, и без ведома и разрешения высшей русской власти в Средней Азии не предпринимает никаких военных действий против них.

2. Границей между русскими землями и хивинскими служит Аму-Дарья, от Кукертли вниз по реке, до отделения из нея самага западнаго протока Аму-Дарьи, а от этого места по сему протоку до впадения его в Аральское море. Далее граница идет по берегу моря на мыс Ургу, а отсюда вдоль подошвы чинка Усть-Урта, по так-называемому старому руслу Аму-Дарьи.

3. Весь правый берег Аму-Дарьи и прилегающая к нему земли, до ныне считавшияся хивинскими, отходят от хана во владение России, со всеми проживающими и кочующими там народами. Участки земель по правому берегу, составляющие ныне собственность хана, и жалованныя им для пользования сановникам ханства, отходят вместе с тем в собственность русскаго правительства, без всяких претензий со стороны прежних владельцев. Хану предоставляется вознаграждать их убытки землями на левом берегу.

4. В случае если по Высочайшей воле Государя Императора, часть этого праваго берега будет передана во владение Бухарскаго эмира, то Хивинский хан признает сего последняго законным владельцем этой части прежних своих владений, и отказывается от всяких намерений возстановить там свою власть.

5. Русским пароходам и другим русским судам как [292] правительственным так и частным, предоставляется свободное и исключительное плавание по реке Аму-Дарье. Этим правом могут пользоваться суда хивинския и бухарския, не иначе как с особаго разрешения высшей русской власти в Средней Азии.

6. В тех местах на левом берегу где окажется необходимым и удобным, Русские имеют право устраивать свои пристани. Ханское правительство отвечает за безопасность и сохранность этих пристаней. Утверждение выбранных мест для пристаней зависит от высшей русской власти в Средней Азии.

7. Независимо от этих пристаней предоставляется Русским право иметь на левом берегу Аму-Дарьи свои фактории для склада и хранения своих товаров. Под эти фактории, в тех именно местах где будет указано высшею русскою властью в Средней Азии, ханское правительство обязуется отвести свободныя от населения земли в достаточном количестве для пристаней и для постройки магазинов, помещений для служащих в фактории и имеющих дела с факторией, для помещений под купеческия конторы и для устройства хозяйственных ферм. Эти фактории со всеми живущими в них людьми и сложенными в них товарами находятся под непосредственным покровительством ханскаго правительства, которое отвечает за сохранность и безопасность таковых.

8. Все вообще города и селения Хивинскаго ханства отныне открыты для русской торговли Русские купцы и русские караваны могут свободно разъезжать по всему ханству и пользуются особенным покровительством местных властей. За безопасность караванов и складов отвечает ханское правительство.

9. Русские купцы торгующее в ханстве освобождаются от платежа зякета и всякаго рода торговых повинностей, так точно как

хивинские купцы не платят с давниие пор зякета ни по пути чрез Казалинск, ни в Оренбурге, ни на пристанях Каспийскаго моря.

10. Русским купцам предоставляется право безошлинного провоза своих товаров чрез хивинския владения во все соседния земли (безошлинная транзитная торговля).

11. Русским купцам предоставляется право, если они пожелают, иметь в городе Хиве и в других городах ханства своих агентов (караван-башей) для сношений с местными властями и для наблюдения за правильным ходом торговых дел.

12. Русским подданным предоставляется право иметь в ханстве недвижимое имущество. Оно облагается поземельною податью по соглашению с высшею русскою властью в Средней Азии

13. Торговья обязательства между Русскими и Хивинцами [293] должны быть исполняемы свято и ненарушимо как с той, так и с другой стороны.

14. Жалобы и претензии русских подданных на Хивинцев ханское правительство обязуется безотлагательно расследовать, и если они окажутся основательными, то немедленно удовлетворить. В случае разбора претензий со стороны русских подданных и хивинских, преимущество при уплате долгов отдается Русским пред Хивинцами.

15. Жалобы и претензии Хивинцев на русских подданных, в том даже случае если последние находятся внутри пределов ханства, передаются ближайшему русскому начальству на рассмотрение и удовлетворение.

16. Хивинское правительство ни в каком случае не принимает к себе разных выходцев из России, являющихся без дозволительного на то вида от русской власти, к какой бы национальности они ни принадлежали. Если кто из преступников, русских подданных, будет скрываться от преследования законов в пределах ханства, то ханское правительство обязывается изловить таковых и доставить ближайшему русскому начальству.

17. Объявление Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хана, обнаруженное 12го числа минувшаго июля, об освобождении всех невольников в ханстве и об уничтожении на вечныя времена рабства и торгоа людьми, остается в полной силе, и ханское правительство обязуется всеми зависящими от него мерами следить за строгим и добросовестным исполнением этого дела.

18. На Хивинское ханство налагается пеня в размере 2.200.000 рублей, для покрытия расходов русской казны на ведение последней войны, вызванной самим ханским правительством и ханским народом. Так как хивинское правительство, по недостаточности денег в стране, и в особенности—в руках правительства, не в состоянии уплатить эту сумму в короткое время, то, во внимание к этому затруднению, предоставляется ему право уплачивать эту пеню с разсрочкой и с разчетом процентов по 5 % в год, с тем чтобы в первые два года в русскую казну вносилось по 100.000 руб., в следующие затем два года— по 125.000 руб., затем два года—по 175.000 руб., а в 1881 году, т.е. через восемь лет—200.000 руб. и наконец до окончательной расплаты—не менее 200.000 руб. в год. Взносы могут производиться как русскими кредитными билетами, так и ходячею хивинскою монетою, по желанию ханскаго правительства.

Срок первой уплаты назначается 1го декабря 1873 года. В счет этого взноса, предоставляется хану собрать подать с населения праваго берега за истекающий год, в размере установленном до сего времени; это взимание должно быть окончено к 1му декабря, по соглашению ханских сборщиков с русским местным начальником.

[294] Следующие взносы должны быть производимы ежегодно, к 1му ноября, до окончательной уплаты всей пени, с процентами.

Чрез 19 лет, к 1му ноября 1892 года, по уплате 200.000 руб. за 1892 год, останется за хивинским правительством еще 70.054 руб., а к 1му ноября 1893 годи придется уплатить последние 73.557 руб. Ханскому правительству предоставляется право уплачивать и более вышеопределеннаго ежегоднаго взноса, ежели пожелает сократить число платных лет и проценты причитающиеся за остающийся еще долг.

Условия эти с обеих сторон,—с одной стороны туркестанским генерал - губернатором, генерал-адъютантом фон-Кауфманом 1м, а с другой—владельцем Хивы, Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-ханом, установлены и приняты к точному исполнению и постоянному руководству, в саду Гендемиан (лагерь русских войск у города Хивы), августа в 12й день 1873 года (месяца Раджаба в 1й день, 1290 года).

Подлинный договор подписали туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант фон-Кауфман 1й, и приложил свою печать, и Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хан с приложением своей печати

XIII. Россия и Англия в Азии.

До сих пор я избегал говорить о причинах похода Русских против Хивы. Причины могут быть перечислены в весьма немногих словах. Главною из них было задержание в Хиве двадцати одного Русских, обращенные там в рабство, но освобожденных еще до начала войны, затем частые нападения Хивинцев на русские купеческие караваны, чему хан Хивинский не хотел или не мог помешать.

Мирный трактат показывает что были и другие, более важные поводы к войне. Русские имели в виду покорить единственное из ханств все еще отказывавшееся признать их верховенство, подвинуть свою границу до Оксуса и овладеть течением этой реки до границ Бухары.

Результатом войны было то что Русские подвинули свою границу на 300 миль дальше на юг, приобрели 80.000 квадратных миль территории и нижнее течение Оксуса.

Исследование реки, произведенное еще до выхода генерала Кауфмана из Хивы, привело к заключению что по [295] уничтожении искусственных преград в канале, устроенных Хивинцами, река может быть доступна для русских пароходов от устья до самого города Хивы, а может-быть и выше.

Теперь нельзя еще определить точно сколько новых подданных приобрела Россия, но так как правый берег реки заселен редко, то я полагаю что их не больше 50.000.

Мне неизвестен точный смысл соглашения между графом Шуваловым и лордом Гранвилем. По общему мнению, оно состояло в том что Россия условилась не занимать территории на юг от Оксуса. Трактат показывает что Русские не нарушили своего обещания, но в то же время они подчинили себе хана и присоединили значительную часть его владений. Он теперь не может сделать шагу без разрешения Русских и вместе с тем на нем лежит вся ответственность правления. Все преимущества такого соглашения на стороне Русских. Они получают около двух третей всех доходов ханства, без всяких хлопот и издержек сопряженных со сбором податей, страна до такой же степени в их власти как если-бы была присоединена к России, и русские торговцы могут проходить по ней так же свободно как по собственной стране.

Такое положение дел для России гораздо выгоднее полного занятия страны, и мне кажется что Русские не заняли бы ее немедленно если бы даже не были связаны обещанием данным лорду Гранвилю. Теперь Хивинцы мало-по-малу привыкают к присутствию Русских, предрасудки их постепенно исчезают, сам хан служит орудием чтобы подготовить их к русскому правлению. И я не сомневаюсь что гораздо раньше чем будет уплачена военная контрибуция, смерть хана или какое-нибудь другое событие даст возможность Русским взять спокойно правление в свои руки, может-быть даже по просьбе самого народа.

От меня ожидают может-быть что я скажу что-нибудь о политическом положении Русских в Средней Азии. Я должен сознаться что на этот счет я могу сказать очень немного. Я не имею претензии думать что один тот факт что я был в Средней Азии во время краткаго похода дает мне право судить об этом вопросе. [296] Читателей желающих получить верное понятие о положении дел в Средней Азии я отсылаю к трудам таких людей как сэр Генри Роулинсон, мистер Мичель и другие, которые изучали этот вопрос несколько лет. Мистер Скайлер и мистер Аштон Дилк также готовят к печати свои труды о Средней Азии.

Безполезно с моей стороны было бы говорить и об общих интересах России и Англии в Средней Азии. Факты относящиеся к этому вопросу приведены во множестве у других писателей; что же

касается личных мнений, они уже составлены людьми интересующимися делом.

Я скажу только что по моему мнению покорение Хивы и даже ее присоединение, если оно совершится, не могут иметь важнаго значения в деле приближения Русских к Индии. Падение Хивы будет, конечно, иметь сильное нравственное влияние на все магометанское население Средней Азии. До сих пор Хива считалась недоступною и непобедимою и после падения Бухары была последнею великою твердыней исламизма в Средней Азии. Ее покорение подтвердит уже сильно распространенную веру в непобедимость Русских.

Но помимо этого нравственного престижа, покорение Хивы имеет мало значения. При настоящем положении Русских в Средней Азии, есть два пути для похода в Индию. Один от южнаго берега Каспийскаго моря, вдоль северной границы Персии, к Герату и оттуда к западной границе Индустана, путь в 1.000 миль. Если даже есть возможность движения по этому пути, то один взгляд на карту покажет что Хива в этом случае не будет иметь никакого значения с военной точки зрения. Другой и более вероятный путь похода—это путь от Самарканда чрез Бухару в Керки и далее вдоль Оксуса в Кундус. Хива отстоит от Керки на 375 миль к северо-востоку и следовательно на столько же от прямого пути в Индию. Большая часть этого пространства представляет пустыню, так как даже берега Оксуса в этой части его течения необитаемы. Следовательно и в случае похода, по этому пути Хива будет бесполезна для армии.

Скажут что Россия может переправить армии водным путем по Сыру, по Аральскому морю и вверх по Оксусу.

[297] Но не говоря уже о том что у Русских на Аральском море только небольшое количество мелких судов, далеко недостаточное для переправы большой армии, весьма невероятно чтоб Оксус был судоходен на всем своем протяжении до Керки. Следовательно и этот план похода неисполним.

Я не из тех кто верит в русскую традиционную политику завоевания относительно Средней Азии. Я не верю также чтобы Русские имели какие-нибудь виды на Индию. Они видят что между

их владениями и английскими есть свободное пространство территории, которое должно рано или поздно попасть в руки той или другой державы, и они не прочь присоединить себе сколько удастся.

Перевоз на Оксусе. Верещагин.

XIV. Возвращение.

Я расскажу здесь подвиг смелости полковника Скобелева, имя которого было уже не раз упомянуто в моем рассказе. Вопрос о том удалось ли бы полковнику Маркозову, командовавшему отрядом выступившим от устья Атрека, дойти до места своего назначения, если бы он продолжал идти вперед, вместо того чтобы вернуться назад, был весьма важным и интересным вопросом. Для того чтобы решить его, нужно было исследовать часть пустыни которую оставалось пройти полковнику Маркозову до пункта с которого он вернулся. Но такая экспедиция для большого отряда была бы слишком тяжела, а для маленького слишком опасна, потому что озлобленные Иомуды скитались в этой стороне. К тому же вопрос был не настолько важен чтобы можно было подвергнуть опасности значительное число людей. Проехать опасный путь, набросать на карту местность, исследовать колодцы и решить какое количество воды могли они доставить, должен быть кто-нибудь один или вдвоем и полагаясь только на свою ловкость и на быстроту своей лошади. Это дело было предпринято и блистательно исполнено полковником Скобелевым. Переодевшись в туркменский костюм, он взял с собой трех Туркмен, которые служили у него несколько лет на Каспийском море, и в тот день когда [298] мы выступили из Ильял в Хиву, углубился в пустыню по другому направлению.

Мы не видали его десять дней и уже потеряли надежду на его возвращение когда он внезапно вошел к нам, сильно утомленный, но с известием что предприятие его исполнено. Он пришел к заключению что всякая попытка со стороны полковника Маркозова идти дальше с утомленными людьми и животными повела бы к неминуемой гибели отряда, от недостатка воды в той части пути которую ему оставалось пройти.

24го августа Русские покинули Хиву и направились к Оксусу. Утром в этот день хан приезжал в лагерь чтобы проститься с

главнокомандующим и с офицерами штаба, и всем им пожал руки. Я был в это время в городе, но на обратном пути в лагерь повстречался с ханом, который ехал в сопровождении свиты человек в пятнадцать или двадцать. Моего переводчика не было со мной и мы не могли вступить в разговор, но хан пожал мне руку с добродушной улыбкой и сказал несколько прощальных слов. В его обращении заметно было то назойливое добродушие которое люди довольные обстоятельствами распространяют на всякаго встречнаго. Его дружеское прощание со мной было конечно следствием его радости что Русские уходят.

Полковник Скобелев, только - что возвратившийся из своей опасной поездки, не написал еще донесения которое намеревался представить генералу Кауфману и не хотел выехать из Хивы пока оно не будет написано. Он попросил меня остаться с ним в летнем дворце хана, где мы стояли лагерем, и я согласился. Войска выступили около двух часов и к трем часам скрылись из виду, и полковник Скобелев, его два служителя и я, ничтожный остаток победоносной армии, остались одни среди многочисленного неприятеля.

Полковник тотчас же сел за составление своего донесения и сопровождавшей его карты, а я провел день перечитывая старые номера *Revue des Deux Mondes* и бродя по покинутому лагерю. Шум и движение сменились невозмутимую тишиной, земля была усыпана обрывками старых карт, ковров и палаток, и два Персиянина копались в оставленном сору в надежде найти что-нибудь ценное.

[299] Ночью мы легли спать на небольшом внутреннем дворе дворца. Полковник проспал всю ночь сном человека разбитого усталостью, но его слуги и я не были так счастливы, нас разбудили какие-то громкие взрывы, подобные пушечным выстрелам. Встревоженные, мы взошли на один из высоких портиков и взглянули на город. Мы не могли однако разглядеть ничего особеннаго кроме зарева, какое обыкновенно виднеется ночью над городами освещенными газом. Но так как в Хиве нет ни газоваго, ни какого-либо другаго освещения, то мы пришли к заключению что взрывы и свет были не что иное как потешные огни которыми Хивинцы праздновали выход неприятеля.

На другой день рано утром мы пустились в путь чтобы присоединиться к войску. Было прекрасное солнечное утро и не без сожаления бросили мы последний взгляд на мечети, минареты и стены Хивы. Их неопрятный вид при ярком свете раннего утра казался красивым, а привычка к месту в котором мы провели более двух с половиной месяцев придавала нашему прощанию с ним оттенок не совсем неприятной грусти. Часа три или четыре мы ехали среди цветущих полей и садов оазиса, встречая на пути Узбеков, которые кланялись нам почтительно, но видимо радуясь что последние Русские уезжают. Никто из них не выказал однако ни малейшего поползновения оскорбить нас, и наш маленький отряд в четыре человека ехал также спокойно как если бы нас была тысяча.

Мы нагнали арьергард в Ханки и четверть часа спустя были на берегу Оксуса. Эту ночь армия переночевала на берегу, а на следующее утро началась переправа, сопряженная с немалыми затруднениями. Вопервых, число каюков было далеко не достаточно, вовторых, в том месте реки где переправлялась армия было два острова. Подъехав к острову, войска должны были высаживаться, переходить его пешком и на другой стороне снова садиться в лодки. То же самое и на другом острове, хотя он был отделен от суши только узким проливом. Вследствие всех этих затруднений переправа продолжалась около двух недель.

Между тем генерал Кауфман и его штаб осматривали правый берег реки, ища удобного места для постройки укрепления. Выбор их остановился наконец на большом [300] саде, окруженном высокою стеной. Это место было уже само-по-себе крепостью и нуждалось только в некоторых приспособлениях чтобы сделаться вполне пригодным для целей Русских. Немедленно было приступлено к работам и форт вышел похожим на все другие форты Средней Азии. Готовые стены были усилены земляными укреплениями и пристройками для постановки пушек. По местоположению на берегу реки, в плодородной местности, где зимний холод и летний жар довольно умеренны для этой части света, это один из лучших фортов Средней Азии. Он стоит на расстоянии двадцати пяти миль от столицы. Гарнизон его состоит из двух батальонов пехоты в 1.000 человек, 200 казаков, шести пушек и двух тяжелых орудий, отнятых у хана, гарнизон не большой, но

вполне достаточный чтобы держать Хивинцев в страхе и повиновении.

При форте оставлены полковник Иванов и полковник Дрешерн, первый как военный комендант округа, второй как начальник форта. Лучшего выбора нельзя было сделать. Полковник Иванов и полковник Дрешерн в высшей степени способные офицеры. Они преданы своей профессии, любознательно и живо интересуются народом с которым будут иметь дело. В добавок они чрезвычайно популярны как между солдатами, так и между офицерами.

Решено было что различные отряды пойдут назад по тем же путям по которым пришли. Отряд генерала Веревкина отправился в Оренбург, отряд полковника Ламакина к Киндерлийской бухте. Эти два отряда выступили неделей раньше генерала Кауфмана, возвратившагося в Ташкент. Что же касается Казалинского отряда, то большая часть его осталась в новом форте на берегу Оксуса.

Больных и раненых решено было отправить на каюках к устью Оксуса, где стояла флотилия под командой лейтенанта Ситникова, а оттуда на пароходах в Форт № 1. Желая ознакомиться с нижним течением Оксуса, я решился присоединиться к этому отряду. Так как лодки были необходимы для переправы войска, то нам пришлось ждать пока большая часть его не была перевезена на другой берег. Но наконец нам дали двадцать больших каюков. Отряд [301] наш состоял из тридцати или сорока раненых и больных, из пятидесяти человек конвоя и нескольких офицеров получивших отпуск и отправлявшихся в Оренбург, в Петербург и в другия места. В числе последних был генерал Колокольцов, один из самых храбрых и опытных офицеров русской армии, барон Корф, с которым я встретился впервые в Алты-Кудуке, и генерал Пистолькорс, у котораго вероятно больше ран чем у кого-либо другаго в русской армии. Мы разместились человек по десяти и по пятнадцати в лодке, построили навесы из тростниковых циновок; у большинства офицеров были постели, в конце каждой лодки был устроен очаг для варки кушанья, словом, наше путешествие было обставлено всеми удобствами какия только возможны при подобных обстоятельствах.

Утром 1го сентября мы отчалили от хивинского берега, четверть часа спустя вышли из узкого канала в Оксус и поплыли вниз по реке с умеренною быстротой, то действуя веслами, то предоставляя себя течению, быстрота которого в этом месте около четырех миль в час. Ниже течение замедляется и близь устья скорость его не более полумили в час.

Путешествие наше было весьма приятное. Мы запаслись достаточным количеством провизии. Два раза в день мы высаживались на берег, чтобы дать стянуться лодкам и чтобы гребцы могли отдохнуть. В это время мы варили себе кушанье, ели и ложились отдыхать на траве, в тени дерев. Первые ночи мы ночевали на суше, находя невозможным плыть в темноте. Дни проходили в приятной праздности. Мы играли в карты, удили рыбу, купались раз в день, а иногда лежали по целым часам на постелях, слушая пение солдат, сопровождаемое плеском весел, что составляло очень приятную музыку.

Берега представляли мало признаков жизни. Редко случалось нам увидеть человека, хотя мы видели множество домов окруженных цветниками и фруктовыми садами и не мало мечетей на кладбищах. Мечеть составляет такую же необходимую принадлежность в хивинском ландшафте, как сельская церковь в английском. Сельские мечети имеют высокий, стройный фасад, футов в двадцать ширины и футов в пятьдесят вышины и квадратную вершину. За [302] фасадом виднеется кулол, часто покрытый зеленою черепицей. Хивинские могилы почти везде такие же как те которые я описал под стенами города. Это небольшие полусферические глиняные холмы, местами украшенные черепицей и изречениями из Корана, написанными голубою краской.

В реке нам попадалась прекрасная рыба, и во все время пути мы имели свежую икру. Здесь кстати упомянуть что рыба *Skarhurhuncus*, встречающаяся до сих пор только в Миссисипи, водится и в Оксусе. Натуралисты сопровождавшие экспедицию назвали этот новый вид *Oxianus*.

Ширина Оксуса изменяется от трех четвертей мили до двух миль с половиной. Первый привал мы сделали на хивинском берегу,

но потом постоянно высаживались на правый берег, ставший по трактату русским. Хивинский берег покрыт садами, деревьями и домами, на нашем же редко встречается что-нибудь кроме тростника и высокой травы, и есть признаки что река по временам затопляет эту сторону.

Нам встречались лодки, медленно поднимающиеся вверх по реке. Так как против течения, вследствие его быстроты, нет возможности плыть на веслах, то эти лодки тащились обыкновенно на веревках: два человека идя по берегу тянут веревки, а два другие правят. Случалось нам также раза два перегонять киргизские плоты. То были вероятно аулы совершавшие свое ежегодное переселение.

Против Кипчака мы высаживались на берег. В этом месте реки есть небольшой порог, не препятствующий впрочем судоходству. Ниже до того пункта где Оксус выделяет Улкун-Дарью и в самой Улкун-Дарье нет ни порогов, ни утесов, и река вполне судоходна от самой Хивы. Немного ниже Кипчака, на правом берегу возвышается ряд низких гор или лучше сказать холмов. Они бесплодны и принадлежат к той же формации как и Кизил-Кумския горы. Здесь русло реки сделалось уже и глубже, и нас относило течением от одного берега к другому. На следующей день, когда мы были на расстоянии ста миль от Хивы, горы на правом берегу, сады и поля на левом сменились болотом заросшим тростником. Миль на тридцать ниже Ходжейли мы [303] повернули в Улкун-Дарью, рукав Оксуса. Она гораздо уже и глубже главного русла реки и вследствие этого удобнее для судоходства. Впрочем она очень извилиста, и некоторые извилины так круты что мы с трудом поворачивали наши тяжелыя лодки. Случалось нам также запутываться в высоком тростнике которым заросли оба берега.

Когда мы приближались к Ходжейли, комендант Кунграда выехал к нам на встречу в небольшой лодке с двумя спутниками. Его обращение с Русскими было теперь совсем иное чем в то время когда он просил генерала Веревкина дать ему три дня сроку чтобы собрать пушки Он взялся быть нашим проводником по Улкун-Дарье и действительно с этого пункта его можно было постоянно видеть впереди на его узенькой лодочке. В это время мы не высаживались на берег, потому что тростник рос так густо в воде по обе стороны реки что не было возможности пробраться чрез него. В

продолжение трех суток мы даже не видали твердой земли и по ночам должны были привязывать лодки к тростнику. В эти три ночи те у кого не было сеток сильно страдали от москитов. Прежде, когда москиты одолевали нас, мы высаживались на берег, зажигали костер из сухаго тростника и поддерживали его всю ночь. Теперь же это было невозможно.

Вечером на седьмой день нашего пути узкое русло Улкун-Дарьи обратилось в обширное озеро, в котором вода стояла почти неподвижно. Это озеро имеет миль восемь или десять в длину и изобилует небольшими пловучими островками, поросшими тростником и кустарником. На другой день после полудня мы наконец разглядели в отдалении тонкия мачты кораблей.

Пред вечером мы выехали из тростниковых болот, окружавших нас более трех дней. Русло реки сузилось опять. Оно имело теперь от 300 до 600 футов в ширину. На заходе солнца мы подошли к флотилии и вскоре были на борте, обмениваясь приветствиями с друзьями и знакомыми.

Лейтенант Ситников был несколько удивлен когда увидел меня, так как по отъезде моем из Казалы он думал что я намереваюсь ехать в Ташкент. Я передал ему вкратце мои приключения; и мы от души [304] посмеялись над шуткой, которую я сыграл над моим другом капитаном Верещагиным в Казале.

Я встретил здесь между прочими молодого графа Шувалова. Этот храбрый молодой офицер, как известно, был контужен при взятии Хивы. Он был отправлен домой с Оренбургским отрядом, но в дороге ему сделалось хуже и его принуждены были отправить в тарантасе на флотилию. Я с удовольствием узнал в последствии что его здоровье совершенно поправилось.

Флотилия состояла из двух пароходов, Самарканд и Перовский, и трех баржей. На эти суда перенесли всех больных, Перовский взял на буксир одну баржу, Самарканд две, и на следующий день мы поплыли на всех парах вниз по Улкун-Дарье в Аральское море. В тот же день вечером мы достигли устья реки и стали на якорь, так как нельзя было пройти через бар в темноте. На другой день чем свет мы опять развели пары, четверть часа спустя прошли бар и

поплыли по синим волнам Аральского моря. Спустя двое суток мы достигли устья Сыр-Дарьи, а еще через тридцать шесть часов я был опять в Казале. Отсюда одни из офицеров уехали в Ташкент, другие в Петербург.

Здесь я встретился впервые с мастером Кером, который был послан с таким же поручением как и я от газеты Daily Telegraph. Я узнал с сожалением что судьба не была к нему так милостива как ко мне и что ему не удалось исполнить свое предприятие. Он уже издал в свет разказ о своих приключениях, и я могу засвидетельствовать что его описания местности также верны как и живописны.

Мне пришлось прождать почтовых лошадей три дня. Я купил новый тарантас и 15го сентября был опять на почтовой дороге в Оренбург.

Разстояние от Казалы до Саратова, которое в первый раз отняло у меня шесть недель, в этот раз я проехал в две, благодаря тому что лошади поправились на летних пастбищах. В дальнейшем путешествии не было ничего особенного, и я оканчиваю мое повествование и прощаюсь с читателем.